



# СОГЛАСИЕ

*Петроград — Ленинград — Санкт-Петербург*

*Тамара Корвин*

КРЫСОЛОВ. Повесть



*Виктор Соснора*

БАШНЯ



*Графиня Мария Э. Клейнмихель*

ИЗ ПОТОНУВШЕГО МИРА...



*Г. Тульчинский*

ГОРОД-ИСПЫТАНИЕ



3' 1993

# РЕДАКЦИОННО-ИЗДАТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

Патриарх Алексий,  
А.М.Адамович, Г.П.Алференко,  
**В.С.Алхимов** В.М.Борисов,  
А.М.Борщаговский, Ф.М.Бурлацкий,  
Ю.М.Буцко, Е.М.Бычков, Б.Л.Васильев,  
А.Ю.Герман, А.А.Голик, Г.М.Гусев, А.Г.Коновалов,  
Л.П.Кравченко, В.Н.Крупин, А.М. Марченко,  
Г.И.Матевосян, А.Н.Медведев, В.В.Меньшиков,  
В.В.Михальский, Б.А.Можаев, С.А.Мубаряков,  
В.Н.Мудрак, Б.И.Олейник, О.М.Попцов,  
Г.В.Пряхин, Ю.М.Рост, Ю.С.Рытхэу,  
А.Н.Самарцев, Л.П.Синянская, Ю.Б.Соломонов,  
В.Т.Спиваков, Н.К.Старшинов, О.М.Толкачев,  
Н.И.Травкин, С.Н.Федоров, Ю.Д.Черниченко,  
Б.А.Чичибабин, С.И.Чупринин,  
И.О.Шайтанов, И.И.Шкляревский,  
А.Н.Яковлев, С.В.Ямщиков

Подписано к печати 04.03.93 Рег. № 01872 от 10.12.92 г.  
Формат 70×108<sup>1/16</sup> Гарнитура «Литературная» Печать высокая  
Физ. печ. л. 14,0 Тираж 5000 экз. Заказ 181 Цена договорная  
Производственно-издательский комбинат ВИНТИ  
140010, Люберцы 10, Московской обл., Октябрьский проспект, 403

## АДРЕС РЕДАКЦИИ:

113054, Москва, ул. Бахрушина, 28.  
Телефоны: главный редактор — 235-15-56,  
заместитель главного редактора — 235-14-00,  
отделы прозы, поэзии, критики, публицистики — 235-14-10

Корректоры *С. И. Горшунова, В. Н. Крылова*

---

---



# СОГЛАСИЕ

---

---

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ  
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ. ОСНОВАН В НОЯБРЕ 1990 ГОДА

**№ 3 (20). МАРТ 1993 ГОДА**

МОСКВА. А/О «СОГЛАСИЕ»

**В НОМЕРЕ:**

**ПЕТРОГРАД — ЛЕНИНГРАД — САНКТ-ПЕТЕРБУРГ**

Г. Тульчинский  
ГОРОД-ИСПЫТАНИЕ

4

---

Елена Ушакова  
ВНУТРИ ЗАМЫСЛА. *Стихи*

12

---

Тамара Корвин  
КРЫСОЛОВ. *Повесть.*  
*Вступительная статья Виктора Кривулина*

15

---

Олег Охупкин  
В ПЛАВАНЬЕ. *Стихи*

53

---

Кари Унксова  
НИКОГДА. *Стихи и проза*

56

---

Виктор Соснора  
БАШНЯ. *Окончание*

73

---

**Андрей Арьев**  
АРФОГРАФИЯ. *О прозе Виктора Сосноры,*  
*опубликованной и неопубликованной*

112

---

**Нина Трейгер**  
ДВА СТИХОТВОРЕНИЯ

118

---

**Графиня Мария Э. Клейнмихель**  
ИЗ ПОТОНУВШЕГО МИРА... *Житейские воспоминания.*  
*Перевела с немецкого Е. В. Юнгер.*  
*Публикация Евгения Белодубровского*

120

---

**Евгений Рейн**  
ТРИ ВОСКРЕСЕНЬЯ. *Поэма*

138

---

**Роберт Штильмарк**  
ГОРСТЬ СВЕТА. *Роман-хроника. Продолжение*

144

---

### **ЗАРУБЕЖНАЯ ПРОЗА**

**Антуан де Сент-Экзюпери**  
ЦИТАДЕЛЬ. *Продолжение.*  
*Перевела с французского Марианна Кожевникова*

187

---

### **À PROPOS**

**Лев Аннинский**

212

---

### **ПРОЧТИТЕ ДЕТЯМ**

**Кеннет Грэм**  
ИВОВЫЙ ВЕТЕР. *Роман. Продолжение.*  
*Перевела с английского Юлия Муравьева*

215

---

*Идея Санкт-Петербургского выпуска «Согласия» возникла, как это часто бывает, почти случайно — вместо литературно-критической статьи о феномене ленинградской прозы, которую я давно, два с лишним года назад, собиралась написать («Согласие» только-только начиналось и формировало редакционный портфель заявок.).*

*В ту пору старая распря (вечное соперничество) между «севером» и «центром» вновь, в который раз, обернулась вроде бы новой враждой. Эссе Вал. Курбатова в одной из последних книжек прохановской «Советской литературы» так и называлось — «Старая тяжба, или окно в Россию». По Курбатову, суть дела — корень распри-тяжбы-вражды — в том, дескать, что умозрительный, изначально прозападный Петербург держался (и держится) Знания, Разума, Мысли (строил фабрику мысли), тогда как колыбельная Москва (не град-столица, а средоточие коренной русской культуры) жила, мол, и живет Верой, Духом и Чувством.*

*Формула Курбатова изобретена, конечно, не им, но он ладно приспособил ее к обстоятельствам лета 1990-го (агонизируя, СП СССР никак не мог сообразить, в какую сторону света разворачивать совпосовскую избушку на курьих ножках и куда смотреть ее фасадному окну: во глубину России? В Европу? В Азию? В Евразию? Про Америку, с которой мы нынче глаз не сводим, тогда еще вслух не говорили...)*

*Статью эту я не написала — не хватило полемического пороха. Материал, между тем, тек в руки, то бишь в «Согласие», и в один прекрасный день выяснилось, что она и не нужна: питерцы сами, не сговариваясь, коллективным усилием явили в слове образ Другой прозы и Другой поэзии, «притузив» обновленную Курбатовым схему-цепицу.*

*И даже назвали по имени, не отнимая, однако, аромата у чудно-странного, но живого — не некропольного — цветка (это если вспомнить блоковское: «Ведь я литератор, называющий все по имени, отнимающий аромат у живого цветка»...)*

*По чисто техническим причинам мы не смогли собрать все отобранные (скопленные!) для спецномера произведения под одной обложкой. Повесть Нонны Слепаковой «Такая жизнь», без которой мозаичный автопортрет питерской прозы будет неполным, опубликована в № 12 за прошлый год. «Башню» Виктора Сосноры (по причине ее нежурнального объема, хотя наша публикация — журнальный вариант) также пришлось разбить на три части; начало — в № 1 за 1993 год). Но иного выхода у нас, к сожалению, не было.*

А. М.

---

---

## Г. Тульчинский

# ГОРОД-ИСПЫТАНИЕ

То, что этот город вновь стал Санк-Петербургом, — новая реальность, требующая не столько привыкания, сколько осмысления. Возврат ли это? И возможен ли простой возврат? Ведь город прошел конкретный исторический путь, и сюжет этого пути сказался не только в «материи» реального города — его размерах, планировке, зданиях и т. д., но и в духовном содержании его имени. Разве не парадокс? Ведь имена собственные не имеют смысла — они либо есть, либо их просто нет. А у этого города имя всегда не просто имело смысл, а светилось и святилось им. И самое главное — этот смысл развивался. Не имена, а смысл! Смена имен лишь отражала это развитие.

Лично я давно уже поймал себя на дискомфортном ощущении — живу в городе без названия. Не то чтобы у него не было имени — как раз имен-то даже переизбыток. Но ни одно из них, кроме, пожалуй, сленгового Питер, не может быть отнесено к городу в целом — как во времени (истории), так даже в его пространстве. Город (назовем его простоты ради — П.) постоянно уходит от своего имени, уклоняется от идентификации, предпочитая быть то ли инкогнито, то ли самозванцем.

Такое впечатление, что имеется нечто живущее своей, отдельной духовной жизнью. Что это? Миф? «Душа»? Идея города? Ясно, что нечто нематериальное, способное, тем не менее, менять понимание, осмысление и восприятие материальной — ландшафтной и архитектурной — среды города.

## ГОРОД-ИДЕЯ

П. и возник-то как город-Идея. Речь идет именно об Идее, о смысле, о духовной ценности, когда город — не только и не столько предмет осмысления, сколько средство. Он связан с глубинными вопросами и смыслами российской истории и культуры, национального самосознания, играет особую роль в их становлении. Своеобразие этой идеи в ее особой страстности; соприкасаясь с нею, человек попадает в поле исключительного духовного напряжения, которое выдерживает далеко не каждый.

Эта идея пропитывает всю российскую культуру последних трех столетий. Поэтому все, что дальше будет говориться о ее содержании, опирается на искусство этого периода (прежде всего — литературу), легко распознаваемо и узнаваемо. Более того, именно в этом материале идея П. поддается четкой периодизации.

Первый период — с основания до конца первой четверти XIX века — «буря и натиск» реализации воли бесноватого императора (или великого реформатора).

Второй период — осмысление этого натиска, его плодов и результатов, основание не П., а темы П. — связан прежде всего с творчеством А. С. Пушкина (в «Медном всаднике», например, выражены и основное содержание идеи П., и ключ к его пониманию), Н. В. Гоголя («Петербургские повести»).

Третий период — зрелая идея, осознанная мифология — Некрасов, Герцен, Белинский, Ап. Григорьев, Одоевский и, разумеется, Достоевский (как ранний, 40-х годов, так и 60—70-х, когда тема П. достигла своего пика).

Четвертый период (А. Блок, А. Белый, а также Ф. Сологуб, Д. Мережковский, З. Гиппиус, Вяч. Иванов и др.) — сознательное использование идей П., отдельных ее фрагментов.

Пятый период — свидетельство конца и формирование памяти о теме (Ахматова, Мандельштам, а также Зощенко, Скалдин. .).

Начиная с 20-х годов — период закрытия темы: Пильняк, Замятин, но прежде всего — К. Вагинов, «гробовых дел мастер», спевший свою «Козлиной песнью» отходную П. и его интеллигенции.

Последующий период — время все большего расхождения идеи П. и его реальной жизни, превращение идеи в явление сугубо культурно-историческое, отзвук прошлого, память традиции, факт словесности (И. Бродский с его реминисценциями и т. п.).

Но о развитии какой идеи идет речь?

## ЭКСЦЕНТРИЧЕСКАЯ УТОПИЯ

П. возник и сразу привлек к себе внимание как весьма эксцентричная столица. Во всех смыслах эксцентричности. Как столица на самом краю молодой империи, ее резко смещенный центр. В истории это обычно выглядит жестом, знаком, с одной стороны, дальнейшей экспансии (теперь здесь будет новый центр), с другой стороны — противопоставления традиции, «концентрической» столице, каковой в России всегда была и осталась Москва.

И с момента основания П. — бездушный, казенный, казарменный, официозный, застегнутый на все пуговицы, неестественный, абстрактный, неудобный, выморочный — противопоставляется Москве — душевной, семейно-интимной, уютной, расхристанной, конкретной, естественной.

В Москве живут как принято, а в П. — как должно. Москва — домоседка, тыл России, ее двор — разрослась сама и ни на что не похожа. П. — деятелен, активен, фасад России, нарочит, похож на все европейские столицы сразу.

Москва — женского рода, в ней все невесты и все купчихи. П. — мужского, в нем все женихи и все чиновники.

Основная единица Москвы — дом, она выросла домами, которые раньше любой улицы. Отсюда и множество тупиков в ней. В Москве и грабят-то преимущественно в этих тупиках. В П. основная единица — площадь, улица — раньше дома, каждый переулок «хочет быть проспектом» и даже грабят в нем на площадях.

От эксцентричности-смещенности и эксцентричность-маскарадность, перевернутость новой столицы.

Более того, новая столица возникла на краю русской ойкумены, среди финских болот, на границе мира и света. Отсюда и особый эсхатологизм П., тема конца света в отдельно взятом городе. Это город, которому неоднократно предсказывался конец, причем от водной стихии — «Петербургу быть пусту». В наши дни добавилась еще и буквальная эксцентричность: город — экс-центр, бывший центр, «великий город с областной судьбой». А тут еще дамба! . .

Это город — воплощенная утопия. Как известно, утопия это то, чего нигде нет. Но не значит, что быть не может, — и вот есть П. А поскольку город связан с петровскими реформами и личностью царя-реформатора, постольку вся противоречивость их оценок переносится и на город. Он и центр зла и преступлений, символ народных страданий, антигуманного насилия, схем властной воли, историческая ошибка Петра, и — торжество разума, гения Петра, открывшего новые горизонты российской жизни и культуры, символ особой красоты рационального устройства жизни.

Согласно Белинскому, П. оскорбляет в человеке все святое, но только в П. человек может узнать себя. Герцен полюбил П., так как тот заставил его страдать и мучиться до отчаяния, вызывая всегда состояние физической и нравственной лихорадки. А для К. Аксакова первое условие освобождения в себе чувства народности — возненавидеть П. всем сердцем.

## НАПРЯЖЕНИЯ И НАВАЖДЕНИЯ

Неестественный, искусственный, нарочитый город. Поэтому он весь соткан из противостояний и напряжений. Прежде всего — напряженного противостояния природной стихии и культуры, естественной и культурной среды. Но и в рамках каждой из них — напряженные противостояния.

Природа, естество, стихии П. — вода, болото, дождь, ветер, ночь, слякоть... Но прежде всего — вода, не только собственно вода как Нева, каналы, залив. Небо — в тучах, в воздухе — дождь, морось (знаменитая питерская «моросявка»), на земле — слякоть, болото, топь. Причем эта природная среда двояка: снег, дождь, тьма, мрак, холод, наводнения — темная стихия; но и: закаты, гладь, взморье, прохлада, свежесть, просветленное inferнальное небо (даже акварелисты никак не могут «поймать» питерское небо), прозрачность и «дальновидение» (в иные дни горизонт в П. раздвигается до 6 км), белые ночи...

Культурная среда города тоже парадоксальна. Темные, серые комнаты-гробы, дворы-колодцы, канавы, вонь, теснота. И — дворцовые фасады, проспекты, площади, набережные, простор. И все эти контрасты — почти мгновенны: из полуподвала и двора-колодца — на набережную; только что — снег, мрак, и почти сразу — ослепительное солнце.

Личное воспоминание. Летел из Еревана в П. Самолет вылетает из Араратской долины, резко забирает вверх — и летит над Большим Кавказским хребтом. Совсем близко — острые вершины, до дна ясно и четко видны ущелья. Оплывшая сахарная голова Эльбруса, Казбек. Даже от Кубани на горизонте видны Арарат и Арагац. За Кубанью землю закрыла плотная сплошная облачность. Внизу — снежная белизна, вверху — голубизна, переходящая в зените в слепящую тьму, на горизонте — кавказские вершины. До самого П. настроение возвышенное, горнее. Подлетев к П., самолет пошел на снижение, вошел в ослепительную белизну, которая оказалась серой хмарью, самолет долго-долго пробивался сквозь нее, вывалился из нее почти у самой земли и шлепнулся в слякоть. Выхожу на трап — дождь, стылый ветер из-под низких туч, косой свет, а я знаю, что там, наверху, все не так, иначе. И неделю, наверное, ходил с ощущением «второго неба».

Жизненная среда в П. — критическая для существования человека. И не в том дело, что «Черный вечер. Белый снег. Ветер, ветер! На ногах не стоит человек». То ничего не видно, тьма кромешная, угнетенное и подавленное состояние, то видать во все концы, беспредельный простор, свежесть и легкость. П. — самый крупный город на 60-й параллели, в зоне, как говорят специалисты, критической для человеческой психики и способствующей развитию неврозов и «шаманского комплекса». Крайнее напряжение психики: ума и души. Границы существования, сон, бред, лихорадка, границы этого мира и мира иного. Все двойится, отражается в воде и зеркальных стеклах. Миражи, двойники, призраки, обилие легенд, странных историй, сфинксы, грифоны... Дьявольский город. Искушение разума и искушение разумом.

Колыбель трех революций. Солженицынское — «город на болоте, где не сеют и не пашут, но белее белого едят».

Мир П. замкнут в человеке, а человек замкнут в себе, в чахоточной лихорадке отчаянной рефлексии, поиска смысла существования и — духовного самоуничтожения. П. — место, если не центр, поединка космических сил в человеческой душе. Человек то замкнут тьмой в самом себе, то ему не скрыться в этом «просторе меж небом и Невой», просторе «бытия-под-взглядом». И в том и в другом случае он безуютно и дискомфортно один на один с миром. Ужас жизни. На лицах тоска и безысходность.

Еще одно личное впечатление. Был в командировке в Туле. Все замечательно, люди хорошие, но чего-то не хватало. Понял — чего, только выйдя с Московского вокзала: по-питерски унылых лиц, по-родному аденоидных и насморочных.

Шутки шутками, а смертность в П. всегда была одной из наивысших в России. В 1973 году, например, на 20791 рождение приходилось 29912 смертей. Население увеличивалось не за счет естественного прироста, а за счет приезжих. Соотношение мужчин и женщин до 1917 года доходило до пропорции 70% к 30%. Проституция, самоубийства в П. традиционно превышали среднероссийские на 40%.

Город-испытание. «Белые ночи» — название повести Достоевского, ставшее обозначением городской реалии: одновременно научным термином и культурным символом. Но и Достоевский имел это в виду, «белые ночи» — вид испытания крепости духа будущего рыцаря.<sup>1</sup>

## ГОРОД СВЯТОГО ПЕТРА ИЛИ СВЯТОЙ ГОРОД ПЕТРА?

П. противостоит Москве также и как еще один «Рим» — «четвертый», как еще одна столица христианской империи. Причем с апелляцией к наследию собственно Рима, через головы Византии и Москвы — «Римов» второго и третьего. Минуя их, как наследник Рима первого. Как прочесть Санкт-Петербург (Питерс бурх)? Город Св. Петра или св. город Петра? На первый взгляд, несомненно, — первое. А какого Петра? Первоапостола, первого Папы Римского? Или императора? Вопрос не лукав. В названии заложена апелляция не к основателю (лишь как намек и ассоциация), а к апостолу Петру, то есть — к Риму.

Это подтверждает и герб П.: два скрещенных якоря лапами вверх! Но якоря (и на гербах тоже) всегда располагаются лапами вниз. Герб П. выглядит геральдической и морской бессмыслицей, но только если не знать, что он — прямая цитата герба Ватикана, на котором изображены скрещенные бородками вверх ключи, ключи от рая, хранителем которых является Св. Петр. В обоих случаях — ключи. Только одни — от Царствия Небесного, другие — от «парадиза» земного (П. как морской и речной порт давал ключи к европейской цивилизации — петровскому представлению о «парадизе»). И именно из П. исходили российские революции — попытки утвердить утопические представления об установлении Царствия Небесного на земле, в отдельно взятой стране.

Св. Петр, однако, довольно быстро ушел из смысловых ассоциаций названия города. Особенно из обыденного сознания. Культ Петра-апостола перешел на Петра-императора. Намек и ассоциация победили. Символ этого смещения — переход функций главного собора имперской столицы от Петропавловского к Исаакиевскому, освященному в честь Исаакия Далматинского в день рождения Петра I. Эта

<sup>1</sup> Белая ночь (фр. nuit blanche — бессонная ночь) — обязательное бдение перед посвящением в рыцари. (Прим. ред.).

тенденция закрепились в дальнейших переименованиях города: сначала в Петербург, а затем в Петроград. Город стал градом императора Петра, Петрополем. Поэтому возвращение П. исторического имени придает ему самозванческие претензии, бесовский характер. Кто свят? Христианский святой? Император-основатель? Сам город?

Безблагодатная святость (а фактически — культ Петра I), закрепившаяся в череде переименований, а главное — в архетипическом (коллективном бессознательном) осмыслении, перешла в культ города-парадиза, культ центра, сокровищницы культуры. И что святее — основатель или его детище? «Святость» обоих безблагодатна, амбивалентна к добру и злу, что и нашло свое логичное завершение в переименовании города именем великого самозванца, именем его партийной клички.

## КРЕПОСТЬ ГНИЛОГО КАМНЯ

Но это и город Петра-камня. Первоапостол Симон-Петр получил свое второе имя как символ крепости. Петр — камень, наука о камнях так и называется — петрография. Бурх — крепость. Санкт Питерс бурх — святая каменная крепость? Крепость святого камня?

П. — каменный город. Но его камень — не скала, неподвижная твердь и опора, а нечто зыбкое, камень на болоте. По финской легенде, приводимой Одоевским, при строительстве города закладные камни уходили и уходили в топь, пока Петр не простер ладонь, на которой и был выстроен город. Ладонь потом была убрана, а город остался.

Город без фундамента, без основания. Его камень — подвижен. Недаром Медный Всадник столь активен у Пушкина и у Белого! Да и сама скала для него «пришла» — привезена — на болотистый берег.

Медный Всадник заслуживает особого разговора. Простая композиция: скала, змея на ней, попирающий змею конь, вздернутый на дыбы всадником с простертой рукой. Как прочесть эту композицию? Что в ней — смыслообразующее начало? Обычное прочтение: всадник-император вздернул свою волей Россию-коня, попирающую врагов-гадину, утверждая новые основы жизни. Но ведь возможно и иное прочтение, когда центральной фигурой является змея, на которую опирается (не попирает!) взметнувшийся конь с безумным всадником. Змея — хтоническое существо, исчадие ада, и всадник-антихрист? Монумент хтоническому сатанизму? Или камню-Петру на воде, вынесшему из топи это наваждение?

Питерские набережные и фундаменты — из гранита, научное (петрографическое!) название которого «раппакиви» в переводе с финского означает «гнилой камень», — вкрапления на срезе его напоминают древесные гнилушки. П. — камень, который вода точит. Его земля — «мать сыра земля», сырая до слякоти, до топи, до испарений. Это среда обитания именно хтонических — не только дохристианских, но и доолимпийских существ и стихий. Эту языческую мифологию удачно описал Г. Гачев как единство земной сырости, отсыревшего камня, света и ветра («светер»), порождающих хтонические существа и недо воплощенных людей — «воз-духов». Змеи, гады, крокодилы Достоевского и Чуковского — естественные обитатели П.

«А что как разлетится этот туман, не уйдет ли с ним вместе и весь этот гнилой, склизкий город, подымется с туманом и исчезнет как дым, и останется прежнее финское болото». Это предположение Достоевского вполне в духе современных идей «возрождения П. в исконном виде: что может быть историчнее и подлиннее именно допетровского вида П.?! Или это предположение — провидение последствий строительства дамбы — насыпного, тоже подвижного, зыбкого «камня»? Дамба — очень даже питерский сюжет...

## ГОРОД-ЗНАК ИЛИ ГОРОД-ПРИЗМА?

П. театрален. Город-сцена: центр, Невский проспект, набережные, стрелка Васильевского. Ростральные колонны — бутафорские маяки, никому не светившие. Петропавловская крепость, никого ни от кого не защищавшая, декорация тюрьмы. А за кулисами — Коломна, Пески, Лиговка... Знаковость, семиотичность города осознана или бессознательно, но ведет к четкому структурированию города, вплоть до районирования культурной жизни.

Д. С. Лихачев заметил, что если взять за ось Неву и Большую Неву, то правая (северная) сторона от нее связана с официозной культурой. Именно на правом берегу находятся университет, Научная и Художественная академии, но нет, например, ни одного театра. Зато левый (южный) берег — территория творческой интеллигенции и богемы. Театры, выставочные залы, «башня Иванова», «Бродячая собака», дом Мурузи, ОПОЯЗ — все там. Но зато дачи официоза (двора, придворных ученых и художников) все сплошь на южном (левом) берегу залива — продолжения невской дельты. А демократическая творческая интеллигенция предпочитала отдыхать на правом (северном) берегу: Лахта-Куокалла-Териоки.

П. не только театрален. Он маскараден. П. авангардист, город модерна и пост-модерна. Город-перевертыш. Он не имеет точки зрения на себя самого: то ли окно из России в Европу, то ли из Европы в Россию. Как истинные славянофилы, прожившие большую часть жизни в Европе, не признают в реальной России взлелеянный ими образ, а западники, выезжая за рубеж, не узнают и не признают в реальном Западе свой идеал, так и П. «остранняет» и Запад и Россию, делает их неузнаваемо странными. Но и познание их без него невозможно. Город-призма. Все двойтся, расплывается до миража, до абстракции, до фантома, до ожившей классификации.

П. — город, где оживают части тела («Нос»), манекены (у А. Грина).

За исторически ничтожный период П. оброс обильными мифами, легендами, осмыслениями. Москва, Киев — древние русские столицы — несомненно, уступают ему в этом.

П. — город-знак, город-текст с обилием прочтений и интерпретаций как города в целом, так и его частей, зданий, памятников.

## ГОРОД-ИНТЕЛЛИГЕНТ — САМЫЙ РУССКИЙ ГОРОД?

П. вызывает исключительно остропарадоксальное и напряженное состояние души. Острые отрицательные переживания существования как бы во сне, в бреду, в лихорадке, тоске и страдании, наваждения на грани сумасшествия. И — едва выносимой радости, свободы, переполняющей тебя энергии преображения. Это жизнь на краю жизни и смерти, заглядывание в мир иной, поиск и надежда на обретение спасения: себя, России, человечества. Высшее напряжение сил — интеллектуальных и нравственных, экономических и физических, политических и просто — человеческих. Постановка предельных и запредельных вопросов, поиск ответов на них. Отсюда и особая роль П. в становлении общественного сознания и в личностных духовных биографиях.

Этот город — испытание России и личности. П. — порождение русского самосознания и, как это ни звучит парадоксально, — «самый русский город». Действительно, Россия осознает себя через отношение к П. Но и Россию понимают через П. Амбивалентность добра и зла, их противостояние и неразрывность, взаимопереход, противостояние

народа и власти, личности и государства, свободы и воли, разума и стихии, особая государственность культуры — все это и Россия, и П.

Главные характеристики российской культуры — внеэтничность, имперская собирательность, освоение культурных форм других времен и других народов — характеристики и П. тоже.

Более того, если плодом российского самосознания и духовного опыта является интеллигенция с ее жизнью «в идее», неукорененностью, неоднозначным отношением к народу и власти, подвешенностью между добром и злом, исканиями путей на топкой трясине их диалектики, то и в этом плане полное совпадение с П. Он — город-интеллигент, идейный и беспочвенный русский интеллигент, воплощение российского духовного опыта и его судьбы. Самый русский город.

## ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ

Но П. заглянул-таки в мир иной. Самозванным победителям России город был опасен своей окраинностью, своей тревожной неоднозначностью, нагнетанием сверхактивной работы души. Пожать плоды победы сполна, успокоить разум, утвердиться во власти — все это П. дать не мог. Страна и большевики устали от него. Только Москва могла дать уверенный покой новой власти — собирательнице земель то ли плацдарма мировой революции, то ли — скорее — новой империи.

Реальное содержание петербургского мифа умерло уже в начале 20-х. Но остался город и остался миф. И их существование все более расходилось. Город продолжал жить новой жизнью, новой историей. После Октябрьского переворота он пережил страшное насилие поэтапного, посписочного уничтожения культуры. Год за годом уничтожались (высылались и расстреливались) наиболее образованные слои населения П.: военные, дипломаты, юристы, духовенство... Дело дошло до этнических культур: репрессиям подвергались поляки, немцы, евреи, татары... — причем именно за факт национальной принадлежности. Даже собственно коммунистическая администрация подвергалась в этом городе неоднократной и глубокой корчевке.

А в результате — сложился образ Ленинграда, связанный с революцией, первой советской столицей, центром индустриализации, блокадой, «кузницей кадров»... Однако этот образ был уже не так целостен и ярк, как образ П. — имперской столицы. Этот имперский образ-миф сейчас живет уже своей жизнью, мало связанной с реальной «существенностью» города. Он — достояние его исторической культуры и в этом качестве может и обязательно должен быть музеефицирован. Но попытки его «возродить» напоминают мне попытки гальванизировать дохлую лягушку.

Главное — жизнь продолжается. «Блохи от сена сами собой ползают, а тараканы — от пыли», — говорил один литературный персонаж. Так и в этом городе культура «сама собой получается». Самиздат, независимые самописные журналы, театры-студии, рок-клуб и т. д. в П. всегда были наиболее многочисленными и «продвинутыми». Наверное, срабатывает ландшафтно-климатически-архитектурная среда, ее напряжения и парадоксы. Недаром именно из этого города и сейчас исходят одновременно импульсы как демократизации, экономического и духовного обновления, так и самого дремучего консерватизма, большевистского фундаментализма, национал-коммунизма и «нашизма».

Что же касается имени, то похоже, что город-знак, город-текст, имеющий множество прочтений и толкований, может и вправду иметь не одно имя. Он вырос из каждого из них, перерос их. Например, самый центр — Санкт-Петербург. В черте Обводного канала — Петербург. Кольцо «рабочих окраин» (а точнее — промзона) — Петроград. А новые

районы — Купчино, Гражданка и прочее — хоть Ленинград, хоть Ленинград, хоть Джон-Леннонград — ей-Богу, все равно!

Но в этом городе сохранилось что-то, некое духовно-нравственное целое, которое «больше» любого его названия. От Святого Первоапостола, через императора-основателя к кличке великого самозванца — это ведь не только история имени города! Это история России, история ее интеллигенции. Петербург или Ленинград? Неужели выбор только между двумя то ли святыми, то ли бесноватыми самозванцами, пожелавшими осчастливить свой народ вопреки его воле? Так и видится, как эти две тени подают друг другу руки и, сливаясь в одну, смеются над нашими нынешними спорами! . . .

В основании, в становлении, в революциях, в блокаде он действительно велик. Был и остается Городом, испытанием России, испытанием физических и нравственных сил, синонимом культуры вообще — как истока, процесса и результата этого испытания. Испытание продолжается. Город стал Санкт-Петербургом именно вновь — вновь.

. . . Город будто перестал  
в тот короткий миг существовать,  
продолжая только умолять,  
как большой безумец, о покое,  
словно в голове его царит  
путаница давняя, и мысли  
паутиной жесткою нависли,  
перевоплощенные в гранит,  
а гранит — он чувствует — в ночное  
небо непомеркшее летит . . .

(Р. М. Рильке «Ночной выезд.  
Санкт-Петербург»)

А может . . . Может быть, до сих пор была ПРЕДЫСТОРИЯ, бурная, напряженная, какими и бывают предыстории. И только теперь начинается собственно ИСТОРИЯ?

---

---

Елена Ушакова  
ВНУТРИ ЗАМЫСЛА

*Л. Петрушевской*

По дороге бога Эроса, по этой темной дороге  
С искусственным освещением: муж, любовник, никто,—  
По кочкам, через мусора груды, высокие пороги —  
Собственнические инстинкты, в чужой шубе, пальто.

Чужая шуба не греет, а если греет, то, значит,  
Она твоя, и ты не бойся, иди, иди, ступай.  
Казенный дом, разлука, редкие записочки и передачи;  
«Радость — страданье одно», переполнена им через край.

«Он объявил голодовку, его, как диссидента, брали,  
Кормили через зонд, поделом!»  
Волны любви и преданности носили ее; эти дали  
В стенах учрежденческих над рабочим столом!

В юности все иначе, еще неизвестно, неясно,  
Что Любовь с большой буквы, та самая — воображенье, не лги,—  
Всего лишь игра, взаимности прекрасной  
Она боится, боится платить долги.

Только немолодая женщина, спокойно улыбнувшаяся внуку,  
В смежной комнате, терзаемая криками вразной,  
Втихомолку глоточками пьет счастливейшую муку,  
Горчайшее счастье, прописанное природой, судьбой.

Неужели легче, как та сослуживица, путей не разбирая,  
Бороться — доносы, наветы, милиция и санитары, врачи —  
За место под солнцем, называемое «мужем», в стороне от рая,  
От которого утрачены навеки ключи?

Нет, не в этом дело, — наши разные души, зашторенные окна!  
Это пухлое, стареющее тело прячет Бавкиду, и вот —  
Догадайся попробуй! А эта, с кружевным воротничком, — Прокна,  
Зарежет, погубит, сражаясь не на смерть — на живот.

\* \* \*

*Игорю Померанцеву*

Этот глянецовый кусочек яркого картона —  
Бабочки такие в фантастических краях  
Водятся, фонарики, глазки, цветки, пионы  
Нежные мерцают, просятся в ладони — ах! —  
Вынула из ящика почтового открытку с видом Барселоны:  
Бабочка, vanessa antiopa, бархатная, вся в лучах!

Арки и фронтоны, Гауди кудрявый, пантомима  
Праздника; и что-то есть в избыточной красе  
Вызывающее; человек, идущий мимо,  
На Тарковского Андрея, кажется, похож, но не совсем...  
Жизнь загадочная, буржуазная, бесовская необозрима,  
Сколько там за стеклами вещей на зависть всем!

И спина везущего коробки на тележке,  
 Кажется, на все вопросы даст ответ; во все глаза  
 Я смотрю, как лакомка, смотрю — грызу орешки,  
 Тесен ваш союз, суровый муравей и стрекоза!  
 О неспешном, пританцовывающем труде мне, сладкоежке,  
 Напевают витражи цветные, тени, бирюза.

О, мне жалко всех, чья деловитая душа, как принято считать,  
созрела

И не пролепечет новость глупую ни завтра, ни потом;  
 В нежной Барселоне, на Неве ли ночью белой,  
 Умудряясь жить одним умом,—  
 Как скучает, как, всезнающий, томится, отходя от дела,  
 Бодрый и толковый, разобравшийся во всем!

\* \* \*

И вот сначала все рвутся, рвутся,  
 Ловко так обходя сети и ловушки,  
 Рукой подать до неба, на ходу зашнуровывая бутсы,  
 Доклад под мышкой, в кошельке припрятаны двушки  
 Для телефонной ласки скоропалительной, шутки

Между делом дорогим, единственно нужным;  
 Не замечен ни дождик, ни родственник, ни в пруду городском утки,  
 Польшанье осеннее кленов боковым зрением сужено,  
 И летит день — взмах ресницы от завтрака до ужина.

Презирают свое участие в природой назначенных циклах,  
 Хотят сами распорядиться, выяснив как можно скорее,  
 Как устроен мир, чтобы что-то по этому поводу высказать, цыкнув  
 На собаку, уволокшую письмо-приглашение из Южной Кореи;  
 Глупое животное, под стол, под стол, к батарее!

Ах, когда, когда и как начинают понимать: уже думали люди!  
 И, сколько ни трудись, ни читай лекций, ни пробивай публикаций,  
 Все будет, как было. Как было, так и будет.  
 Мы — внутри замысла, вроде этой тишайшей, в зеленых висюльках,  
акации...

Дуй теперь в ту дудочку, которую нашел в колыбели,  
 И присматривайся все живее к лепечущему внуку.  
 Этой ли встревоженной нежности под занавес хотели,  
 Когда победно вздымали со школьной скамьи руку?  
 Как умело, как ловко все-таки расставлены эти ловушки, эти сети —  
 Одни для всех, глядевших в такие разные дали.

Бедные, обманутые, стареющие дети!  
 К этому ли рвались, когда слезы счастья, как дождик, с лица  
стирали  
 И свободой дорожили больше всего на свете?

\* \* \*

Постепенно доска звездным небом, судьбой, роковой развилкой  
становится,  
Системой удач и провалов, упрятанных в черно-белые норы.  
Ко всему, ко всему приложима одна и та же пословица,  
В этой жизни преследуют сплошные подобыя, повторы.

Черный конь — что сидит свернувшись, как кошка, довольная обедом,  
Хвостом обернувшая лапы, — поднятой, вытянутой мордой  
Охраняет твоё сокровище, какое — неведомо.  
Но будь предусмотрителен, ради Бога, и держись твердо.

Как ужасно погиб всей семьей, как ужасно,  
Фотокор-известинец под Саратовом, на шоссе, у бровки;  
Ферзь и слон стерегут твой покой, но дотоле неясный  
План ладьи, словно фара, вспыхивает в рокировке.

И уже ничего не поправить, не изменить, защититься нечем!  
Ах, на один бы ход, на один миг назад, но невозможно;  
Я сама виновата, что вчерашние воспаленные речи  
Были истолкованы ложно, поверь, ложно.

Какое счастье, когда объяснить, переиграть, переделать  
В наших силах роковыми кажущиеся ошибки;  
О, потеря ферзя! В милых, милых земных пределах  
Поправимы шаги и неверные улыбки.



# Тамара Корвин КРЫСОЛОВ

## Повесть

Учительство, учитель, ученичество... Пожалуй, только в Санкт-Петербурге возможно всерьез, без тени улыбки пользоваться этими словами в контексте современного искусства. От фантома «школы» не в состоянии освободиться даже те, кто здесь почитает себя авангардистами. Помню, как заумник, мэтр «ленинградской звуковой школы» К. К. Кузьминский буквально навязывал каждому из молоденьких поэтов, ровнявшихся вокруг него, статус ученика, — и очень обижался, ежели кто-то принимал его учительство без энтузиазма.

Точно так же, со школярской серьезностью и болезненным упорством, обращаются у нас к великим общеевропейским мифам, к этим общим местам мировой культуры, живо волновавшим воображение полуграмотной публики со времен позднего средневековья, а преимущественно — в эпоху романтизма. Дон Жуан, Фауст, Летучий Голландец и среди прочих не вполне переваренных массовым сознанием мифологем — легенда о гаммельнском Крысолове, запущенная в международный оборот немецкими романтиками лет двести назад. В XX веке эта история — на фоне бесконечных очередей или соблазненных и увлекаемых «музыкой Революции» толп — приобретает социально-эстетическую окрашенность, новую, так сказать, пикантность.

У Александра Грина, например, тема Крысолова, сопряженная со страшной картиной революционного Петрограда, решается вне привычного бульварно-романтического антуража; его «Крысолов», может быть, лучшее, что он написал когда-либо. Полная противоположность — гиперромантическая истерика «Крысолова» Цветаевского, на которую уж совсем не похожа воспитательная шведская сказка, где уменьшенный в размерах подросток изводит крысиную армию гаммельнским способом. Можно вспомнить и «Романс Крысолова», включенный молодым И. Бродским в его монументальную «персонафикацию представлений о мире» (поэма «Шествие», 1962), можно до бесконечности продолжать список новейших воскрешений старинной бюргерской страшилки.

Подозреваю, что «Крысоловов» в литературе нашего века никак не меньше, нежели Ивановых в российской словесности, но повесть Т. Корвин так же странна и маргинальна, так же неожиданна и привычна, так же бесцветна и преизбыточна ассоциациями, как явление Б. Иванова<sup>1</sup>. Начать с того, что автор космически удален от своего творения. Когда лет десять назад в журнале «Часы» я увидел повесть «Крысолов», то был убежден, что ее автор — С. Коровин, чьи рассказы ходили в самиздате, а Т.(С.) Кор(о)вин — обычный результат опечаток, которые являлись таким же неотъемлемым свойством самиздатской периодики, как, скажем, присутствие спиритуальной или ностальгической тематики. Читаю — вроде на Коровина не похоже, никакая, получается, не опечатка. Т. Корвин показался мне человеком юным, не вполне сложившимся, но, несомненно, одаренным. Мастеровитое мужское перо, уверенный почерк, способность смешать крепкий ночной коктейль из Германа Гессе («Степной волк»), Томаса Манна («Доктор Фаустус»), Роберта Музиля и с профессиональной ловкостью перелить смесь из латинских формочек в соты родимой кириллицы, — да и все, собственно. Стилизация хорошего уровня, *tour de force*, вот

<sup>1</sup> Иванов Борис Иванович — прозаик, основатель петербургского Самиздата. Издатель машинописного журнала «Часы».

только зачем — непонятно. Позже я узнал, что автор с унисексуальной фамилией — дама, и притом дама серьезная, самостоятельная, весьма даже уважаемая в определенных кругах. А ее проза ни стилистически, ни психологически ничего общего не имеет с так называемой «женской» литературой. Ей вообще трудно подобрать аналоги.

Герой-рассказчик, несчастный бургомистр Гаммельна, тайно влюбленный в юную свою воспитанницу, тайно склоняющийся к винопитию и занятиям музыкой, похож одновременно и на манновского летописца судьбы Адриана Леверкюна (тон образованного, но оскорбленного филлистера), и на пушкинского Сальери (муки творческой импотенции, зависть, криминальные поползновения), и на провинциального лабуха-алкоголика, и на нерадивого управдома. Соответственно «вибрирует» и манера повествования, постоянно меняется темп, стилистическая окрашенность речи, будто о происходящем нам рассказывает не один, а несколько человек — нарративная шизофрения, практикуемая в 60-е годы преимущественно сильной половиной пишущей братии (единственное известное мне исключение — дамское многоголовое «Золотых плодов» Натали Саррот).

Время и место действия условны, призрачны, настолько неопределенны, что трудно освободиться от недоумения: почему именно сейчас и здесь автору вздумалось рассказывать общеизвестную историю, живописуя декоративные нравы вечного Гаммельна? Вроде бы средневековая Германия, но почему-то с автомобилями, рок-концертами и студенческими бунтами в духе майской парижской революции 68 года, и почему рядом — бурные, с оттенком патологии, оперно-старческие страсти, кинжалы, кружевные колеты, антураж позднеромантической таинственности? Все это вперемешку с пародийно-серьезными, профессорски-запутанными рассуждениями о музыке, нравственности и политике, которые поначалу кажутся скучными — до тех пор, пока не обнаружишь, что автор издевается над тобой, морочит голову, выдавая тяжеловесные кунштюки персонажей за образцы изящества и тонкого вкуса. Пародийно звучат самые имена действующих лиц — чего только стоит один граф Тедеско (Немец, если переведем с итальянского на русский) — то ли духовный учитель героя-рассказчика, то ли его бес-искуситель. Неправдоподобно красив музыкант-крысолов — до неприличия, даже до отвращения. Под стать ему героиня — чистое совершенство, невиннейшее создание и т. д. Т. Корвин пишет о людях так, словно бы законы психологического правдоподобия и, так сказать, земного притяжения (истории, географии, экономики и т. п.) не действуют в ее мире либо же действуют непредсказуемо, подчиняясь главенству Музыки, каковая, собственно, и есть единственная реальная сила, творящая мир.

Даже крысы из «Крысолова» музыкальны в пифагорейском смысле. Они не имеют ничего общего с нашими, реальными — помоечными и складскими, они присутствуют в городе факультативно и не слишком досаждают обывателям. Они как бы символические крысы, и кампания против них означает нечто иное, нежели широкомасштабные санитарные мероприятия по дератизации. Это уже политика, замешенная на эстетике, это столкновение двух враждебных музык, перешедшее из сферы музыковедческого спора в область борьбы за осязаемую власть над городом.

Я пишу эти строки в последний день старого Советского Союза, в ночь на 26 декабря 1991 года. Только что Горбачев объявил о своем уходе и о роспуске прежних союзных структур. Размышления над происходящим словно бы накладываются на привычную внутреннюю работу с литературным текстом — в данном случае с «Крысоловом», и два эти аналитических уровня странным образом совмещаются, создавая некое поле гармонического понимания событий и текста как

чего-то единого, неразрывного, музыкально организованного. Мне становится понятен Горбачев, его отставка делается прозрачной, уподобляясь добровольному уходу из гаммельнской ратуши реформатора-бургомистра, вызвавшего в своих далеко идущих музыкально-политических целях те энергии и стихии, с которыми он не смог уже совладать. Ему понадобились крысы, чтобы отвлечь внимание общественности от грязных, неосвященных улиц и опустевшей городской казны. С другой стороны, крысы ему понадобились, чтобы продемонстрировать всему городу и, вероятно, прежде всего самому себе, насколько велика магическая сила музыки. Он долго искал крысиного экзорциста с дудочкой-флейтой и наконец нашел его — за пределами тихой своей родины, в далеком Берлине. Результат превзошел все ожидания, развязал страсти, жертвой которых стал герой-рассказчик, его воспитанница, взбунтовавшиеся студенты и школяры... Город изменился неузнаваемо. Изменила его новая музыка — у нее ведь свои, не совпадающие с муниципальными, цели. Город изменился еще и потому, что у магистрата не хватило денег оплатить торжество дионисийского мелоса над аполлонической размеренностью и дугим величием власти. Крысолов отомстил отцам города — в качестве платы он взял их детей.

Конфуций делил музыку на правильную и неправильную. «Когда в государстве господствует правильная музыка, тогда не случается землетрясений, пожаров и войн. В Поднебесной царит гармония. Народ благоденствует. Государство процветает. Желудки полны, головы пусты. Когда музыка нарушается и становится неправильной, то начинаются стихийные бедствия, возникают междоусобицы, с Севера приходят Шу, армия в ужасе разбегается. Головы наполняются, желудки пустеют. Государство в упадке».

Т. Корвин вслед за Конфуцием предприняла попытку обозначить политический контрапункт как трагическое противоборство «поврежденной» и «неповрежденной» музыки — попытку пророческую хотя бы в том отношении, что именно рок-движение, раскрепощая личность, высвобождая стихийную энергию подсознания, издревле задавленную в России, подготовило почву для краха империи, оборудовало эстраду для деструктивной игры Горбачева. И, прощаясь с империей, Горби делает неожиданный, для многих необъяснимый шаг: его первая реакция на Брестские договоренности и одновременно последняя государственно-политическая акция в роли главы Союза — встреча с рокерами немецкой группы «Скорпионы», и только после этого — официальное сообщение об отставке, то есть он поступает так, как поступил бы на его месте бургомистр корвиновского Гаммельна.

Виктор Кривулин

## 1.

Ах, единственную радость подарило мне провидение, и ту я не взлелеял, не уберег. Сам себе гарпия, я испохабил свою чистую рассветную совесть, бодрость и надежду раннего пробуждения. И не то беда, что проснулся я спеленутый простыней по голому телу без рубашки, не то, что настезь распахнуто окно, каковое всегда закрываю на ночь, и даже не то, что Бог весть как случился у моей постели таз; но жаль безмерно, что мысли мои спутаны и с трудом вспоминаю, где был вчера и как попал домой.

А ведь недавно, приближаясь к сорока годам, я избавился от удручающего чувства незрелости, и как успокоительно было опознавать в себе приятную тяжесть лет, спасительную устойчивость груженной баржи, глубоководящей! Наконец-то я мог надеяться на приближение к достойным старцам, дотоле с почтительной завистью созерцаемым. Тщательно следил я за свежестью белья и неизменной при-

стойностью верхнего платья, соблюдал размеренность в речах и размышлениях, выдерживая темп не быстрее *Andante*<sup>1</sup>, но и не медленнее *Largo*<sup>2</sup>, чтобы не утрачивалась связность. Никто не заставлял меня в неподобающем виде; и лишь перед другом моим, кого стыжусь и ро-бею... но поразительно, как одно возникновение магистра в моих мыслях очищает и проясняет их! Конечно, это он привел меня вчера домой, заботливо раздел, уложил, обеспокоился моим нездоровьем: разыскал, утруждая свою тучность, постыдный этот таз и поставил у моего изголовья на всякий случай.

Вот бы и остался до утра, милосердный самаритянин!

Но не следует давать волю злым чувствам. Его деликатность пощадила мою стыдливость. О какой он знает уж потому, что никогда, и в самые хмельные минуты не сетовал я перед ним на растерянность, на неловкость мою в любви. Она остается неупомянутой, ибо пока не поименовано нечто, то как бы и нет его.

Не взглянув на часы, я знаю, что должен поспешить: колокольчики в музыкальной шкатулке прозвонили восемь тактов *Deposuit potentes*<sup>3</sup> из *Магнификат*. Чрезвычайно удалась эта работа нашему оружейнику; он добился избрания главой своего цеха и занят грандиозными изобретениями, но охотно дает волю давней страсти к механическим игрушкам. Над моей приверженностью к музыке он подшучивает, а заказ исполнил точно, не погрешив нигде в этом сложном чередовании четвертей, восьмых и шестнадцатых.

Да, сказано: кто, не будучи рожден владетельным князем, берется за административную деятельность, тот либо мошенник, либо филистер, либо дурак. Я не дурак и вряд ли мошенник; а будь я филистер, мучился бы я сейчас только тяжестью в голове и скверным вкусом во рту, но не страхом и виною. Случайность, коловращение судьбы сделали меня временным бургомистром города Гаммельна; я был удивлен, но не противился. И опять благодетельны последствия умолчания: кое-кто охотнее увидал бы во главе магистрата моего друга, магистра богословия и философии, чье глубокомыслие почти смущает, будучи несоизмерно Гаммельну. Но дружба наша, вернее, мое почтительное восхищение и его поощряющая снисходительность не названа перед миром, хотя и не составляет тайны; и пусть разочарованные утешаются, предполагая, что он как бы через меня правит; пусть отыскивают в моих делах следы его высокоумия; и пусть недовольные, оказывая мне незаслуженную честь, намекают в кулуарах, что лучше-де бургомистру быть самостоятельной. Деликатная недосказанность сдерживает тех и других, комментарии не отягощают мой слух, я не вижу осуждающего качания голов и вершу дела Гаммельна в меру сил своих и способностей, сообразно конституции.

Возможно, пожелай я испытать из источника мудрости друга моего — не получил бы отказа. Познания его безграничны; в нашем Гаммельне ни одно лицо, сколько-нибудь прикосновенное к высшему, не избегло его влияния. Председатель суда, не решаясь докучать ему сам, выведывает его мнения через знакомых; атташе граф фон Тедеско, изредка посещая родные края, неизменно спрашивает у него аудиенции; о профессоре, директоре школы, нечего и говорить: это преданный фамулус магистра, подражающий ему даже в походке. Копия близка к карикатуре, и поделом безрассуднику, возомнившему повторить неповторимое! Правда, был и я дерзок когда-то, пытаюсь постичь непостижимое. Как же так, думал я: отчего всякое его суждение непререкаемо, словно с Моисеевых скрижалей, — и это у человека,

<sup>1</sup> В умеренно-медленном темпе (*ит., муз.*).

<sup>2</sup> Самый медленный из пяти употребительных темпов (*ит., муз.*).

<sup>3</sup> Низложит сильных (*лат.*).

не принадлежащего ни к какому человеческому сообществу? Как же без этих весело-деловитых и пристально-строгих товарищей? Один заложит фундамент, другой накроет крышей, третий покрасит оконные рамы; сперва подскажут, после поддержат, а дальше — и проводят в землю. Мне приходили на ум бенедиктинцы, иезуиты, иные корпорации; однажды я ухитрился — весьма ловко, как мне казалось! — задать вопрос, не задевая его; и магистр прямо и без промедления ответил, что ничем и ни с кем не связан. Я уверен, что он посвящен в высокий духовный сан, но не знаю, к какой принадлежит церкви.

Загадка магистра внушает постоянную неловкость тем пяти-шести гаммельнцам, которые склонны к размышлениям. Зачем сей муж, созданный удивлять и вразумлять мир и даже видом своим напоминающий башню или горную вершину в утренних лучах, добровольно затворился в родном городе? Ведь Гаммельн, при всех своих достоинствах, — небольшая средневропейская стоянка, населенная добрыми средневропейскими дикарями, и кто здесь полюбопытствует о высоком? Приятный космополитизм последних десятилетий имеет здесь скорее комическое обличье. Может быть, магистр дал некий тайный обет? Но кому?

Итак, он непонятен; к тому ж он язвительно насмешлив, и недоброжелатели зовут его магистром злословия. Хватило бы и одного из названных свойств, чтобы мне обойти его стороною; но он пленил мой слух речами о музыке. Вначале, с юной и суетливой спесью профессионала, я не был внимателен; но негромкий голос продолжал звучать и скоро принудил меня остановиться, вслушиваясь...

Католическому прелату подобает знать музыку; протестанты на ее языке изъясняются. Но в нем я нашел глубину проникновения, безмерно превосходящую простую должностную осведомленность. Он говорил о музыке с отвагой философа, с точностью математика, с жаром поэта. Я был очарован, покорен, повергнут! И каждое слово его стало для меня законом. Я признался ему в моей мучительной неуверенности...

— Вы больны, — сказал он, выслушав меня, — и пусть век страдает тем же недугом, не надейтесь, что я отпущу вам грех во имя его массовости. Юный друг мой, не прячьтесь в штаны принца датского! Пусты эти штаны. Все пять актов Шекспир хохочет над ним, а хилые бледные потомки возвели его на пьедестал. Девушка вешается ему на шею, а он, в страхе за свои мужские доблести, хулит ее, как лиса виноград. Поглядите-ка на героя и мстителя: высший взлет его смелости — петушиная драка с Лаэртом. И благо, что тем и кончилось: дьявол знает, что натворил бы этакий истеричный импотент в роли великого короля. Я вижу, вас шокирует моя откровенность? Церковь владеет всеми языками, она непогрешима, и грязь не пристает к ее одежде. Вам же я советую по-прежнему воздерживаться от рискованных выражений... Итак, что же я услышал от вас? Вы готовы к жертвам и лишениям, вы ждете награды лишь в радости труда; но вы боитесь ошибиться, вы не хотите стать посмешищем в собственных глазах, если усилия ваши превысят результат. Вы пришли ко мне, зная, что я всего лишь смиренный теолог, что я сужу только именем Великого Устроения; вы сказали, что нуждаетесь не в заключении эксперта, но в боговдохновенном совете. Что ж, ступайте! Бросайтесь в волны! Овладейте стихиями! *Allegro con brio!*<sup>1</sup> Трубы и литавры!

— Так вы благословляете?..

— Вы просили совета, не благословения. Я не расточаю благодать по дешевке.

<sup>1</sup> Несколько живее и решительнее, чем *allegro*, — быстрый темп, средний между *andante* и *presto* (ит., муз.).

Как суров он был со мной! Какое презрение во взоре!

— Чего вы ждете? Вы растеряны? Я оскорблял вас, а вы не оскорблены? А, вам желательно применять Бога как компьютер для подсчета ваших потенций? А меж тем будь в вас подлинный *creator spiritus*<sup>1</sup>, вы тотчас бы выбежали отсюда, чтобы жадно вдохнуть свежий и влажный ночной воздух, чтобы отрясти прах этого дома от ног своих и с ним все сомнения... Ну! В ваших ушах еще не зазвучал гнев Бетховена? Вам не хочется хлопнуть дверью, обрушив штукатурку на мою голову? Но если так...

Он был суров, но и снисходителен. Он не отказал в помощи мне, смирившемуся. Он назвал мое решение разумным и даже мужественным. Он меня сокрушил, но разве не обрел я в нем отца, впервые явившего спасительную строгость? Увы, мой родной отец никогда не был строг со мной...

Терпением и постоянством мне посчастливилось снискать его уважение: ибо, сказал он, теперь он видит, что я утвердился в уважении к самому себе. Он стал обходиться со мной как с другом. И беседы наши о музыке продолжались, принося мне безмерное утешение. И более, более того: отказавшись от композиторства, не будучи пред музыкой в ответе, я мог говорить и слушать без тайной ревности посвященного, которую должно обращать в иронию согласно цеховому этикету. Я стал свободен для поэтических уподоблений и мистических экскурсов, не принуждал себя возвращаться к писанию задач по контрапункту. Я позволял себе беззаботно чередовать восторги со спокойным любованием. Быть посторонним — великое преимущество.

Но все чаще бывал я поражен пропастью между стройной соразмерностью и божественной целесообразностью музыки, таким покоем полной в его речах, — и безобразной толкотней и сварами людского бытия. Не так давно я заговорил об этом с магистром, сетуя, что непредвиденные случайности умножают тяготы моего служения. Неужели, восклицал я, не может и тут все устроиться несуетливо и разумно! Или музыка — из тех даров неба, которым мы только дивимся, завистливо вздыхая о недостижимом?

— Бесспорно, она дитя божества, — отвечал друг с тонкою улыбкой, — но, предназначая ее для бытия, Бог позволил человеку овладеть ею. Возможно, божественная дочь не хотела опускаться на землю, возможно, отцу пришлось положить конец жеманству, обернув ее спиною и сообщив коленом некоторый первоначальный толчок... Не противится ли она и поныне, обрекая избранника на бесконечные усилия? В утехах любви не обойтись без диспозиции. Вспомним для примера известнейшую — как подобает нам, двум дилетантам, — симфонию Моцарта *in g*<sup>2</sup>. Тема ее наделена талантом жизни — возможностью саморазвития, первый краткий путь она пробегает сама, и этот путь предсказан ее собственным складом. Создатель только следит за нею строгим и любовным взором, готовый встретить утомившуюся путешественницу на повороте и помочь ей гармонической ли инъекцией, ритмическим ли поощрением. Он слышит ее мольбу: подкрепите меня вином, освежите меня яблоками, ибо я изнемогаю от любви. Он смотрит ей в глаза, он держит ее за руку, так явственно чувствуя под пальцами ее пульс, как никогда не чувствовал свой собственный... Истощив ее силы до конца, он заменит ее другою. Обретение бытия — процесс, образующий форму, и предмет его на всем пути — сама конструкция. Творение живет своею жизнью и как будто не нуждается ни в чем вмешательстве, на самом же деле повинуется единой воле. Результат — совершенство.

<sup>1</sup> Творящий дух (лат.).

<sup>2</sup> В тоне «соль» (ит.+лат., муз.).

— Только один вид совершенства — классический, — отозвался я.— Но возможны ли другие?

Друг мой сидел лицом к окну и вдруг оборотился ко мне всем своим тяжелым телом.

— Классический! О чем же мы говорили, почтенный мой собеседник? Открою вам: о Цезаре. Об Александре! Какие знакомые, веселящие глаз картины! Любо ли вашему отважному уму знаменательное сие тождество? Единые законы. . .

— Или свободная игра.

— Но соразмерная с разумом! Вы усомнились? Таково-де преображение истории поэтом? И теперь-то вы, человек положительный и государственный, отложите книгу и восстановите в правах реальность? Полно! Вам не удастся. Вам внушает недоверие завершенная историческая картина в округлом стиле итальянской арии *da capo*<sup>1</sup>. Вы подозреваете, что игра обстоятельств и интересов была более сложна, многоголоса? Ваши изыскания приведут вас к фуге Иоганна Себастьяна, а далее — к органистам Нотр-Дам и шестнадцатиголосию старых фламандцев. Но произвола вы не отыщете, случайности не встретите. Даже гетерофония — вспомните ваши ранние опыты, с которыми меня удостоили познакомиться, — даже гетерофония у вас не чуралась детерминации, льнула к спинному хребту, ибо в противном случае была бы раздавлена собственным весом!

— Но не грехом ли познающего будет такое упорядочение? Благонамеренным пожеланием в угоду архитектоничности его разума?

— А разве познаваемое не сделано им же? Разве вы не видите, не слышите, что иные моменты истории породила та же тоска по форме, который мы обязаны увертюрой к «Дон Жуану»?

— Магистр. . . но где же тогда Бог?

Он улыбнулся отечески.

— Мои ученые собратья исходили потом в попытках уличить меня в ереси. Вы назвали имя. Ищите его носителя в проявлении, **распознавайте форму, умеете уловить минуты Великого Устроения. . .**

— Но как трудно поверить, что повседневные дела Гаммельна, склоки и столкновения, позорящие магистрат, — не хаос, не беспорядочное воплощение без цели и смысла. . .

— Потому что этих дел еще не касалась преобразующая рука устроителя. Дела Цезаря пребывали в единстве с его намерениями.

— Добрые намерения! — вскричал я, увлеченный. — От века неизменные, они же и наши: благо и согласие граждан, да еще, быть может, снисходительное слово потомства. . .

— Дорогой и превознесенный друг, разве Цезарь был святым?

Я смутился.

— Желая блага, прибегают к молитве; Галлию завоевывают. Цезарь располагал легионами для похода, проконсулами для управления, юристы писали законы, ликторы наказывали, и, наконец, сенат и римский народ одобряли все вышеперечисленное. Точнейше обозначенные средства определяли соответственные намерения, иных он не имел, и мы зовем его классиком. Так же и вы. . .

Как было не принять это за насмешку? Но я попытался.

— . . . вы все, правители, стремитесь к форме в мире бесформенного, создаете островки порядка в океане хаоса. Что бы вы ни делали, устроение — ваш единственный способ, и оно же — единственное возможное для вас намерение. Вспомните: симфония имеет своим предметом свою же конструкцию. Она не оглядывается по сторонам, не возводит очи горе. Она целостна в себе и самоценна.

— И несправедлива, — содрогнулся я невольно.

<sup>1</sup> Сначала (повторить) (ит., муз.).

— Несправедлива? . . . — О, эта усмешка! Годы пройдут, но не забыть мне ее! — А зачем? Чтобы разрушить себя же?

И еще продолжался наш разговор, и друг мой вернулся к своей чарующей шутливости. А на прощанье сказал:

— Есть у божественного Шуберта, обычно склонного сладостно затягивать беседу, одна предельно сжатая фраза: начало неоконченной симфонии. Забавно, что словоблуды именуют краткость и точность незавершенностью! Так вот: звук протягивает к звуку тонкие длинные нити — быть может, высоко в небе, но почему бы и не под землею? В этом строении и развитии зоркий глаз может усмотреть чертеж. . . ну, скажем, готовый проект системы городского водоснабжения.

Жестокая шутка — если лишь шутка. Водопровод и поныне — большое место городского устройства; особенно же пагубно отсутствие канализации.

Да, пора сделать признание: в том моя вина и отсюда страх мой: Гаммельн стал грязен безмерно и оскорбляет зрение, осязание, обоняние же наипаче. Куда деваются деньги — не пойму, но слышал не раз от членов магистрата, что городская казна пуста. Говорил мне так и председатель суда, и директор школы, а мингер ван Пельц, наш финансист, всякий раз подтверждал с искренним огорчением.

Сомневаясь в себе, я расспрашивал осторожно, описывая свои намеки и экивоки магистру. Он мягко упрекал меня за робость, напоминая для примера и руководствия иные похвальные мои суждения и распоряжения. И коль скоро добрые слова подкрепляемы были добрым вином, я казался сам себе и впрямь не совсем недостойным моего невольного бремени. . .

Но приходило утро, и был я один, и дымом расплывалось, словно колдовское золото, мое душевное веселье.

Пора в ратушу. Надо идти, скрывая тяжкое похмелье и немалое отвращение: по природе я несообщителен. Нет, по сей день не пойму, как согласился принять, хотя бы на время, утешительный сан; приняв же, был честен и полон рвения. Был ли утешен — про то Бог суди. Правда, Бог — милосерд, и я сам сужу себя сурово.

А вот новая ратуша — мне в утешение: величавое, строгое строение подобно хоралу Баха; оно возносит к небу четыре башни, и на каждой — на все стороны света — часы. Дважды в сутки, в полдень и в полночь, часы играют короткую фразу из «Фиделио»: шестикратно повторенная квинта до мажора успокаивает своей устойчивостью и вместе с тем придает, по моему замыслу, некоторую возвышенность будням. Правда, магистрат находит, что фраза звучит скорее как предостережение; но я осмелился не согласиться с этим. Памина, моя воспитанница (я люблю это имя из «Волшебной флейты», имя чудесной принцессы, выходящей из таинственной тени, чтобы вознаградить Тамино за все испытания; ее крестное — Сабина — созвучно волшебному), моя воспитанница говорит, что мелодия с шестью «соль» похожа на школьную дразнилку.

Увы, пока неизвестно, какое толкование предпочтут граждане Гаммельна. Со дня торжественного открытия ратуши минуло уже два месяца, а часы еще не играют и даже не ходят. Их делал мастер Гейнц, гордость и слава города, и приключившаяся с ним незадача не дает мне покоя. Парень он славный, старательный, всегда трезв и безотказен — и вдруг охмелел от всеобщих похвал и понес окоlesiцу: ему-де все дозволено, начнет злословить хоть о бургомистре, хоть обо всем магистрате, и ничего ему за то не будет. Мясник же Якоб, грубиян и недоброжелатель, подстрекнул: бургомистра-то всякий, дескать, горд, а вот попробуй судью! Пари на две кружки! И подзуживал всячески, пока бедняга Гейнц, выпив для удали, не произнес слова неудобопроизносимые о председателе судебной палаты при большом

скоплении народа в пивной. И надо же: кто-то услышал, запечатлел на бумаге все подробности, включая самые слова, и доставил в магистрат. Колебались и спорили ожесточенно, но арестовали мастера. Так и стоят часы, краса города, утеха и малое оправдание мое.

Ныне я стал искусен в лести, обучился интриговать, хитросплетать и ходить окольно. Бывает, переберу лакейского тону — и тем послужу пользе дела. Надо вызволить Гейнца! Судья не зол и не мелочен — из почтения к себе; а повезет — так одно присутствие моего друга пристыдит упершийся магистрат. Не будучи лицом официальным, одинокий мыслитель все же приходит иногда в ратушу и даже удостоивает нас своими суждениями; и тогда немногие слова его возносят нашу обыденность к высотам философии и космического беспристрастия.

— Досточтимый судья, как драгоценное здоровье ваше?

— Благодарю, бургомистр.

— Рад слышать, и никто более меня не рад. Рад сердечно всем вам, уважаемые! Опоздал, опоздал, простите, на северной башне третий месяц двенадцать, да на западной только девять. . .

— Иной долг тягостен, бургомистр.

— Боже упаси, дорогой мой, и помыслом не упрекаю вас! А коль пришелся к слову мастер Гейнец, то не случайно, да и когда бывают случайны слова ваши?! Читаю, друзья мои, в душе нашего коллеги: давний случай досаждает ему. По заслугам наказан грубиян и пьяница Гейнец, кто пожалеет о нем? Никто — кроме его судьи. Как снести благородному сердцу, когда долг надевает личину мести! Богомерзкое, мучительно потешное сходство! Уверен: если отпустим с презрением бродягу и сквернословия Гейнца, тотчас разойдутся тучи на челе нашего председателя. Не поддержит ли меня господин атташе фон Тедеско?

Поздний потомок знатного рода, гордого романской примесью, прославленный дипломат, англоман. Приветливая улыбка.

— Ваша диалектика блистательна, юридическая компетентность судьи несомненна. . . Вмешательство излишне.

Граф — поклонник искусств: быть может, в его лице наша картинная галерея имеет лучшего ценителя. Оригиналы слишком дороги, но я с таким тщанием подобрал копии для большого зала ратуши, и взгляд дипломата скользит по стенам с явным одобрением. Особенно хорош Босхов «Корабль дураков»; жаль только, что картина сердит нашего оружейника-изобретателя: он находит в ней какие-то технические погрешности. Странно также, что магистр всегда садится к Босху спиной.

— Брань ремесленника — не оскорбление для меня. Не обдели Господь разумом того. . . не в меру усердного гражданина Гаммельна, я мог бы не знать о поносных словах, даже зная о них. Событие же, документально изложенное, слова названные и записанные обретают юридическое бытие, бытие государственное и историческое, бытие неизгладимое. Донесению надлежит быть рассмотренным и влекущим выводы, известно вам это, бургомистр? Бог свидетель, как неловко и досадно мне с этим жалким Гейнцем. Тяжко стать невольной причиной посрамления своего города, и кому — мне! Помнил я и о личине мести, вами упомянутой. Как распалась связь времен на наших часах, так раздираема была моя совесть. Недопустимо, однако, оставить порядок в небрежении. Ему, порядку, я решил жертвовать даже и честью своей, уповая, впрочем, что так-то и сохраню ее.

Да, судья терпеть меня не может: он и место бургомистра жаждет один другого, и по праву, по праву!

— Тут и Якоб наш не без вины. . .

— Э, сосед, поцелуй-ка меня в зад!

— ... а все ж мирволить нельзя. Спустишь раз — всякий примется, чем и оградишь почтенное лицо?

— Полно, любезнейший. Во мне ли дело? В отдельном ли человеке? Чем порождено недоумение об отдельном человеке? Это недоумение, это замешательство происходит от путаного определения его, *ergo*<sup>1</sup>, невозможности соотнести проступок с наказанием. Как возможно, что слава города зависит от негодяя, *et vice versa*<sup>2</sup>, допустимо ли, чтобы спаситель чести города оказался негодяем? Разум восстает против этого противоречия, и вам лучше знать, милостивый государь, как возникло такое немыслимое *qui pro quo*<sup>3</sup>. Законы нелицеприятны, должное же толкование и применение их требуют установленной системы приоритетов. *Ergo*, восстановим приоритеты, бургомистр!

Он косится в сторону моего друга, но тот неподвижен, как застывшая лава, в своем огромном кресле. Его грузное тело и просторные одежды переливаются через край.

— Да не такой уж он единственный, этот Гейнц. Гонору много! Другие не хуже бы справились.

О нет, ни в коем случае не следует мне понимать этот намек. Если изобретатель доберется до часов, они будут величиною с озеро, из каждой цифры полетят птички — в соответствующем количестве, а стрелки украсятся флажками.

— Гейнц вконец окосел, как твои две кружки добавил, Якоб...

— Задницу почечи, приятель.

— ... с крыльца в лужу полетел, и уж тут до мерзостей дошел: в рифму заматерился.

— Всюду мерзость, — сказал судья. — Не угодно ли: на дохлую лягушку наступил на площади.

— Наказать мусорщика!

— Мусорщика, профессор? Вы полагаете, это послужит славе Гаммельна? Право, не знаю, чем мы тут занимаемся.

— Я давно не был в Гаммельне, джентльмены, боюсь, что несколько забыл дорогую родину, служа ей на чужбине. Признаюсь, удивлен, опечален. Я — демократ и христианин, но в отеле насекомые! Горничные так неопрятны, что... приходится мыть руки. Прошу простить мою непрошеную откровенность.

— Экселенц! Профессор! Высокопочтенный председатель! Все сказанное справедливо, неоспоримо! Город пора очистить. Здесь сегодня собрались самые светлые умы Гаммельна: изобретательнейший староста цеха оружейников, доктор, — ах нет, он что-то запаздывает, но вот его коллега фармацевт; вас, экселенц, просим проконсультировать по вопросам иностранной помощи, уповаю на ваше содействие, профессор. Наш уважаемый казначей, финансовый советник ван Пельц не позволит нам увлечься чрезмерно. Слева от меня — страж законов, справа — магистр, коего представлять нет нужды. Всех прошу помочь советом и участием. Сам же скажу: нужна вода, вода в каждый дом, и для начала построим водокачку...

Медленно отворилась дверь, вошел доктор — усталый и озабоченный...

— Уважаемый бургомистр подобен Геркулесу, для очистки авгиевых конюшен Пеней и Алфей запрудившему. Или водопровод смоеет с наших улиц дохлых лягушек?

— Осушит грязные лужи, уничтожит кучи отбросов?

— Клоака очистит клоаку?

— Чума излечит холеру?

<sup>1</sup> Следовательно (*лат.*).

<sup>2</sup> И наоборот (*лат.*).

<sup>3</sup> Недоразумение, путаница (*лат.*).

— Вы же слышали, коллеги: это лишь начало... Я с нетерпением жду водяного органа, фонтанов и статуй!..

О, невинные Гейнцева каламбуры. О, расплата.

— Дорогостоящее начало,— в первый раз нарушает молчание мингер ван Пелыц. Голландец родом, он несколько лет назад любезно принял на себя наши запутанные финансовые дела.— Но...

— И то сказать — гроша не останется, возьмемся за руки и пойдем плясать вокруг водокачки, под музыку! Как мыши кота хоронили...

— Крысы! — доктор вскочил. — Ночной сторож на складе Вальдиюллера! Крысы ему обгрызли ноги, я только что оттуда!

— Пока он спал, разумеется! Кара сопутствует преступлению. Вот она, распушенность!

— Крысы у булочницы кошку загрызли.

— Секретарю суда в суповой тарелке крысу подали!

— То-то сноха вчера всю кулебяку из булочной скормила коту. Не иначе, с крысиным дерьмом начинка.

— Мельнику всю муку изгадили!

— Крысы бросаются на детей,— взволнованно добавил доктор.— Прыгают в колыбели...

— Так не начать ли нам с крыс?

— С головы или с хвоста? — прошептал я, покоряясь.

Магистр не слышал. Он вел сам с собою тихую ритмическую беседу, и я различил обрывок стиха:

... который властною рукою  
Нам будет обновленья знаком...

— Не будем отвлекаться из-за частных, господа,— сказал судья, который тоже прислушивался к монологу магистра. Упрекая себя за недавнее подозрение, я взглянул на него с горячей благодарностью. — Предлагаю систематический план...

Увы, не было удачи его разумной попытке! Под столом зашуршало. Тедеско побледнел, профессор нервно подобрал полы мантии; не таково было хладнокровное мужество моего благородного друга. Он остался спокоен, когда на груди бумаг перед нами вскочила мышь,— мне почудилось, на его рукава! — замерла на мгновение, вся любопытство и доброжелательство... Магистр махнул рукой, мышь исчезла.

А в огромном зале родился ропот.

— Довольно сомнений! Довольно колебаний! Действовать! Известить крыс! Найти средство!

— Такое средство есть, оно получено в моей лаборатории... Как угнездилась наука в этой скромной голове, спрашиваете вы себя? Своеволие ее крылий, милостивые государи мои! Рыцарь реторт и колбочек! Да, были времена, когда алхимика окружал страх и почтение; и, может быть, недолго осталось ждать, что повальный мор, что неслыханное бедствие наконец-то принудят растерянное человечество облечь ученого властью!

Аптекарь говорит негромко, но как пронзителен этот голос, сотрясающий его длинное, тонкое как хлыст тело.

— Это что ж, крысиная отравка? По чердакам да подвалам с угощем лазать? Смотрите, почтеннейший, подохнет зверь в углах — провоняет, зараза пуше пойдет. О старой доброй крысоловке пожалейте.

— Вздор!

— А мы ее усовершенствуем. Вот я тут чертежик набросал, не посмотрите? Через вытяжную трубу на барабан их, да лопасти посадить почаще, чтоб на клочки. А подведем к реке выход — так и вывести не надо, тратиться; прямо в воду!

— Весьма, весьма остроумно. Но... пресса может квалифицировать как вивисекцию. Я — демократ, но я христианин; и что скажет Англия?

Мы смущенно переглядываемся.

— Э, кати в зад твоя Англия!

— Ваше сооружение внушительно, как тяжелая артиллерия. Не слишком ли — для этой... войны мышей и лягушек?

— Что ж, что война? Войны движут прогресс, любой школьник знает — вон профессор вам подтвердит. Оно, может, и нехорошо, да не нами заведено. Я — механик, человек практический, а ежели ваше превосходительство в рассуждениях на повороте заносит, так ваша Англия по сей день в шкурах ходила бы, креста не зная, кабы ее с кораблей не завоевали. А как сама разлакомилась — пароход построила, не на этакой же шлюпке плавать, что вон там нарисована.

— Ошибаетесь, сэр. Английское судоходство развивалось исключительно в торговых целях.

— Э, такая торговля от пиратства недалеко ушла. Сколько народу на дно-то пустили?

— Наш мастер забыл, что атташе фон Тедеско все-таки не англичанин, а мы не противники прогресса, даже если он, увь, пьет из черепов...

— Это вы про меня? Я из кружки пью!

— О нет, нет, это древнее божество, древнее изречение, — поспешил я.

— Древнее — так и говорите. А только божество за вас крыс ловить не станет. Не хотите крысоловку — по-другому сделаем, еще и проще. Вот транспортер есть, давно без дела стоит, лента широкая; а сюда — четыре столба, метр, не больше, угол... гм... косинус... так, довольно. Транспортер подает, плита падает и прихлопывает. Конеч.

— Да уж с такой высоты — сразу мокрое место.

— А в какую сумму обойдется эта конструкция? — осторожно спрашивает мингер ван Пельц.

— Прикинем. Земляные работы — пустяк, рабочие много не спросят, подъемное устройство — после башенок-то на ратуше — цело, приспособим, а плита... плиту для такого случая в мавзолее того философа позайствовать можно, все равно родственников никого не осталось. Еще динамо. Ну, и патент... От силы три сотни на все и про все.

— Сомневаюсь. Электричество дорого.

— Дражайший финансовый советник, неужто и вы враг прогресса? — шутит председатель судебной палаты.

— Нет-нет, никто как мы — голландцы — ему не способствовал, хотя никто как мы не страдал попутно... А мастер уж успел за меня казну сосчитать?

— Когда мы так бедны, не подобает нам воздвигать вавилонские башни. Господа, обратитесь к науке — тайной, быстрой, всемогущей! Мы не сдвинулись ни на воробьиный скок, забавляясь механическими игрушками. Пока не поздно, призовем на помощь мысль! Мысль не нуждается в столбах и землекопах, мысль не разорит нас, мысль вся вот здесь, как джинн в пробирке!

Длинной, длинной рукой аптекарь касается лба. И какие ногти! Я вспоминаю старинное предписание: оставлять оружие за дверьми ратуши.

— «Черная пыль»: производство моей лаборатории. Целебна в малых дозах, предположительно смертельна в больших. Действует мгновенно, обходится недорого. Удалить жителей наиболее зараженных кварталов, распылить порошок — и погибнут не то что крысы, но вообще все живое в радиусе четырехсот метров. Быстрота, простота, ника-

ких громоздких приспособлений. Для операции достаточно двух человек.

— Как будто недурно, — задумчиво говорит полицейский комиссар. — Тюрьма кишит крысами. Только куда я дену арестантов?

— Господь благослови ваш гений, бакалавр! — горячо восклицает доктор.

— Я не вполне понимаю... получается, что эти двое... гм... тоже?

— Вот оно что! До людей дошло!

— Да, милейший прогрессист, тут риск, и немалый. Это не то что прятаться за мраморной плитой, оскорбляя городскую святыню. Давид вышел на Голиафа без щита! Присяга война обязывает к жертве, при защите порядка риск входит в контракт.

— Но, бакалавр, — озабочился судья, — такой приказ солдату или полицейскому превышает наши права, равно как повинование в этом случае превышает их долг. Кого же... удостоить?

— Припомните: требовался только десяток праведников... Каков же в ваших глазах Гаммельн, коли на дне своего презрения вам не сыскать и двоих. Так пусть одним буду я — ищите второго!

Соблазн. Три, пять, десять соблазнов. Соблазн вдохновения — вечный расчет, не мечта, не надежда, первый и последний, единственный. Соблазн кончить, прекратить (в эту минуту я понимаю, что никогда она...) — соблазн покоя. Соблазн кокетства, павлиньего хвоста — перед нею же! Последним упомянутый, не честнее было бы с него начать?

— Что ж, дорогие сограждане, всем известно, что это кресло не по мне. Возложите грехи ваши на козла и отошлите его в пустыню. Разрешите сопровождать вас, бакалавр?

— Возложите грехи ваши, — повторяет судья; он раздосадован и не смотрит на меня. Соблазн злорадства. — Похоть одолевала древних иудеев, видно, сильнее всего, потому был избран козел. И нас, похоже, не менее, но кто снесет другие грехи, Ergo, возложите...

— На осла отпущения! — подхватываю я, неуязвимый. — Враг, где жало твое?

Но неужели они так и не взглянут на меня добрее?

Аптекарь рад скорому успеху, но не затмился ли его ореол?

— Не найдется ли снова ягненок в кустах?

— У нас в кустах только кошки бродячие, парочки да пьяницы, верно, Якоб?

— А пошел ты...

— Поистине, всемогуща невинность. Ягненок немедленно вызывает массовый зуд жертвоприношения. Зато виновному, — магистр смотрит мне прямо в глаза, и я стремительно трезвею, — виновному не дано искупить ничьей вины, кроме своей собственной.

— На Страшном суде всех простят, — бормочет пьяный Якоб.

— Ловко! И того, значит, мало, что велосипед украд, и Петера с Паулем, что вдову и дочку ее зарезали? А вы-то, судья, их вешать приговорили.

— А вот затем именно, чтобы потом простить.

— Так проще их порошком господина аптекаря посыпать!

Позабыв даже рассердиться, аптекарь кричит:

— Петер и Пауль!

Председатель смотрит на него с интересом.

— Гм. Вы думаете, они согласятся?..

— Вот и наскребли двух праведников.

— Праведники не праведники, а подумайте, чтоб человека зарезать, тоже смелость нужна.

— Да один-то держал, пока другой резал.

— Все-таки.

— Возможность уцелеть! И тогда — прощение, да что я говорю — прощение, тогда преступник становится героем, убийца — благодетелем целого города! Вина искуплена! И... пусть им дадут выпить... перед операцией.

— Но если откажутся?

— Тогда... принудить.

— Искупай, значит, или вышка.

— Интересно, имеет ли подобное принудительное искупление силу перед лицом неба?

— Это вопрос богословский, — вмешивается Тедеско. — Светское же право, как известно, опирается на прецедент...

— Право не выводится из фактов, — возмущенно говорит судья.

— Преклоняюсь перед таким возвышенным суждением, но вот именно выводится. Граждане нашего дорогого Гаммельна, переходя улицы, глядят на машины, а не на светофор. Испытанные легализованные прецеденты вашего случая не известны, так что случай ваш — вне права. Иными словами, это делают, но об этом не говорят.

— Благодарю за урок, экселенц. В самом деле, чрезвычайные меры, к тому же временные, не всегда поддаются легализации.

Для нашей заспанной, добродушной, бесформенной провинции эти мысли пока еще слишком широки и смелы. Но судья поддается: он готов даже на поражение в споре, лишь бы не дать мне прослыть героем.

— Вы не найдете надлежащего, пристойно звучащего наименования для таких действий, следовательно, не поднимете их до уровня легализации. В истории останутся не записи, а слухи.

— Слухи очень опасны, — тревожно произносит мингер ван Пельц.

— Но чрезвычайные обстоятельства! — голос аптекаря возвышается до визга. — Вспомните чумные эпидемии, господа!

— Да у нас-то не чума. Моя жена как завопит, крыса от нее куда и бежать не знает. Вот мы все и закричим, да в тазы, в сковороды бить начнем, а то еще музыканты в свои трубы задуют — никакая тварь не устоит. И детишкам пошуметь, побегать удовольствие, уж вы, профессор, для такого случая с уроков отпустите! Утопим зверье в реке, отпразднуем...

Сколько же часов мы тут сидим?

— Вот это хорошо придумано! Только зачем тазы да кастрюли, надо автоматические погремушки, трещотки с вертящимся барабаном, особой конструкции, — то-то музыка пойдет! Англия-то не возразит, ваше превосходительство?

(Вот именно. Тарелки, большой барабан, гlockenшпиль...)

— Напротив, эта веселая идея вполне в англосаксонском духе: майские пляски вокруг шеста, шумные карнавальные шествия... — И вполголоса судье: — Я — демократ и христианин, но, сочувствуя вам, вижу: управлять Гаммельном не то чтобы трудно, это просто бесполезно.

— Городская казна, по крайней мере, не пострадает.

— Пожалуй... Итак, бургомистр! Не угодно ли распорядиться? Следует все тщательно продумать: размещение людей, направление шумовых потоков, время общего сигнала, самый сигнал, — очевидно, колокольный звон; полицейские посты для предупреждения беспорядков...

Немыслимо. Смерти подобно — смерти моих ушей после трех секунд такого содома. Нет, никогда! Пусть же хоть для этого пригодится мне постылая власть.

— Господин бургомистр колеблется? Но тогда лишь чудо спасет Гаммельн!

Чудо! Река и чудо. Еще не музыка, уже не шум...

— Чудо — это так банально, — говорит Тедеско с ласковой пренебрежительностью.

Теперь или никогда!

— Не пренебрегайте банальностью, граф, — говорю я. — Приемлю банальность — как приобщение к человечности. Искупление — тоже чудо. Друзья, минуту внимания! Не надо греметь, стучать и вопить: крысы пойдут в реку сами! Мы посылаем курьера к знаменитому Флейтисту-Крысолову!

## 2.

Прошли две недели; слухи волновали Гаммельн. Наш курьер не без труда был допущен в Краков, но там нечего было и думать о визите в Collegium Maius<sup>1</sup>: факультет магии ревниво оберегал своего гостя, а также свои тайны. Портье Гранд-отеля не пожелал отвечать на вопросы. Надеюсь на счастливую случайность, на необходимость Мариакского костела в любом туристическом маршруте, курьер предпринимал ежедневные треугольные прогулки между улицей св. Анны, главным рынком и Славковской; но так назойливо разглядывал и расспрашивал, что в конце концов был заподозрен в дурных намерениях. Отчаяние побудило, наконец, в честном малом изобретательность: он подкупил одного студента, и наше послание достигло адресата. И вот, когда бедняга курьер изучил в подробности каждую кавярню в своем треугольнике, от Литерацкой и Мокка до Античной, и однажды забрел в «Казанову» на Флорианской, — посредник принес устный ответ: артист был рад приехать, но давно зван и обещался в Авиньон, Палермо, Бад-Годеберг и Кельн; быть может, там и не такая скорая надобность, но как же быть? С тем и возвратился наш посланец, изрядно потратившись и лишь однажды повидав Флейтиста — издали, когда тот выходил из университета в окружении студентов, лиценциатов и юных бакалавров.

Предстояли дипломатические сложности; атташе фон Тедеско являл все свое прославленное искусство, звоня в европейские столицы; счет за телефонные переговоры достиг внушительной величины. Наконец знаменитый согражданин наш протер свою любезность до того, что сам вылетел в начале мая в Швейцарию для консультаций и посредничества... Опираясь на имперский авторитет Англии, он сумел вызвать у Европы сочувствие к Гаммельну, и теперь в отеле «Империя» днем и ночью выводили клопов: мы ожидали скорого прибытия Крысолова.

В эти полмесяца я, Жан Вальжан, не видал своей Козетты, я, Каллибан, не видал своей Миранды; только сегодня я, Пьеро, износившийся за сорок лет, увижу свою Коломбину. Я был занят, бесспорно, и все же никогда до сих пор не допускал встречных посягательств службы и сладостного общения. Если что и помнил четко, так это деление времени меж двумя моими вселенными... Теперь все перепуталось, и что ж это: начало старости? Последствия пьянства? Впрочем, и ты не без вины, Памина. «До июня он мне не нужен», — сказала ты старой Марте, и Марта передала это мне, сердитая и за меня обиженная. Что ж, девочка, если это твоя прихоть, да будет так, я давно уже не воспитатель, не наставник твой. И позабудься то время вовсе, не пожалею.

Добрый вечер, дитя мое, ты грустишь? Вот я тебя позабавлю рассказками. Флейтист-Крысолов приехал сегодня утром! Город высылал за ним экипаж — старинную герцогскую карету, лошадей целый день скребли, чесали, украшали султанами. Свою лошадку помнишь? И ее впрягли, славная четверка получилась. И — разминулись! Пустая вер-

<sup>1</sup> Древнейшее университетское здание в Кракове, ныне Музей истории Ягеллонского университета.

нулась бы карета, да наш добряк Ганс подобрал на дороге мальчонку: неладно, говорит, порожняком возвращаться, взял этого — за сына будет; только как же приезжий-то? Мальчишка чумазый, сидит на плечах у Ганса, глаза — как две вишенки, знаешь, когда ягоды на верхушке дерева остались и оттуда дразнятся. Хотелось бы тебе сынишку? . . . Да, так разминулись. Ганса я утешил, себя — не очень, под утро только заснул. И на заре — звонок! Смеющийся голос приветствует бургомистра славного города Гаммельна. «Рад безмерно, маэстро, да как же вы до нас добрались?!» — «Прошелся пешком по лесу, солнце взошло, птицы проснулись — видели вы, бургомистр, лучи на поляне? И . . .» — нет, не буду повторять, не звучат его слова, на мой голос переложенные. Жалеет, что огорчил фореятора, берейтора, словом — кучера. Нет, дитя мое, это не случайность: он артист, на что ему наш пыльный бархат — изъеденные молью подушки, занавески, резные ручки — лавка старьевщика на колесах! Он мерит пространство ногами и не в постели грезит о прелести рассвета . . . Чудесно, говорю, где пожелаете остановиться, — быть может, в ратуше? Лучшие покои отведем! — Номер в отеле, не надо беспокоиться, — отвечает молодой баритон виолончельного тембра, я скоро уеду, ждут! — Помилуйте, до покажитесь городу, поиграйте. У нас в Гаммельне кто ж не музыкант. Смеется: так и задумано, а пианиста найдете? Как не найти, пришлю сегодня же . . .

Уговорились: два концерта для нас, третий — утренний — для крыс. «Орфей и фурии усмирненные — не токмо нас возвышающий обман, с малою поправкою на житейскую прозу — крысы вместо фурий, кто не верит, пусть проверит . . .» — а он уже не слушает, я и не уловил, когда в трубке щелкнуло.

Бог свидетель, душа моя, я рад нелицемерно. Сгинут не сгинут крысы, а музыкант он хороший. Как я это знаю? Так думаю, и сердцу весело думать так! Вот послушай-ка, на это многие надеются: выгони сегодня крыс, завтра вывези мусор, вымой окна — послезавтра засияют глаза, расцветут улыбки, любовь взойдет в небесах . . . Я не отвергаю, нет, ведь никто никогда не пробовал доделать до конца . . . Но что, если крыса в сердце человеческого — гаже амбарной? Пойдет ли за ним амбарная — как знать, мне не до этой крысиной магии; но крыса человекская подвластна чуду, чуду только и податлива. О том и думал, слушая голос музыканта, и предвижу, любя и злорадствуя, как схватятся за грудь добрые гаммельнцы, когда прочь побежит их крыса! Какой визг и писк, какая толчея! Как заскрипят их мозги, осмысляя случившееся! Туда дорожка и моей крысе . . . Мучительно и благотельно. Собирайся, девочка, послушаем Флейтиста, тебе бояться нечего, твой дом чист сверху донизу. Неловко? Бог с тобой, дорогое дитя, кто же нас не знает — бургомистра и его воспитанницу.

Овации встретили артиста; и как просто он стоял там, высоко над залом. Длинные, слегка расставленные ноги марафонца, крепкие бедра, широкие рукава зеленого камзола, белый прямоугольник рубашки, глаза смотрят в зал с веселым любопытством, на голове зеленый бархатный берет. Рука с флейтой плавно взлетает, он склоняется, приветствуя публику, — не паж, робко влюбленный в королеву, не бог и не дьявол — странствующий подмастерье, сговорчивый и лукавый, бродяга не из нужды, а по вольной воле. Величие? Величественны старики, магистр величав . . . а я и в старости не обрету величия.

Перед ним пюпитра нет: вся игра будет наизусть. Пианистка Бербель, племянница магистра, раскрыла ноты — не крюки, не невмы, привычные наши смородинки на черенках; руки ее дрожат от волнения. Все как обычно, но что ж это? Флейтовое соло из «Орфея»? И старого Глюка он играет с таким вольным акцентом, словно бродячий акробат удобно расположился в тени под деревом и насвистывает своей подружке? Звук тонкий, острый как игла, чуть резковат, быть может, а хоро-

шо... Хорошо, чудесно, но я не меломан только, я бургомистр, внемлящий долгу, — вот такой-то музыкой он будет ворожить этой хвостатой гадости? Ах да, вспоминаю, — он ведь импровизатор, ступень промежуточная от исполнителя к композитору, искусство, ныне утраченное. Бедняжка Бербель, рояль отрывисто твякает: крысы сгрызли прокладку на молоточках... Надеюсь, рояль ему послезавтра не понадобится: женщины крыс боятся, и не тащить же этот катафалк в воду? И Бербель сама не легче... В самом деле он войдет в воду? И как далеко?

А вот этой пьесы я не знаю: старинный напев, не позже 14 века, похоже на гальярды Бертрана, но какие странные славянизмы — Богемия? И что за ритмы буянят в этой наивной, далекой, полузабытой мелодии, будто инъекция молодой крови? Ай да Бербель, молодчина, справляется, ловчит вдохновенно, не глядя в ноты, — а ведь мы с ней одной выучки, доброй старой школы: играй что есть в нотах, и только то, что есть в нотах, и ничего кроме...

Ты слушаешь, девочка моя, слушаешь — смотришь, будто у тебя перепутались глаза и уши. Я тихо, тихо надеюсь: ты как-нибудь догадываешься, что это для тебя я выискал диковинку. Что мне до прочих и до прочего!

А публика слушает и почесывается: грязен Гаммельн, грязна мука на мельницах, грязно звучат гаммы у школяров-музыкантов. Публика слушает ртами, вытянуты шеи, подняты вверх, шевелятся острые крысиные морды... Ах, что же это: зал сотрясается, позвякивает люстра — наступил час ночных грузовиков с мусором, впопыхах никто не сообразил переменить маршрут, — и Крысолов у рояля приплясывает, перед Бербель вместо нот — его берет, а в зале стучат хвосты под креслами, его взлохматившиеся волосы поднялись рыжей короной, и флейта — словно палочка, и крысы не сводят глаз со своего рыжего пьяного дирижера!

(Чьи это стихи? Кого благодарить за незабвенный дар, хранимый с юности?)

Как здесь душно, оказывается. Что делать, зал наш убог и тесен, изнемогает от невиданного людского скопления. Пойдем, дорогая, артист устал, он не станет бисировать, рояль закрыт. Но нет, он играет — один, простую тихую песенку, куплет шубертовской «Липы», — и вот уже слезы умиления смывают с глаз чертовщину, на миг почудившуюся. Хоть он снова взламывает ритм синкопами. Довольно, довольно: испытанный восторг уже преисполнился нетерпения, неблагодарный: скорее прочь с глаз, прочь из ушей. Идем, девочка, за стенами — прохлада, влажная ночная тьма. Любезный, где это вы успели охмелеть, не на концерте же! Подальше от дамы, прошу вас. Если не умереть экстравагантно рано, если в пристойной длительности удержится жизнь, в тебе поселятся и приживутся двойные изображения; тогда не спеши, не разбивай первое ради последнего и последнее ради первого: не ожесточись... Чем припомнится тебе через годы эта музыка: грехом, благодатью, насмешкой? Подожди: не суди поспешно ни себя, ни музыканта... Опять я менторствую невпопад. «Прими сиротку, сударь, родители почтенные люди были, — сказала мне Марта, — большая выросла, кормить-поить-укрывать надо, а там — замуж выдавать, мне одной никак. А тебе дочкой будет». Годился ли я в отцы, оробевший музыкант? Не найти сочувственного слушателя, не найти готовности понять. Все они, давние приятели мои, были неприкаянными, бродило среди них, пошатываясь, само окаянство, а я так хотел стоять перед судьбой достойно! Я оставил музыку ради службы в магистрате, и так успокоителен был этот скромный, но постоянный достаток и ясность на годы вперед! Вторжение ошеломило меня. Смutil призрак семейного бремени, и, боюсь, я не был с вами обеими приветлив. Марта не пожелала заметить мое недовольство; она обошлась со мной пренебрежительно, как

после той давней и единственной встречи, когда мальчишка, посвящаемый ею в некую науку, оказался плохим учеником. Но бесследно исчезло ее веселое прошлое, и она воспитала тебя в удивительной строгости, не замечая нынешних непринужденных нравов. Ты была безучастна, ты привыкла не привыкать к новым лицам — и вот мне захотелось, чтобы ты отличала меня от соседа, молочницы, от кота, от стола и стула, наконец! Девочка, и мне хотелось победы.

Я занимался тобою, старался обучить всему, что знал сам. Клянусь, не благодарности искал, но любопытства; ко мне одному обращенного взгляда, интонации, которую мог бы присвоить . . .

С какой-то смущенной радостью принимал я первые знаки твоей привязанности. О дитя мое, никогда я не помышлял о тебе как о дочери, и все же: если мужчина в опасности не может бежать, потому что с ним женщина и ребенок, то лучше, пристойней, нравственней эта невозможность, нежели свобода.

Но думалось мне еще и так: твое прежнее безразличие — не безопасней ли?

Осторожно: не споткнись об эту голову. В Гаммельне много пьяных бродяг, в праздники же сугубо. Само слово «праздник» тревожит, досаждают мне: предпочел бы «ликование», ибо этимология его — от готского *laiks*, то есть пение, пляски — предполагает дело, занятие. Даже вольное толкование — глядеть на лик возлюбленный — включает праздность. Праздный, пьяный непристоен и оскорбляет зрение и слух честного человека, который трудится изо дня в день, принимает скромное вознаграждение, привязан к своей семье и не желает ничего иного. Ни разу я не представал перед тобой в неподобающем виде . . . Издавна толковали у нас о сухом законе, но важные причины тому препятствовали. Однажды, восемь лет назад, я предложил тогдашнему бургомистру: пусть хотя бы раз в год, на Рождество, особая машина подбирает с улиц и развозит по домам хмельных гаммельнцев, потерявших облик человеческий. Дитя мое, я был еще молод!

Бургомистр, его преподобие Шонгауэр, признал эту меру малой, но бесполезной. Правда, в городе надо мною смеялись, прозвали автомобилем «пьяным аистом», намекая на печальный сюрприз, который получали жены от младенца Христа. Но бургомистр отметил меня своим вниманием; узнав о тебе, он пожелал давать тебе уроки. Добрый, достойный человек! Не мне занимать его место; однако с тех пор и начался мой незаслуженный, слишком стремительный успех, никого так не поразивший, как меня самого. А если позволял я себе порадоваться, то лишь потому, что мог дать тебе лучшее воспитание.

Как-то раз я посетовал на резкость твоих манер. «У нее прекрасный голос, — заметил его преподобие, — почему бы не обучать ее пению? Быть может, нежные мелодии . . .»

Да, сознаюсь: сам я не учил тебя музыке. Какой-то непонятный страх останавливал меня. Ты ловила музыку на лету, и твои пристрастия пугали меня. Ты пела — чисто, верно — уличные песенки, банально афористичные, грубоватые, я сказал бы даже — разбойничьи . . . Голос твой срывался от бессознательного волнения . . .

Я пригласил старенькую суматошную певицу, не слишком надеясь на успех. Но чем-то учительница привлекла тебя, ты охотно пела вокализы. С каким наслаждением я стал твоим аккомпаниатором! Как старался приучить тебя к сладостным итальянским ариям! В награду за выученный урок я приносил тебе любимое пирожное безе. Не знаю, хорош ли такой способ; однако занятия сближали нас. Ансамблевое музицирование для партнеров — привычка превыше кровного родства.

Но вот ты стала взрослой; приличнее было нам поселиться отдельно. Я уже опасался докучать тебе. Старая Марта иногда приходит ко мне прибираться, я же бываю у тебя не часто и не редко: выдерживаю

должные паузы. Случается, ты сама зовешь меня в неурочный день, встречаешь с приязнью, рассказываешь и расспрашиваешь,— впрочем, слушая мои ответы рассеянно: дети знают, что взрослые не ждут от них заботы или совета. А я не из тех, кто внушает тревогу.

Сюда, сюда, девочка; и как это не убраны нечистоты вблизи твоего дома!.. Я и такта не пропустил твоей музыки; угадаю наперед каждое слово твое и поступок. Уверен, что изучил тебя лучше, чем ты сама себя знаешь, это моя маленькая хитрость, которую не выдам. Сейчас, после музыки Флейтиста,— узнаешь ли ты себя, Памина? Узнаешь ли назавтра? Хорошо ли, что ты, что мы ее слушали? Говорил ли я тебе, что и мысленно не звал тебя дочерью?

У тебя высокие светлые комнаты, окна на юго-восток — не сразу нашел я старинный дом в укрытии липовой рощи. Весной здесь поют соловьи, в июле цветет липа, и нет в мире постоянства надежнее. Соседи — тишайшие старые супруги, Филемон и Бавкида, а еще — добрый седой архивариус, иной раз я захожу к нему послушать рассказы о древних хрониках Гаммельна. Снова поселиться вместе? Музицировать в угловой комнате, где стоит твой маленький рояль? И потом не уходить одному домой... Да-да, рояль задирает третью, заднюю ножку, а его заушают трубкой свернутых нот — за плохой аккомпанемент! Уж не лучше ли продолжать наш дуэт — не быстрее *Andante*, своевременно чередуя мажор и минор? Ах, девочка, я не игрок! Нравственный закон в нас, звездное небо над нами, — как волшебю уйти под это небо налегке, а вам с песенкой, с флейтой не сундуки укладывать, — но как будет странствовать сорокалетний подмастерье с роялем за спиной? Да еще справлюсь ли с ремеслом?

Что ты сказала? О нет, дитя, старая музыка — не пирожное безе, это слишком резко. Даже Дебюсси, при своей приторности... Фавну жарко, фавну лень, голова запрокинулась, он выронил свирель — а послушай, как шевелятся острые уши, как исподволь елозят по траве копытца — сами по себе, он про них знать не знает, уличай, обличай, стыди его — он только приоткроет глаза в невинном удивлении...

Козел вместо безе.

Но, конечно, германская муза питательнее, даже шубертов липовый цвет — вещественнее...

Вот ты и дома, Сабина, — прийти завтра? Приду: когда тебе хочется? Утром? Чудесно, утром. Право, ты резко судишь о старой музыке — по-детски, по-женски...

Она тронула уже колокольчик, и вдруг обернулась и сказала с веселой улыбкой:

— Мы вместе учились в школе. Его зовут Клаус.

### 3.

— Успокойся же, Бербель, поди отдохни, еще лучше — засни.

— Ах, дядя, не до сна, опомниться не могу, страшно.

— Что вы, дорогая фрейлейн Бербель! Вы были блистательны. Я давний поклонник вашего таланта, но сегодня вы превзошли себя.

— Вот именно — превзошла. Вы знаете, дядя, у меня на сцене мандража не бывает, все выучено, с партнером никаких недоразумений. А сегодня... глядите, до сих пор трясет.

— Милая флейлейн Бербель, вы лучшая пианистка Гаммельна, не устану это повторять. Какая техника, какое чувство стиля! Какое равновесие в ансамбле! Вы так мастерски уловили манеру нашего гостя, так применились к его звуку, далеко не обычному. И что еще удивительнее: вы аккомпанировали наизусть! Позвольте узнать, кстати, что это за пьесу вы играли — в самом конце? Неужели... право, боюсь выска-

зять догадку, чтобы не переполнилась мера моего восхищения,— неужели вы импровизировали аккомпанемент?

— Вот тут-то самый ужас и был. Простите, бургомистр,— нет, дядя, не хмурься, я должна еще выпить. Два часа на сцене в таком напряжении, руки сводит, любой тебе скажет, что надо мускулы расслабить...

— Нехорошо, Бербель. Что сказал бы профессор, увидав невесту пьяной. Эти кафешантанные манеры тебе не к лицу, ты уже не девочка.

— Знаешь, дядя, я твоего протезе не терплю, но сейчас, чтоб мне провалиться, не отказалась бы, и поскорее. Чтобы завтра не играть — по-семейным обстоятельствам. Вы говорите, бургомистр, «уловила манеру». Еще та манера: играть без репетиции, не договорившись с концертмейстером! Когда он начал эту... это... черт знает что такое!

— Бербель, не бранись!

— Черт знает что такое, говорю! Кошмар: он начинает, а я без нот не знаю что делать, и вдруг беру аккорд, второй, откуда что берется, куда девается, нахожу басы левой — как во сне — лечу, земля далеко-далеко внизу, помню, что могу упасть, и не падаю, по спине мурашки... Нет уж, не надо мне таких наитий! Ведь убей — не повторю, что играла. Что-то в нем не то, дядя, положил бы крестное знамение на него и на меня заодно.

Часы магистра, осанистые и важные подобно хозяину, бьют полночь. Густой колокольный звон в малую терцию.

— Вы пережили высокие минуты, дорогая Бербель. Не пугайтесь вдохновения, даже если оно мистично. Разве сама музыка не заключает в себе нечто мистическое?

— Черта с два, у меня от этой мистики с детства мозоли на пальцах.

— Бербель, ты охмелела. Иди с Богом, спокойной ночи.

— Друг мой, ваша славная Бербель приобщилась к чуду, и это потрясло ее. О волшебная флейта! Как мы робеем пред необычным!

— Вы не оробели как будто.

— О нет, и я в смятении, и к вам принес, непоколебимый друг, мое смятение. Выпьем, магистр, за волшебное смятение! Мы давно не видались, вы сказали мне недобрые слова тогда, в ратуше, но сейчас — выпьем!

— Извольте. Я с огорчением вижу, что вы мальчишескуете. Такой легкий ветерок сорвал ваши паруса, сломал ваши мечты? Вот этот дешевый шарлатан вскипятил вас до бульканья? Вы же пускаете пузыри. Ваш восторг несоразмерен с предметом.

— Магистр! Еще вчера я повторил бы ваши слова: мне ли равняться с вами крепостью убеждений, блеском красноречия. Но как отратно свидание с юностью! Не смейтесь! Разве я пьян?

— Да когда ж вы не пьяны, мой превознесенный друг.

— Пусть — во имя идеала!

— Сильно сказано. Не спорю, иной раз недурно позабавиться и этим, но вы непростительно путаете Тамино с Папагено, благородного принца с дикарем-птицеловом! Истинная музыка крепка как скала, ein fest Berg; она имеет начало и конец, направлена к цели: я назвал бы ее телеологичной в высшей степени, потому-то церковь и заключила с ней союз навеки. Музыка векторна. Вырывая мгновенье у хаоса, она придает ему форму окончательную, обжалованию не подлежащую, и движется дальше не колеблясь, не возвращаясь. Эта музыка — в родстве с Великим Устроением... И лишь у ног ее — не выше колена — мотыльково мелькают случайные мотивы, песенки... Тема тысячу раз меняет обличье, музыкант без конца возвращается вспять, разрушая уже созданную форму, не умея или не желая определить ее раз и навсегда. Эта вечная неуверенность — немощь или злая воля, побуждаю-

щая путать, сбивать с толку? Вариации только прикидываются формой: концентрические круги без развития, топтание на месте... Разве не обрываются эти пьески где попало, не помышляя об итоге?

— Но, мой друг, вариационная форма стара как мир. Классики не гнушались ею, и даже степеннейший Брамс...

— Ложное сходство! Моцарт, Бетховен, преобразая тему, строго указуют ей путь; их варианты — маска симфонизма, божественно телеологичного по своей природе. А нововенская школа? Веберн не оканчивает свои опусы сомнительным многоточием. Мы с вами провели немало часов, восхищаясь логичностью их построений, неотступным движением к выводу. Нет, не вам аплодировать развеселому хаосу, который обманом захватывает власть, дурача и мороча доверчивую толпу!

Его соображения, как всегда, глубокомысленны. Но сейчас мне не хотелось бы низводить мою радость до ужасов музыковедения; удар часов ободрил меня: «по-ра!» Час ночи.

— Признайтесь: вы суровы из самолюбия. Ах, если б вы не отвергли мои уговоры, если б мы сидели там рядом, вы тоже были бы побеждены. Поверьте: преклонение возвышает! Боже правый, как я счастлив: мои уши слышали, мои глаза видели его — *Nomo Laudens*<sup>1</sup>!

— Вот как. Боюсь, ваш экстаз сомнительного свойства — совсем как страх бедняжки Бербель. Но у нее-то животик... гм... впрочем, у вас тоже будет скоро. А вам, скажите, не случилось... дружить с мальчиками? Так или иначе, этот гаер опасен. Следовало предвидеть.

— Предвидеть чудо!

— Чудеса, сиречь мошенничества, сиречь шарлатанства, без малейшего напряжения предсказать можно. Всегда одни и те же, они незойливо похожи, эти пикантные подробности мифов, легенд и житий. Изюминки в пироге, каковые старательно выковыривает и пожирает с чавканьем *Nomo Soriens*, Человек Сопящий.

— Я, кажется, имел несчастье вас разгневать.

— Не то чтобы... но вы правы: я увлекся и заговорил с вами на языке вашего подтекста. Вернемся к крысам. Они будут изгнаны?

— Никогда не поверю, чтобы это тревожило вас. Крысы, лягушки, клопы, тараканы... Нет, не мелкую эту нечисть, вам пристало изгонять самого сатану, громадного и раскормленного. Даже я в этот миг не думаю о крысах. Я жду для Гаммельна очищения искусством, бескровного искупления!

— Трогательный обычай: именовать пугающее благостным в надежде, что имя прилипнет и обезопасит.

— Ваш ученик! Без колебаний я даю имя человеку и событию и уверенно жду, что имя явит свою магическую власть. И как знать, воспринувший Гаммельн не оценит ли наконец вас по достоинству?

— Что ж, да сбудется по слову вашему. Или: берегитесь, что сбудется по слову вашему. Не выпьете ли?

— И впрямь я пьян, а вы по доброте своей хотите отрезвить меня. Но я продолжаю быть пьян, и меня томит соблазн сквитаться с вами... за все. Вовремя явились вы в мой невинно-растерянный мир, чтобы навести порядок, громко и отчетливо, с прекрасной дикцией назвав все вещи своими именами. О, какая в этом сила, мне ли не знать, как она покоряет. Ведь имя можно дать лишь однажды, это — деяние, мне самому недоступное. О дивная эйфория бесспорности! *Mens'u regalís'y*<sup>2</sup> дозволено покемарить минутку: он устал от времени беспрепятственного выбора. Те лабухи пусть самовыражаются, окосев от вождельной свободы, но я-то другое дело, я провел столько лет в страхе и

<sup>1</sup> Человек радующийся (лат.).

<sup>2</sup> Духу царственности (лат.).

трепете, как бы не облажаться, и всегда слышал: ладно, мы тут в дым укиравши, да, нам можно, а тебе — ни фиги, поди скорей квартет напиши с такой клево-клево полифонией. У кого фантазия не хилает... Позерство, бравада, ведь знаю же я, что не так, между двумя шуточками написана «Волшебная флейта»! Но слово разит, отец мой! Насмешка убивает! Званный, но не избранный... И вот тогда-то «благо» сказали вы и сказали «зло». И я повторил за вами, ибо увидел: вон то зовется благом, а вот это злом. Вот она, ваша переливчатая мантия, роскошно расшитая, ваши туфли с загнутыми носами, ваш шелковый тюрбан, украшенный магическим рубином. Вы великий виртуоз, и приорода вашей власти та же, что у Крысолова, так зачем же вы зовете его фокусником и шарлатаном? Вы подменяете вещи названиями... о, простите. Я, должно быть, сильно пьян, как в тот час, когда вы открывали мне окончательную истину. А что если в одно прекрасное утро задохнешься в окончательности, и забарабанишь кулаками в стены окончательности, и восстанешь против окончательности, уже не заботясь об истинном и ложном, но потому только, что окончательность не расцветает вариациями?

— И человек пойдет искать страх — чтоб сердце замирало, жутко и сладостно разом, пройти по краю пропасти или встретить дракона с грозным гребнем, чешуйчатым хвостом, а то с дудочкой в руках. Впрочем, вас, милый, и дракон выплюнет. Давно, давно мне надо было выдать Бербель замуж!

— За этого вашего домашнего шута?

— Нет, домашний шут у меня другой, — ответил он ласково. — А этого держу за слух. Представьте, у него абсолютный слух на богословскую прозу, Боссюэ бы лучшего не пожелал. Проверяю на нем фразы, периоды.

— И потому Бербель будет счастлива?

— Бесспорно. Это трехчетвертной такт: место, время, слово; и пауза, когда надо, на третьей доле. Он из школьных учителей. Заметьте, он имеет форму, целиком отлившуюся из функции. Отливка совершенна: ни раковин, ни вздутый. Быть может, он не умеет хотеть, но ведь хочу за него я.

— Классик!..

— В своем жанре. А ваше пренебрежение — не лисовиноградно ли? О, вы опять...

— Во имя свободы! Самообмана! Я ведь знаю, мы окружены скрежещущими названиями и надписями и выбор дозволен лишь внутри круга. Но мы можем, можем однажды изменить вашей магии — с той, себя не стыдящейся, с вакхической любовью, с банальным чудом!

— *Fecit potentiam*<sup>1</sup>, дорогой мой. Вы вернетесь, чтобы полечиться ртутью. Не симулируйте ностальгию по юности и воде, вам же милее вечный двигатель с гарантией. Порядок и трезвость надежды, якорь держит, канаты прочны. Вакхическое же опьянение слишком быстро выветривается, и похмелье мучительно, непристойно-потешно... Эта мелодия! Нет, она не «лется» — согласно паскудной метафоре вашей музыкальной критики, она прорывается сквозь частокол синкоп, изодранная, окровавленная, взвизгивая от боли! Зеленые рукава и берет над костром волос, руки и ноги на шарнирах, грудь, спина и живот под ударами ритма, ритма, и ритм пинками воскрешает трупы!

— Магистр! Вы... вы были там?!

Никогда, никогда я, знающий этого человека много лет, изучивший рисунок кожи на его ладонях, не видел его в такой ярости. Мраморная каминная доска разлетелась от удара. Заметив мой испуг, он овладел собою и сказал негромко:

<sup>1</sup> Воздвиг силу (лат.).

— Не знаю, что вы имеете в виду. Ваши обязанности призывают вас, бургомистр. Вы сильны в планировании, но конец может подшутить над началом.

Это намек — на что? Я пил прилежно и другом был поощряем, но из последних сил пытаюсь уразуметь: наше с ней начало десять лет назад не приведет ли ее и меня к какому-то концу — ах, хмельное косноязычие даже в мыслях! — а мне бы надо меж началом и концом поискать дорогу?

Часы гулко окликают: «Бе-ги! Спа-сай!»

Меня тревожит нечто неназванное; нечто известное всем, но не мне; должно быть, что-то, на чем стоит мир. Но минует остаток ночи, и я приобшусь ко вселенской чаше: как ни отворачиваюсь, край ее надвигается на меня.

Кажется, он сильно ушиб руку: когда я уходил, он все еще поглаживал левой ладонью правый кулак, не разжимая его.

#### 4.

Стой тут один и не говори: «Невозможно! Невероятно!»: не до того, когда нужно успеть так много. И прежде всего узнать, каково оно на вкус, цвет и запах, это невероятно. И далее: значит, я неотличим от других, если ограничиваю пределы возможного своим воображением?

Мне также надлежит понять: зачем я здесь, под ее балконом? Или иначе: зачем я здесь, а он там, когда натуральнее было бы наоборот: я там, а он здесь — чтобы играть, как подобает при любовном свидании, сопроводительную серенаду на дудочке? Или еще иначе: если он там, то зачем я здесь?

Я видел, как он вошел, а он меня не заметил: старая липа возле твоего дома послужила мне укрытием. Утром ты дала мне письмо: я должен отнести, подождать, пока он прочтет и напишет ответ. Потом — принести ответ. В письме нет ничего запретного для чужого глаза: не придет ли давний школьный приятель в гости — в любой вечер, когда захочет прийти.

Девочка, я никогда не видел тебя раздетой. Придется вообразить, а статуи и картины не помогут: ты и вполнину так не изобильна. Я привел его и остался подождать, как Лепорелло, как шофер у подъезда (только я не засну, радуясь передышке); а потом, наверное, провожу его. Поэтому, видишь ли, я уже не лишний в том, что происходит наверху, и должен хотя бы мысленно увидеть вас обоих.

Да, я почти что привел его. Прочтя твою записку, он рассмеялся удивленно: «Вот неожиданность! Неужели та девчушка, светлые локончики? Приду, сегодня же, после концерта! А эта улица — где же?» — и я рассказал дорогу и даже нарисовал для верности твой дом, мост, фонарь и липовую рощу. И подумал, что за стволом липы хорошо укрыться.

Надеюсь, меня не осудят слишком строго за то, что не предупредил его об уличной грязи, столь неприятной ночью. Тем более, что я тут же устыдился, отомстив так мелко. Но что говорить об этом, если я сделал промах безмерно больший! Я не объяснил ему, что ты еще дитя, что первый раз ошеломителен даже для мужчины... Боюсь, он поторопится. Боюсь, он не будет достаточно осторожен и бережен с тобой. Он будет слишком скор, с его ногами бегуна-рекордсмена, — мимо, мимо, только бы разорвать ленточку! Я — нет. Пусть руки пройдут долгий, долгий путь — выше-выше и ниже-ниже, пусть обучатся на подъемах и спусках, умнея с каждым поворотом. Откровение нисходит на меня: например, в аптекаре я обрел бы единомышленника. Вот

кто, неистово вождедая, сумел бы выжидать, бесконечно оттягивать. Судья — тот вычертил бы график. А насмешник? Но нет, насмешники не умеют любить, и в этом — мщение. Так. Я отдаю тебя на пробу змеям, быкам и драконам — всем, кроме себя. Этих уроков ты у меня брать не будешь. Правда, я не искусник, не виртуоз, но знаю нечто. Вот детская книжка с картинками: черные контуры на белой бумаге, а ты раскрась сам. И, пожалуй, прибавь, что вздумается, на что и намека не было: из оранжевой трубы пусти струю синего дыма, нарисуй в желтом кругу зеленые цифры и стрелки: почему бы солнцу не быть часами! Дерево, выросшее на пустом месте, голая земля, ставшая садом возделанным, где прогуливаешься, рифмуя «тьень-сень». Стереги, обихаживай виноградник — соберешь урожай. Разрисованная смерть — коса, белое одеяние, конь, факельщики, оркестр... Суп из топора, из колбасной палочки. Ведь она — ничто, только краткое и грубое мгновение — как то, другое... Не мысль, не ощущение. Нет того, что я хочу назвать. Но я произношу слово, и оно воплощается — не иначе, однако, как после долгих, рачительных, искусных приготовлений.

Ты не веришь? Мне только теперь приходит в голову, что ты могла ведь и не принимать меня всерьез, молча выслушивая наставления. Но моя ли вина, если это действительно так? Смотри, я ничего не выдумываю: Зигфрид кует меч, идет в пламя ради одного поцелуя. Моцарт — кто более достоин веры и любви? И он похищает Памину у матери, чтоб она не досталась первому встречному, а избранник Таминно должен пройти огонь и воду и все дьявольски изогнутые медные трубы в хоральной фуге второго акта. И это еще не так много: ему не надо сверхчеловечески напрягать силы в поисках идеала! Возлюбленный идеал стоит рядом, безмолвно обратив к нему лицо, пока претендент совершает необходимые упражнения. Всегда, непременно *durch Leiden Freude*<sup>1</sup> или длительный охмурез, как говорилось на богохульном языке моей юности. Повторяю, тут традиция, а не мое мазохистское измышление.

— Не мне говорить о музыке, когда музыкант — он? Но ведь и я был, был... Нет, с ним ты ничего не узнаешь. Слепая, слепая, лежи — навзничь!

Ты сама открыла мне утром; ты стояла в рамке двери, чуть наклонясь вперед, глаза сужены — так вглядываются близорукие; но это я, кого ты ждала, — так вверх, брови, кликнув за собою веки, и вот серые глаза раскрыты, ты узнаешь меня, и удивляешься, и радуешься, что это я, кого ты ждала, и пока еще никого, кроме меня, которого ты ждала. Улыбка; ты наклоняешь голову, тонкая рука привычно поднимается к черному узлу волос на затылке. Да, он радовался, но он не узнал, не вспомнил тебя. Я упоминаю об этом не со зла: думаю, и ты не рассердилась бы, мало ли в школе было девчушек, белокурых и черных, и столько лет прошло. Волосы у тебя прямые, блестящие; если будешь тонуть, легко схватить, намотать на руку. И вытащить тебя из воды нетрудно будет, костлявенькая, без округлостей. Как-то он прижмет твои косточки, и шейку обхватит первым и третьим пальцами... а я распустил бы твой узел, рассыпал бы твои волосы, — помнишь, Марта заставляла тебя убирать их со лба: ишь, воронье гнездо, застреха! Шестнадцати лет ты подрисовывала себе глаза; я решил «не заметить», а ты встретила меня с волнением: что скажу?.. Его преподабие Шонгауэр, придя на урок, нахмурился за то, что дочери племени сего ходят размалеванные — и к тому же разбрасывают в беспорядке книги и тетрадки... И через день ты вышла к нему, вскинув голову и крепко сжав губы — густо, неумело намазанные. Добрый пастырь сми-

<sup>1</sup> Радость через страдание (нем.).

рился. «У нее нет матери, — сказал он мне, вздыхая, — надо быть снисходительным. О, это дитя уже хочет нравиться!» Я понимал твое строптивное кокетство, но сердце замерло: если бы ты захотела нравиться мне!..

Ты объяснила, что не могла послать с запиской Марту: в отеле «Империя» — строжайший контроль, приняты чрезвычайные меры безопасности, возможно, не лишние, ибо все опасно, всюду может стать опасно; и надо же оградить маэстро от толпы восторженных поклонников. А бургомистр пройдет беспрепятственно. Ты не послала Марту, но не потаилась от нее, и когда я спускался с лестницы с запиской в нагрудном кармане — уголок наружу, как краешек платка. — Марта догнала меня и яростно зашипела, воскрешая свой прежний рискованный лексикон: «Дождался! Обглодали до кочерыжки! Да с твоей-то...»

Да, я жил долго, я вытянулся высоко, меня качает как камыш, и голова моя кружится, когда взглядываю вниз, где из земли начинается стебель: на всю печальную длину моих сорока лет.

Когда ты прощалась со мной, я видел, что теперь ты начинаешь ждать по-настоящему: даже если уйдешь от двери и сядешь в кресло с книгой, уши твои останутся в прихожей висеть на двух гвоздиках, настороженные. Как эти уши слушали его вчера, как вся ты боялась шелохнуться, чтобы не потерять нить мелодии. С тех пор она проросла в твоём теле, пустила корни, живот и грудь стали стволом, а ветви — руками, и листья шумят в твоих волосах. Что ж, даже ручей, говорят, выходит из берегов при звуках флейты...

Однажды я поднял тебя с постели заспанную: ты не суежилась, засовывая в углы белье, не смущалась, что не умыта, не причесана. Ты была свежа и душиста. Не лучшее ли это в тебе — твоя юность? Ибо ты неумна, девочка, вкусы твои сомнительны; быть может, ты даже не так красива. Да, наверное: будь ты красавицей, я не посягал бы на тебя.

И он занял мое место! Ах, почему нет у тебя аристократического брата наподобие фон Тедеско, чтобы рыцарственно защитить твою честь! Жалкая пикколка, тра-ля-ля, грошовый Дон Жуан, не обученный терпению, терпению — не ослиной добродетели, но терпению виноградаря, садовника. Он ворвался в мой сад, готовый, быть может, расцвести для меня, он ввалился в мой дворец, ступил небрежно ногой на яшмовый пол, его берет отразился в венецианских зеркалах! А там, в отдаленном покое, я приготовил трон для моей сущности, и вот он поворачивает медную дверную ручку, начищенную до блеска моим воображением! Он занял мое место на пиру, и ты, хозяйка пира, царица бала, признала его за хозяина. А ведь ты была моим возвращением домой, моей наградой. Люблю тебя: восторгаются глаза, ликует ноздри, уши блаженствуют от вздора, произносимого твоим голосом; язык во рту акробатствует в словах, к тебе обращенных, пальцы касаются... пока всего лишь клавиш твоего рояля, но и это уже огромное счастье, коим страшно рискнуть. Риск, риск, последняя проверка, когда суть воспринимается сутью без опосредования. Признан или отвергнут; и если признан, то оправдан. Подтверждена моя тщательно, прилежно разработанная, собственноручно раскрашенная любовь, а с нею мое вчера и сегодня, и спасено от сомнений мое завтра. В тебе мое прибежище и на тебя уповаю, — но с ужасом: обнаружусь только ложь при этом последнем испытании, ложь, разгаданная твоим неглущим... Девочка, девочка, я не игрок!

Уж не услугу ли оказал мне этот мимоидущий свистун: я утешусь хотя бы тем, что свергнут, изгнан насильственно, что я мученик, жертва, но не осмеянный мыльный пузырь.

А чувство юмора — есть ли у него? Вряд ли: он ведь гений. Тебе будет плохо, девочка, когда он очнется...

Он вторгся в обиталище моей сути, он занял мое место под солнцем и луной — там, на твоей постели, где смешиваются сейчас рыжие и черные волосы, неразличимые в темноте, а по стене бродят тени ветвей и листьев. Где теперь на земле мое место?

Перед твоим домом речка опять узка; мост крут, выгнут, как спина рассерженной кошки. Таков он не из строительной необходимости, а, думаю, из нервной на тот случай фантазии архитектора. Был он чуть хмелен или раззадорен, карандаш в руке рванулся вверх — но то была рука с давней выучкой, обратившейся в инстинкт, рука со своим непреодолимим, крепче головного умом, и линия вышла дразняще, изысканно прекрасной. От хребта кошки летят искры и с шипением гаснут в воде. Мост начинается почти у самого твоего крыльца.

Его тень возникла рядом — протянуть руку, и голова тени под моей рукой, значит, он уже между фонарем и мостом. Этот берет не перепутаешь, таких не носят в Гаммельне, весь Гаммельн знает этот берет, а он не боится, не скрывается, боюсь и прячусь я, бургомистр. Фонарь не ярок, никого нет, никто не увидел, как тень моей руки с тенью ножа врезалась в тень берета, никто не услышал удара и падения тела; слышать нечего, все совершилось изумительно беззвучно, я сам изумлен удачей. Я не стал смотреть ему в лицо, зная, что он и теперь моложе, сильнее, совершенней меня, что все зубы у него целы; я поднял берет и шагнул к фонарю. Три широких клина, посредине кисточка. А там он снимал его? Я туго завернул нож в берет и сунул в карман. Маленькая дудочка в твердом кожаном футляре, ремень через его плечо — а теперь через мое: я не стал отстегивать, просто взял все вместе. В руках и ногах у меня все еще было больше силы, чем я ждал от себя; я втащил его на вершину моста, к большому изгибу чугунного узора, и снова получилось легко и бесшумно: мягкий, приятный всплеск. Тут на меня напал смех: «... и на мостике горбатым повстречался с белым братом. Говорит барашек: м-ме! Ты, баран, в своем уме? Пусть мои отсохнут ноги — не сойду с своей дороги!» Да-да, в детстве я декламировал эти стихи, стоя у этого изгиба, и мама довольно смотрела на меня. Я родился и вырос в Гаммельне, а уезжал только однажды — на три дня в Бремен, там и встретился с Мартой... Изю всех сил сдерживая смех, как кашель на концерте, я покраснел от натуги, на глазах выступили слезы. Как же это он так быстро ушел под воду? Ведь берет у меня в кармане! И нож с тяжелой рукояткой. Нож не будет уликой: не из столового прибора с монограммой; до отпечатков же пальцев гаммельнская сыскная техника не созрела еще.

Ну, раз его нет, то, возможно, не было и того, что было наверху, за дверь балкона. У нас с тобой ничего не переменялось. Я по-прежнему буду приходить когда позовешь, так продлится до скончания века, и благо. И липа зацветет в июле. Что ж с того, что его звали Клаус и ты одна это знала. Крысы тоже останутся; но это же классический конфликт любви и долга в литературе, преимущественно драматический. В искусстве — значит в реальности, утверждает мой друг магистр, а когда же он не прав? В моем случае победила любовь — что ж, появится прецедент. Как это он, однако, решился на любовные подвиги накануне своего магического сеанса, который потребует упругой диафрагмы, громадного расхода дыхания. Певцам рекомендуется воздержание в ночь перед спектаклем, у музыкантов-духовиков разве не то же?

Ах, я поторопился. Не расспросил его как и что, насколько верен оказался мой волшебный фонарь, в котором я созерцал их сцену. Такие, как он, не джентльмены, они выбалтывают. Теперь выбалтывай лягушкам, проповедуй рыбам! Рассвет: заря скалится в воде. Но я до

сих пор не подумал: она провожает его, наверно, вышла на балкон посмотреть, как он снимет берет и помашет ей на прощанье? Я поднял голову: балкон пуст. Устала Коломбина, спит, утомил резвый Арлекин.

Я не сказал еще, что все время пытался и не мог вспомнить, как же называется то, что я сделал. Должно быть, из-за новизны состояния; что делать, есть время называть и время умалчивать. Пока я стоял, подняв лицо к балкону, совсем рассвело. Кто-то толкнул меня в плечо, я упал бы, не окажись за спиной фонарь; обернувшись, я увидел на вершине моста легкую длинноногую фигуру, увенчанную беретом. И кисточка...

...но тут уж я, автор и как-никак хозяин этого повествования, не могу не вмешаться. Если позволить этому бестолковому администратору, этому шуту-эксгибиционисту продолжать, — это может повредить моей, автора, репутации: помешать успеху моего скромного начинания. Придется напасть на него сзади (не до церемоний), зажать рот, сбить с ног и оттащить в сторонку... Впрочем, еще не известно, как предпочтительнее поступать в подобных случаях: пресекать ли раздражающий звук в его источнике, защищать ли раздраженные уши. Если из соседнего окна вас оглушает музыка, не всегда удается урезонить производителя шума. Как известно, изобретение артиллерии повлекло за собою не протесты против ядер, но защиту посредством брони... Человечек этот шагу не ступит, словечка не скажет без того, чтобы раскрасить черный на белом контур, навяжет сотню ленточек на упаковку, сто бантиков один другого затейливее. Вот, например, хвалился, что дал своей воспитаннице образование. Да это потеха: ежу ясно, что для завершения этого самого образования следовало отправить девушку в путешествие. Старинная, испытанная традиция! Повидав мир — хотя бы Европу, не говоря уже о Новом Свете или африканском материке, — она обогатилась бы впечатлениями: первоклассные оркестры, солисты-лауреаты... Она обрела бы иммунитет в живом отклике зала: вот это стоит одобрения, а то — нет; тогда бедняжка не потеряла бы самообладания и благоразумия от игры первого заезжего гастролера. И не говорите мне о радиолах, дисках, магнитофонах, даже о телевидении. Паллиатив, консервы. Непосредственное впечатление сбивает с ног без церемоний — а тут, как известно, не умолкают развязные комментаторы, стало быть — критика, сомнение... Нет, капустные кочки такие людишки, и хорошо еще, коли кочки — с кочерыжками, а не луковицы. Пора вернуться к фактам. Придется уже автору самому продолжить рассказ — хотя бы пока наш самозванный бургомистр не очнется от очередного запоя, ведь он, конечно, не преминет утешиться бутылкою или целой батареей таких.

## 5.

Исход совершился в назначенное утро, без особых происшествий. Правда, поутру транспорт вдруг оказался перегружен: обитатели окраин устремились, по вековому инстинкту, в центр; но опомнились по дороге две-три умные головы, сообразили, что случай совсем особенный, что начнут как раз с них, всегда обойденных и обиженных. Поспешили назад. Путаница задержала сеанс на целых три часа: толпа преградила бы дорогу крысам. Говорят, маэстро был недоволен, бранил магистрат. Конечно, следовало бы объявить о ходе операции заранее, возможно, даже выпустить срочно большим тиражом карту с маршрутом и указанием времени; но никто не догадался. Еще проще было запретить гаммельнцам покидать дома до полудня, т. е. объявить комендантский час, — но на такую крайнюю меру магистрат не решился бы.

Открытый автомобиль плыл по городу медленными сужающимися кругами, высокая фигура Крысолова казалось мачтой на носу корабля. Вдоль пути шпалерами выстраивались гаммельнцы; приветственные клики были запрещены, чтобы не заглушить флейту и не спугнуть заклинаемых. По той же причине удалили громоздкую телевизионную аппаратуру. Впрочем, гаммельнцы отвергли бы нынче услуги телевидения: они хотели видеть все собственными глазами. Все окна были раскрыты, все балконы переполнены, все, кто мог, вышли на улицу... Люди двигались за машиной сперва вплотную, потом начали отставать, испуганно глядя под ноги. Приближаясь к реке, толпа росла; впереди старик с седым хохолком запрокинул голову, простирая руки к артисту; озирался ошеломленно толстяк в пижаме, исторгнутый прямо из тепла постели; мелькнула голая напрягающаяся рука женщины: она тащила малыша вон из толпы, а он садился на корточки, упирался сосредоточенно и отчаянно. Мать выволокла, наконец, упряма на тротуар и кулаком пригрозила Крысолову. Ни она, ни мальчик не разжимали губ. Вообще детей, молодежи было много, хотя занятия не отменили. Шла компания студентов в зеленых беретках; шли девочки с зелеными бантами в волосах. Но даже мальчишки не шумели, ступали осторожно, как охотник в лесу, — сучок бы не треснул под ногой. И медленно близилось к реке шествие, подобное погребальному кортежу, за спиной Крысолова, за тонкой странной мелодией: две-три ноты кружили в монотонном ритме. Но все слышнее призыв-шуршание сотен тысяч лап; все шире пространство между автомобилем и толпой.

Не прерывая игры, музыкант шагнул на гранит набережной, беззвучно закрылась дверь машины. Достигшее зенита солнце венчает голову, он стоит на вершине лестницы — тонкая черта на синеве неба, и вот постепенно исчезает, тонет. Вот скрылась голова его, а флейта продолжала томительно однообразную песню. А когда она оборвалась — низверглась вниз по ступеням огромная толпа и долго зажимаемые глотки облегчились восторженным воплем.

## 6.

— Милостивые государи! С удовлетворением отмечаю, что в нашем экономическом положении произошел, наконец, долгожданный сдвиг. Едва лишь «Times»<sup>1</sup> сообщила о гастролях у нас Крысолова, гаммельнская марка пошла вверх; теперь, утопив крыс, мы доказали нашу волю к переменам и внушаем миру доверие. Американцы обещали нам новый заем — они зовут его «свист-кредит», мы можем импортировать муку, ведь все наши запасы изгажены крысами. Далее: молоко, сливки, сметана упали в цене, так как гаммельнцы не откармливают больше котов. Кстати, откуда у нас появилось столько бродячих кошек?.. Позволю себе выразить осторожный оптимизм относительно нашего будущего... Остается мелкое недоразумение, и с ним пора покончить. Мингер ван Пельц, изысканы ли средства для расплаты с Флейтистом?

— Не прибавилось за неделю. Если б уговорить его — помянув царя Давида и всю кротость его...

— Дорогой мингер, нельзя ли попросить денег у наших европейских соседей?

— Разрешите, финансовый советник, ответить за вас. Бургомистр, европейские кредиты исчерпаны. Я посетил Даунинг-стрит, говорил о предстоящей тотальной реконструкции Гаммельна, вообще постарался создать благоприятное впечатление. Кредиты были получены, так ска-

<sup>1</sup> «Таймс» (англ.) — крупнейшая английская ежедневная газета (издается с 1788 года).

зять, под это впечатление... кстати, председатель, в отличие от Америки Англия говорит о «крысином займе»... Бургомистр, европейская пресса удивлена и встревожена, что Гаммельн так надолго задержал Крысолова. Я с трудом отделался сейчас от корреспондентов, сказав, что наш дорогой спаситель нездоров слегка...

— Он и в самом деле болен, — сказал доктор. — Это весь город знает. Долго в реке пробыл, а вода майская, холодная.

— Да, с полчаса не пускали, дурачье, орали и расступиться не догадались.

— А помните: по пояс в воде, берет снял и давай раскланиваться.

— И дудочку вверх поднял. И стоит.

— До ревматизма мог достояться.

— Что ревматизм, тут пневмонию зарабатываешь. Вон как пот-то беретом утирал. Свистун свистуном, а хлеб у парнишки нелегкий.

— Замечу, однако, — прошипел аптекарь, — что все это подозрительно. Лица подобной профессии не должны бы чихать и кашлять, едва промочив ноги. А чахоточные — подлежат изоляции!

— Побойтесь Бога, коллега. Я освидетельствовал его и заявляю: сильнейшая простуда, нос распух, даже в горле налеты...

— Эге. То-то сноха толковала, что у парня сифилис.

— И этакому субъекту город должен платить бешеные деньги! Кстати: если не ошибаюсь, контракт выглядел скромнее?

— Да, — сказал я. — Концерты оплачивает город. Мне казалось справедливым и добродетельным не оставлять за порогом молодежь и малоимущих граждан Гаммельна. Нельзя омрачать неравенством столь высокое, столь редкостное музыкальное наслаждение!

— Мать честная! Вот куда налоги-то наши идут! Просвистели в задницу, а мне бы той дудки даром не надо!

Профессор переглянулся с судьей.

— Итак, бургомистр заставил город принести жертву своей всем известной меломании. Между тем, есть ли на свете что негоднее, презреннее и достойнее порицания, нежели свистуны, певцы и прочие *pisicci*<sup>1</sup>, каковые, однако, словно бы отравленные сладостью, точно сирены с их непутевым пением, притворными позитурами и игрой ищут обворожить и пленить души людские! И доказательство тому: в городе беспокойно. Школьники в зеленых беретах собираются толпами, поют непристойные песни, играют на каких-то неслыханно громких гитарах. Прислуга ведет себя вызывающе: целуется с полицейскими прямо на улицах, а будучи призвана к порядку, демонстративно поворачивается спиной. Вчера бригада мусорщиков, остановив посреди тротуара машины с отбросами, окружила цветочниц и учинила с ними пляску — телодвижения, как сообщают, были достаточно недвусмысленные. Студенты, забыв о летней сессии, третий день осаждают отель «Империя», персонал коего, как и следовало ожидать, превзошел все меры nepотребства, и горничные беспрепятственно позволяют хватать себя за юбки, — студенты, говорю я, хором вызывают этого бродягу. Я мог бы и далее перечислять возмутительные факты, господа, но уж и того довольно, что полиция вышла из повиновения! А что и совершил сей дешевый шарлатан? Утопил крыс? Но что такое крысы, когда город нуждается в чистоте, жаждет чистоты улиц, домов и нравов? На эти деньги мы могли бы проложить водопровод и, прошу прощения, канализацию... Вы совершенно правы, экселенц: стыдно перед Европой!

— Лейпцигский магистрат, — сказал я с волнением, — покрыл себя вечным позором, торгуясь с великим Бахом. Да не последуем мы такому примеру! Разве не помните вы «Кольцо Нибелунгов»: Валгалла погибла, когда не пожелали заплатить ее строителям. К тому же... —

<sup>1</sup> Музыканты (лат.).

я хотел показать контракт, объяснить ошибку: общий гонорар Крыслову не составляет и десятой доли водопроводных денег, которые я просил так давно и так тщетно. Однако мне мешал хвост, лежавший на протоколах. И осторожно потянул грудку папок к себе, — хвост сердито, громко ударил по бумаге; я посмотрел на мингера ван Пельца. Он спокойно отодвинул хвост, вытащил контракт и улыбнулся мне. Я начал говорить: изобретатель перебил меня:

— Что вы тут доказываете, почтеннейший, все равно денег нет, ни больших, ни малых. Эх вы, экселенцы, аксельбанты! Аксельроды! Вон те сидели, уши развесив да рты пошире разинув, тоже небось Баха слушали и не углядели, чего им ваш Бах нацепил. Это какая же шлюпка вместо паруса под таким деревом, ровно метлой, пойдет!

— Но это аллегория. . . Тут у Босха. . .

— А вы меня не поправляйте, не объегорили! Я технарь, свое дело знаю и делаю, пока вы тут кальсоны белуге. . .

Аптекарь рванул у меня из рук бумагу, разодрал ее когтями.

— Крыс изгоняли! Музицировали! С жучками, паучками, инфузориями!

Магистр спокойно и грузно положил руки на стол, огляделся. Потом поднес к глазам часы и кивнул судье. Тот извлек из внутренне-го кармана лист бумаги и передал профессору. Профессор встал.

— Господа, минуту внимания! Ввиду серьезной угрозы благоденствию и спокойствию Гаммельню наш всеми почитаемый председатель своею властью верховного судьи предписал вчера заезжему скомороху покинуть город в двадцать четыре часа!

— Давно пора! В задницу!

Этого я не мог перенести! Стрдание, гнев, отчаяние переполнили мое сердце, и я воскликнул прерывающимся голосом:

— Да не подвергнется артист оскорблению! Он благороден, он бескорыстен, он примет наше извинение и долговое обязательство!

Мой друг наклонился над столом и произнес негромко:

— Вы надеетесь, что дракон насытился невинною жертвой?

И тут нас оглушило ревом и грохотом.

Все бросились к окнам.

На площади перед ратушей бушевала молодежь. Орала юноши, вопили девушки, мальчишки пронзительно свистели. Ухо различило ритм, потом слова:

— Он уй-дет — мы уй-дем! Он уй-дет — мы уй-дем!

Из толпы вышел высокий парень в зеленом берете, вскинул руку и крикнул:

— Долой обманщиков!

Другие подхватили:

— Долой вашу грязь!

— Долой вашу музыку!

— Долой ваш университет!

— Долой ваши благодеяния!

— К чертям вашу любовь!

— Вашу скуку!

Словно ветром и волною подхватило меня. Там мое место, с ними, я сжимаю их руки. . . Отвага ударила мне в голову. . .

— Вот вам музыка. Накликали!

— Ну нет, прошу прощения! Слова мои были, а музыку вместе сочинили, вместе и отвечать будем!

Изобретатель свистнул сквозь зубы:

— Н-да. . . Это уж почище ругани часовщика Гейнца. . .

— Вот бы и отпустить его, — отвечал я насмешливо.

Аптекарь отбежал от окна — он стоял далеко, но это его когти вонзились мне в щеку. Закапало на шею; опьяневшие от крови нава-

лились на меня, издавая ужасающее зловоние. Задыхаясь, я хватал скользкие уши, отталкивал чешуйчатые лапы, обдирая руки, словно о кровельную черепицу; крыло с когтями дважды ударило меня по лицу. Под руку попался гибкий мускулистый хвост — а-а, так чудо банально, проклятый?! — я радостно рванул его. Изобретатель, успел я заметить, медлил: большие собаки добродушны. Я протянул было освободившуюся руку погладить крутые завитки шерсти на спине его, но тут на вершине кучи мелькнули кошачьи усы Тедеско, и инстинкт сработал: изобретатель с веселым лаем прыгнул на него.

Мингер ван Пельц, опершись о подоконник, задумчиво поглаживал бороду.

## 7.

Я был один. Страх и стыд, мои домочадцы, отступили: стоило топнуть ногой, и они попятились, будто испуганные кошки. Я был в незнакомой стране, не убеждал себя, что достаточно нескольких усилий и все забытое вспомнится: еще минута — и словно не было никогда моего бургомистрства, автомобиля «пьяный аист», отглаженных брюк и жилета, встречи с магистром. Вспомню — узнаю: окружающее выстроится... но нет, не надо строя, лучше карнавальная толчея, лучше митраж, лучше суеверие, нежели системоверие: в нем нет любви.

Я любил?! Как любят порок — стыдись, таясь, сомневаясь...

Я ненавижу его — да, могу ненавидеть, стало быть вспоминаю забытое? — ненавижу, потому что, разогнув мое скрюченное тело, он разбил единственное зеркало, в котором отразился бы мой новый облик. Я ревновал?! Превентивная ревность до права на ревность? Кого бы позвать, чтобы вместе со мной посмеялся над моей любовью, над моей ревностью.

... Что нужно от меня этому человеку?

— Нарушу, нарушу ваше уединение, друг мой! Нет, не вставайте... даже для того, чтоб указать мне на дверь. Уж не пьяны ли вы?

— Во имя логики. Ежели на трезвого и благонамеренного, каков был я утром, ополчаются ближние его, то как не понадеяться, что хмельной окажется удачливее?

— Вот именно. Вы были удачливы.

— Магистр, о чем еще говорить нам? Скажите, зачем вы пришли?

— Быть может, поговорить о вашей удаче.

— Не вовремя. Разве не вы так блистательно произвели сегодня изгнание дьявола? Ведь вашу волю исполняли эти люди, сами по себе не способные ни на добро, ни на зло.

— А не выпить ли нам на брудершафт?

— Оставьте меня!

— О нет, милейший. Мне случалось входить сюда по-хозяйски, когда ваш царственный разум отсутствовал: я клал вас, подобного бесчувственному бревну, на эту постель... Кстати, позвольте-ка... Гм, неплохо, мягко. Молчите? А как хорошо говорили в ратуше, бургомистр! Так почему вы превратились в бургомистра?

— Случайно. Валяйся власть на земле, я не нагнулся бы поднять ее.

— А нагнитесь-ка сюда — с бутылкой. — Его огромное тело еле умещается на моей кровати. — Я буду пить из горлышка: так, кажется, было принято в вашей юности? Благодарю. Поистине, бургомистрство идет вам как корове седло.

— Я занял ваше место?

— Удача пьяному и дураку. И трусу. Власть? Вы изволили говорить о власти? Быть может, об опьянении властью? Это вы-то, который

вспотел дрожавши? Вы томились по крыше над головой и покою в блаженном Вифлееме, а добрые гаммельнцы, обоняя вас, чуяли родной запах. Родство, тождество возносило вас потихоньку, но вы продолжали бояться: ненадежно зависеть, ненадежно соглашаться, опасно, угадывая, не угадать... так еще, еще... Какое несравненное чувство юмора у сестры моей логики!

— Пусть так. Но не вы ли поощряли меня? Учили чтить Устроение как Бога?

— Вы оказались никудышным учеником. Не понимая слов, вы подражали жестам. Из священного слова вы сделали возвратный глагол, из божества — зонтик. Нечего паяльничать, у вас глаза кота и сводника. Тогда как я...

— Тогда как вы...

— Я хотел обратить Бедлам в Вифлеем. Всего только это маленькое европейское и космополитическое захолустье: не более, чтобы не быть наказанным за гордыню. Не мне, не мне... Так чего и мог я ждать от людей, кроме вежливого равнодушия? Глуп я был, но вот мое утешение: вы устроились в Вифлееме, а он оказался Бедламом. Что это у вас? Смотрите-ка, нотные манускрипты. А бутылка — возбуждающее и укрепляющее? Вы больше не боитесь осечки ни с женщиной, ни с музкой? Вы отважно блеете, выставив рога?

— Довольно! Признание под пыткой не имеет силы! Долго будешь ты терзать меня, дьявол?

— Вот и выпили на брудершафт. Послушай, я тоже признаюсь, как ни мерзко: мы схожи. В себе я нащупываю тебя.

— А могли бы мы — ты, я — быть им?

— А уж это, мой милый, спроси у нее.

— Скажи, как ты узнал?

— Зачем тебе? Жертва неугодна: она не ушла со всеми. Ты остался при своем, благослови свою удачу. Гаммельну конец. Крысы уже сбегали...

— Магистр... но ведь он был, был?

— Подкормите ваше дистрофическое воображение. Он был там, где вы меньше всего хотели его видеть, и оставил памятку, быть может. Общитесь постель своей возлюбленной, вы, ничтожество: в час гибели мира вы не находите иного дела!

— Магистр, не смейся. Пусть я обманулся, но, клянусь, был час, когда я был свободен от твоей власти!

— А видели вы, экстагический козел, как они шли за ним? Склеившись, слипшись, позабыв отвращение к чужому телу, не гневаясь за отдаленные ноги, толчки под ребро, не воротя нос от соседа, который позавтракал чесноком? Лучше, чем в церкви, почти как на стадионе. Они утонули бы в том же умильном соединении, не умолкли флейта! Никогда не пойдут они так за вами... ни за мной...

— Продолжай же говорить мне «ты», магистр!

— ... и будто я этого не знал! Но видеть, слышать оказалось несносно. Откройте хотя бы окно! Когда вы последний раз меняли простыни? И кто вам стирает рубашки? Вам жениться надо, почтенный глава магистрата. Надо жить вместе, все обречены жить вместе... Фу, черт, в сон клонит это ваше пойло... а для того приходится жертвовать кое-какими удобствами. Например, больной кишечник требует немедленного облегчения, а посреди улицы нельзя, еще Моисей запретил: не оскорбляй Бога. Великолепная мысль: вознести гигиенический акт до молитвы! Только так, мой мальчик, и можно сотворить нечто классическое. Превыше доводов разума, божественная, твой зад да прославит Господа! Облегчайтесь в храме! Мальчишка, которому я не доверил бы чистить нужник, — в роли божества. Поучая свое стадо, Мои-

сей блевал от омерзения, вам не кажется? Впрочем, блевать посреди улицы не так предосудительно . . .

— И ты смел говорить о музыке! Твоя ревность грязнее моей. Изливай свою желчь в другом месте, прочь из моего дома!

Он спит — головою в луже пролитого вина. Дождь бьет меня по лицу, а под окном стоит Марта, зовет, машет руками и ловит взлетающую накидку.

## 8.

— Что вы на меня так смотрите? Пришли утешить, простить, взять в жены и увезти далеко-далеко, где меня не будут мучить воспоминания? Может, безе принесли?

— Молчи, бесстыжая! Ох, совсем с ума свел негодяй девчонку!

— Он лучше всех! Уйди, Марта! Он всегда будет лучше всех, его любила учительница пения: забудет нарочно ключ от рояля и просит Клауса дать тон хору. Мы в зале, а они вдвоем на сцене: наверно, ей нравилось стоять там рядом с ним. А после урока гладила его по голове, и все смеялись: она, совсем седая, вставала на цыпочки. Я была не больше вон того стула, и я сама начала. Еще тогда, слышите? Заговорить бы с ним — так, чтоб никто не видел, — но его вся школа знала: рыжий Клаус! Длинный Клаус! Клаус — громила и Клаус — виселица, потому что он разбил окно в учительской, и директор сказал: «Громила, по тебе виселица плачет». Его одного никогда не застанешь . . . Вот только если на урок опоздает: они с матерью через дорогу жили, он домой бегал поесть. Я после звонка в класс не пошла, а побежала наверх, где старшие занимаются. К стенке прижалась, все несутся мимо, дверь захлопнулась, а внизу уж учитель топает — что если увидит? И тут, слышу, Клаус мчится по лестнице через три ступени . . . Нет, он бы мимо не пролетел, я встала на середине площадки. Ближе, ближе, вот сейчас головой в живот заедет! — я руки вытянула, схватила его за волосы, дернула изо всех сил, зажмурилась, стою, вцепившись, — ему, наверно, больно, а мне хорошо, что ему больно, и пусть дверь открывается, пусть внизу видят . . .

Никто не знает, я даже маме не рассказала.

Он забыл! И даже не притворился, что помнит. Я ждала его и знала, наизусть выучила, что скажу: «Здравствуй, Клаус, это я тебя таскала за волосы!» — «Ах ты злючка, и сейчас хочешь? Ладно, не назад же по грязи топать, тяни!» — берет сдернул и наклонился. А я шагу не могу сделать: на полу цветы, он всю охапку бросил, сирень, розы . . . Это совсем не то, я знаю, его и накануне цветами на концерте засыпали, но он же мне принес, значит, можно мне пока думать, что это мое, правда? «А ты на урок опоздал — попало тебе?» Он свистнул. «Ой, Клаус, ты свистишь, как в школе!» — «Не велишь — не буду больше». Перешагнул через цветы и стоит теперь близко-близко . . . Пуговица! Я тихонько тронула отвороты плаща — расстегнуть. «А помнишь, Клаус, ты дал подножку директору?» Он фыркнул: «Я-то забыл, а он в мемуарах написал! Какого это кретина тогда приветствовали?» — «Не знаю, только директор сам сочинил стихи, мы их декламировали, а он пятился вдоль нашего строя, чтоб спиной не поворачиваться. И как допятился до тебя, ты выставил ногу . . .» — «Да, я всегда с краю стоял». — «Клаус, а у меня фотография есть — сняли тогда, всем на память подарили, смотри!»

Сейчас покажу вам.

Она вышла в спальню; Марта подобралась ко мне и зашептала, оглядываясь на дверь:

— Вот трещит-то, а ведь молчала. Наутро давай я ее стыдить, уж

коли, говорю, приспичило, как кошке, так прежде свадьбу надо. А я еще, говорит, сперва десяток детей нарожаю. Иду я в спальню, сдергиваю простыню и сую ей под нос: вот это, говорю, родителям невесты утром отвозят, а родителей нет—во дворе вывешивают, чтобы все знали, что девушка честная была. Я же и была честная, говорит. Отдай в стирку. А почему, Марта, он удивился и прощения просил? Ну, говорю, никто не видал, не слышал, счастье твое, а выходи-ка поскорей за господина бургомистра. И с рук долой, надоела ты мне! И ты, сударь мой, хорош. Ведь в рот глядела, сама в руки давалась, а теперь вон какая стала. Может, и обойдется еще, известно, девушка тому не прощает, кто ее первый испортил да сбежал, — а ты обходительный, у нее зла на тебя не будет, слышь, тебе же лучше. Ну, на другой, на третий день забегала она, что мыш, то к балкону, то к двери. Эх, кошчонку паршивую и ту пожалеешь, а тут ведь своя кровь, дочка ведь она сестры моей покойницы, да не говорила я никому: не много чести от такой тетки... Пошла я в город, на базаре потолкалась, послушала. Вот, говорю ей, болеет он, простудился, обожди... Вскочила, давай умываться, волосы прибирать, физию свою зареванную в зеркале разглядывает, нос пудрит. Ах, вот ты как, говорю, подстилка несчастная, бегать за ним хочешь? Сейчас на ключ тебя, и господина бургомистра вызову! Не зови, кричит, останусь, только его не зови! Тебя, то есть. А сегодня, гляжу, пошла это она на кухню и в столе роется, где ножи...

— Вот смотрите: это он, а тут, где маленькие, я стою — не разглядеть почти...

Фотография плохая, мутная. В самом деле, ее не узнать, а он стоит с краю полусрезанный (совсем бы), худое нахальное мальчишеское лицо, резкий выступ носа. Он не таков в ее пересказе, но интонации его звучат в ее голосе.

— А это директор. «Затылком, бедняка, стукнулся...» — «Там песок был, нечего жалеть, он же тебя из школы выгнал!»

«Наверно, не так за подножку, как за свист». — «Да, верно, ты сунул руки в карманы и засвистел в лицо им обоим — директору и тому тондьяку в мундире — он поближе подошел, узнать, что случилось!» — «Клаус, а вот учительница пеня. Как она, наверно, горевала о тебе!» — «Старуха позвала меня к себе домой, достала из какого-то допотопного источенного сундука флейту и отдала мне: бери, свистун, и уезжай отсюда в большой город. Учись! Ты будешь музыкантом. Это старинная флейта, хорошая флейта, на ней нельзя играть плохо!» — «Вот эта самая?!» — «Нет, та через год сгорела в Гамбурге — вместе с домом, и все наше барахло сгорело. Ничего-то тогда у нас с матерью не осталось — не в этом их хилом переносном смысле, а в самом деле ничего...» — «И как же?» — «Да так. Пел где придется, пока лягушкой не заквакал — мутация. Вот тогда свист пригодился: птиц приманивать. А помнишь, старуха речи говорила на школьных концертах? Все ждут, когда хор запоет, а она снимает пенсне и трет платочком: «Прошу меня извинить, безумно сложная ситуация. Бетховен и Шиллер говорят — обнимитесь, миллионы, а вы можете представить, как они обнимутся? Вот здесь дети разного возраста, родители да еще мы, учителя. Сбняться с чужим, юному обнять старого — а если ему противно? Любовь — это один плюс один, а как быть миллионам?.. Ну, а теперь, дети, споем». И поднимает руки. В зале жара, духота, всю эту жирную публику развезло, осовели... Когда меня выгнали, она матери денег дала, наговорила ей чего-то, так что мать меня на время даже лупить перестала...» — «И ты совсем, совсем не помнишь меня, Клаус?» — «Ладно, малыш, не тяни kota за хвост... ну и кот у тебя! Чего только не плел мне утром: жертвы, искупления... Наверно, сейчас где-нибудь внизу бродит». Не знаю: кот давно спал в кухне на подстилке. Ночь, темно, поздно... Что же это было? А, вы меня учили: чтобы получалось —

упражняйся, искусство постигай постепенно, день за днем, час за часом . . . Вон они, часы, — ваш подарок, все здесь ваше. Ну нет, ему время дорого, и дела-то всего на две минуты. Отлично получается! С первого раза! Он заснул так неудобно, головой на альбоме с фотографиями. Спи, милый, я тебе песенку спою . . . А ушел рано утром, когда я спала. А я бы его сама разбудила, каждое бы утро сама будила, балкон открою, солнце в лицо, вставай, Клаус, кофе убежит! Вставай, принц Клаус, вот твоя корона! Это вы мне читали Шекспира — он в высылке, а мухи полноправны? И ты сказал, что высылка — не смерть. Ты б отравил меня или зарезал, чем этим пустословьем заниматься, и еще там что-то, много, не помню, — ну, если б он столько говорил, никогда б до дела не дошло. А у нас дойдет! Лучше б вы меня на рояле учили, тогда бы я с ним играла, а не эта толстая зануда. Уходите! Уходите скорее!

Марта сбегала за мной по лестнице. Внизу она остановилась у фонаря, не различая меня в темноте.

— Я здесь, Марта, за деревом.

— Ну, слава Богу, дождь перестал . . .

— Марта, что это вы говорили о ноже?

— О ноже? . . . А, это — говорит она мне: обманули его тут, обидели, он теперь думает — я тоже виновата. А вот в сказке одной написано, что надо кусок мяса из груди вместе с сердцем вырезать и послать, тогда поверит! . . . Ну да я не первый день на свете живу. Говорю ей: нож-то поострей надо, а наши давно не точены. Ногой топнула, в спальню ушла. А я ножи припрятала — и к тебе. А ты-то, сударь мой, опять пьян. Что ж, возьмешь ее, что ли? Сам видишь: тот сбегал, едва штаны застегнуть успел. Тебе ведь привозила, а ты, тьфу, ни отец, ни муж. Мне, сударь, за май месяц еще причитается; и будет с меня мороки, не старуха еще. Мне Линц-бакалейщик, вдовец, третьего дня говорит: вы, фрау Марта, совсем еще цветочек! А я ему: и не фрау, а вовсе фрейлейн, а коли встретится человек хороший . . .

## 9.

Когда это было?

Не знаю: я больше не считаю годы. Есть только дни, которые не складываются в измеряемые величины; и если в полночь доносятся до меня с башен ратуши глухие удары и шестикратно «соль», я думаю не о времени, но о тшете хоровых финалов «Фиделио» и Девятой. Моя музыкальная шкатулка сломалась, молчит: должно быть, я небрежно упаковал ее, перебираясь в маленький домик на краю города. Но довольно и того, что в зелени липы я угадываю голый осенний скелет, а в обледеневающих ветвях — новое цветение: я не надеюсь и не огорчаюсь. Перемены в Гаммельне не коснулись меня; упоминаю о них из-за былой и почти неправдоподобной причастности к истории.

Ныне правит городом профессор. Вначале, оставшись без дел в опустевшей школе, он обрадовался должности бургомистра как избавлению; когда же подросли малыши и школа вновь открылась, он согласился и с одобрения магистрата сохранил свое место в ратуше: достойного преемника не сыскали.

Обязанный своим возвышением, в сущности, Крысолову, он предпочел тем не менее предать анафеме это имя и всякую память о нем, вроде берета и флейты. Политическое чутье подсказало бывшему директору, что проклятья убедительны лишь в симметрии с благословением: логикою он был приведен к крысам, и незамедлительно нашлось не менее доводов pro<sup>1</sup>, нежели было пред тем contra<sup>2</sup>. Новую доктрину

<sup>1</sup> За (лат.).

<sup>2</sup> Против (лат.).

не провозглашали официально, слегка стыдясь за границу; а гаммельнцы обрадовались новой моде и быстро ввели ее в повседневный быт. В кафе подавали паштет à la crouss<sup>1</sup>; местные донжуаны говорили «не женюсь и за сто тысяч крыс»; судья через подставных лиц купил подвальчик в переулке и оборудовал литературно-артистическое кабаре под названием «Chez gat»<sup>2</sup>. С вывески призывно помахивал натуральный крысиный хвост. Усерднейшим посетителем «Chez gat» стал директор: он утверждал, что отныне специализируется по психопатологии и наблюдает нравы. Аптекарь тоже частый гость в кабаре. История с Крысоловом пробила брешь в гордом затворничестве этого ученого, бедняга полюбил шум, толкотню, мельканье лиц. Он садится за столик в дальнем углу, а потом его длинная фигура пересекает подвальчик по диагонали и надолго застывает у стойки. Не отрываясь глядит он на крохотную эстраду, где играет джаз-ансамбль, и ждет перерыва, чтобы заказать пирожное, крем или мороженое для пианистки. Та мигом слизывает угощение, хлопает его по плечу «привет, папаша» — вот вся его награда. Но он терпелив. Пианистка — душа, опора и неограниченная повелительница оркестрика, неизменно веселая и деловитая. Это Бербель, ее преобразование шокировало уважаемых гаммельнцев; но она порвала с прежним кругом и кажется довольной. Бедняжке лихо пришлось без покровительства дяди: новый бургомистр, суровый, как Брут, отправил бывшую невестку в тюрьму за подозрительно удачный аккомпанемент Крысолову. Бургомистр впал еще в две-три подобные крайности, вроде латинской брошюры «Pro muribus»<sup>3</sup> или публичной лекции «О роли крыс в истории», где доказывал документально, что крысы предупреждают об опасности на море и на суше не хуже гусей римской породы и что провидение порою избирает их орудием справедливого возмездия: епископ Гаттон и проч. К счастью, такие прискорбные излишества он допускал лишь в самом начале пребывания в должности и скоро обрел подобающее равновесие. Бербель вышла из тюрьмы через полтора месяца — и вышла неузнаваемой. Она бросила ежедневные гаммы и прочное положение в городской музыкальной школе, подобрала партнеров и предалась джазовым импровизациям. Ее крепкая ремесленная выучка, ее неудержимая энергия обеспечили оркестру высокий профессиональный уровень. Толстушка и лакомка, она помолвлена с кондитером «Chez gat», а Бербельбанд пользуется неизменным успехом у завсегдатаев кабаре. Кое-кто даже поговаривает (шепотом), что тут только и услышишь нынче настоящую игру.

Ибо музыкальный быт Гаммельна заметно переменялся. Изгнаны из оркестра большие флейты, альтовые флейты и флейты-пикколо, а также гобой и кларнет. Чтобы исполнять известные классические произведения — объявленные орудием борьбы за очищение нравов, — партии деревянных духовых переданы частью скрипкам, частью альтам и виолончелям. Медная духовая группа осталась неприкосновенна: без труб, туб и валторн немислимы торжественные марши и сам гаммельнский городской гимн. Пошажены также фагот и Es-кларнет: бургомистр прочел несколько музыкально-критических статей и убедился, что это инструменты бляющие, гнущиеся, хрипящие — словом, карикатурные. Являлась прекрасная возможность высмеять дудочки и свиристелки с помощью их собратьев-предателей. Помимо фагота и малого кларнета единственный деревянный духовой инструмент в Гаммельне — саксофон из Бербельбанда: «Chez gat» — частное заведение, стало быть, неприкосновенно. Лишь по крайней нужде временно ввели эти строгости; но музыканты-духовики покинули Гаммельн, оставшиеся же были переучены

<sup>1</sup> В виде (фр.).

<sup>2</sup> «У крысы» (фр.).

<sup>3</sup> «В защиту крыс» (лат.).

за государственный счет на трубочей и тубистов; музыкальная критика нашла нечто привлекательное и свежее в новом звучании Бетховена и Вагнера. Конечно, были недовольные; но, как водится, одни смирились, другие примирились, третьи не интересовались. И в самом деле, мало ли дел более важных, например, городское водоснабжение... Упомяну еще о «Гамлете», исполняемом без эпизода с флейтой; смущала также реплика о крысе за ковром: «Мертва, держу червонец!» — но крысу эквиритмически заменили на кошку.

Знакомый старик архивариус поведал мне о затруднениях магистрата при оформлении — так сказать, введении в историю — недавних событий. Судья вступил в спор с новым бургомистром. «Да изгладится самая память о Крысолове! — кричал профессор. — Да не осквернит эта кличка страниц городской хроники!» — «В таком случае не следует упоминать на этих страницах и о таких суровых, но целительных мерах, вами предпринятых, — возражал судья. — Ибо без объяснения причин потомство вместо благодарности заклеит вас именем вздорного деспота. Все — или ничего».

Бургомистр своею деятельностью гордился, и жаль было ему терять шанс войти в историю. Прибегли к консультации фон Тедеско (по почте), и дипломат ответил как прежде: приходится порой делать историю не записывая... чтобы потом не пришлось записанное уничтожать. В изящном почерке его проскальзывало досадное нетерпение, и бургомистр отступил. Смута и нормализация не попали в гаммельнские городские хроники, зато появился там короткий суровый абзац о прежней администрации. Бургомистр отвел душу и изгнал из магистрата мингера ван Пельца. Тот никак не мог оправдать свои финансовые отчеты без упоминания некоего имени; а раз Крысолов не существовал, мингера обвинили в воровстве.

... Но все это бесконечно далеко от меня. Я остаюсь в Гаммельне потому, что не знаю, где бы мог жить еще; но с тех пор, как я столь нелепо и смехотворно ошибся, возомнив, что имею власть над событиями, — события не имеют более власти надо мной. Я не выхожу за пределы моего маленького сада, почти не встречаюсь с людьми. Не бываю и в концертах: мне претит шум, суэта возле вешалки, инструменты-оборотни... вурдалаки. Я послушал бы оркестр Бербель; но осторожность удерживает меня. Рассказывают, что она с особым наслаждением, с особым злорадным блеском исполняет искаженные варианты прославленных образцов классики. О, я чужд ханжества, я не спорю: музыка, рожденная столетия назад, давно живет самостоятельной жизнью; правоспособная по понятиям человеческим и космическим, она вольна бывать в любом обществе, пить и сквернословить, спать с кем захочет, плодиться и размножаться. Утрата совершенства? — пусть, не остановит и это: только бы жить! А если так, клянусь, не пожелаю ей смерти, не произнесу рокового и чугунного «остановись, мгновенье!». Но чтобы не слышать и не видеть, отойду в сторону: не соучастник, не судья, не свидетель. Не тревожь мир, и мир — быть может! — не тронет тебя.

Но упомяну о последней и совсем смешной попытке.

В недолгие дни мятежа погиб фореитор Ганс: молодежь подожгла для забавы сарай, где стояли старые кареты, и бедный чудака, пытаюсь спасти рухлядь, получил удар балкой по голове. Единственная человеческая жертва — и ею оказался он! Мальчик, усыновленный Гансом, осиротел вторично. «Как тебя зовут?» — спросил я, погладив его по головке. Он молчал. «Пойдем со мной, если хочешь, и твое имя будет Клаус». Он снова не ответил, ему было все равно. Марта вычесала мальчугану голову, выкупала его (бедняга Ганс не слишком следил за гигиеной), и мы вдвоем нарядили маленького Клауса во все новое и чистое. «А как же бакалейщик Линц?» — спросил я шутливо. Она отмах-

нулась. «Не тебе бы, сударь, спрашивать. Сам бы . . .» Я предпочел не понять намека, и тогда она сказала, вздохнув: «Видно, суждено мне чужих детишек подбирать . . .»

Так возникло у меня подобие семьи. Я поставил на стол фотографический портрет Сабины и каждый вечер повторял Клаусу: «Это твоя мама, помолись за нее». Мальчик был молчалив и послушен. В строжайшей тайне я стал учить его игре на флейте и в час урока надевал ему зеленый берет, сшитый Мартою из каких-то домашних лоскутьев. Маленький Клаус оказался восприимчив к интонации, и скоро мы стали объясняться краткими мелодическими попевками, приводя в изумление добрую старушку Марту.

Однажды в Гаммельн забрели трое музыкантов; не получив разрешения дать концерт на площади, они остались без денег и без крова. Я пригласил их к себе, накормил ужином, достал бутылку старого вина, и они отблагодарили нас: гитарист, скрипач, певичка с тамбурином. Клаус робко взглянул на меня, я кивнул, он побежал за флейтой — и трио превратилось в квартет. Мальчик играл хорошо, право, я мог гордиться своим учеником. Легли спать; на заре я слышал шорох, шаги, но не встал. Так и должно было случиться . . . Я надеялся еще, что он позвонит, когда они выйдут из города; что я еще услышу в телефонной трубке веселый звонкий голос: «Мы шли-шли через лес . . .» Он не позвонил.

Итак, все осталось по-прежнему. И благо: ведь если ни единый из моих поступков ни к чему не привел, это значит, что капризное своеволие не опасно. Случалось, я томился неотступным выбором, а потом упрекал себя при виде людских бед: вот, казалось мне, губительные последствия моего решения! Напрасно, несправедливо. Следовало яснее видеть доступное — и не тревожиться. *Fecit potentiam*, — но не каждому дано пошатнуть мир, где дирижер ежевечерне поднимает руки во имя бесспорного.

Я одинок. Я старею мирно и несуетливо и полюбил порядок и чистоту не ради наружного достоинства, но ради них самих. Как ни скудны теперь мои средства, я без колебаний пожертвовал некоторой суммой, пригласил рабочих — и радуюсь канализации и ванне. А когда соседи стали выражать завистливое недовольство, я почел справедливым и уместным напомнить им о прежнем моем положении.

---

---

Олег Охапкин  
В ПЛАВАНЬЕ

БАЛЛАДА О ВЕСЕННЕЙ НАВИГАЦИИ

Ненадолго утренняя пруть.  
День качнется — мысли будут плыть,  
Вислые обмякнут паруса,  
Потемнеют в сердце небеса.

К вечеру обрушится стеньга —  
Стержень от плеча до сапога,  
И корабль сядет на мели,  
Потеряв и мачты, и рули.

За ночь отлежится, еле жив,  
И завтра, чуть дохнет прилив,  
Поплывет куда-нибудь еще,  
Наскоро надеждой оснащен.

Где же ты, заветная земля?  
Эх, шагнул бы в море с корабля,  
Да вода темна и холодна —  
Не достать ногою твердой дна.

Корабель скитается, плывет.  
В трюмах море плещется, ревет.  
Чайку потерял из виду. Знать,  
Потерял и землю якорь-снасть.

Легкое отчаянье знобит.  
Капитан нарезался, храпит.  
Парусина бьет шальным крылом,  
Да ундина грезит о былом.

Вот и вся баллада о беде.  
Без вести пропал я и нигде  
Не встречал ни хвой, ни тростников.  
Отбыл, сгинул — да и был таков.

Море ли житейское, залив  
Мелкий, Финский, колыханье нив  
Украинских, волны ли тоски,  
Но привязан Капитан к доске.

Гиблая команда в рундуках  
Роется — уж нет ли где рубах  
Чистых. . . — Мешковина лишь да моль. . .  
Съедено сукно. Пора домой.

Стоп, машина! Якорная цепь  
И без якорей достала дна.  
Что бы это было, как не цель?  
Башня Исаакия видна.

Кончена баллада. Паруса  
Убраны. Очнулся Капитан.  
Прояснили в сердце небеса.  
В трюмы опускается туман.

Разбрелась команда по местам.  
«Выбрать цепь! Выруливай к мостам!»  
Кливера достаточно, когда  
Под бушпритом нельская вода.

Плавали и хватит. Что за сон!  
Комната и двери на засов.  
В памяти ныряет утлый челн.  
За душой темнеет море слов.

Пушкина возьму. Угомонюсь.  
Ненароком встану и зевну.  
Видно, сам себе я только снюсь,  
Сплю, и снюсь которую весну.

Жуткий сон. Не стоит продолжать.  
Где же ты, заветная земля?!  
Убежать бы, что ли, убежать...  
Да не пустят в город с корабля.

Да и полно врать-то! Корабель —  
Это сам ты, а не кто иной.  
Плаванье — твоя земная цель —  
С каждой навигацией — весной.

Отряхни дремоту, старина!  
Выпей чаю и взгляни туда,  
Где волнение — вся твоя вина!  
Паруса поставлены. О да!

Паруса расправлены. Крыла  
Воздухом наполнены густым.  
Эх, была шальная не была!  
Впереди опять морская стынь.

Кончена баллада. Не беда!  
За кормой чухонская вода.  
Лишь ундина в пене чуть грустна.  
Это ведь не первая весна.

## ТРИ ЭПОХИ

*Есть три эпохи у воспоминаний.*  
А. А.

Век золотой преставился. Vivat  
Серебряному веку! Он не знает,  
Где приклонить главу. На нем зияет  
Сквозная рана. Маленький солдат...  
Куда смотрел он? — В землю, говорят.

Здесь, в крепости, их нет. Пропали оба.  
Россия стала им вместо гроба.  
Век бронзовый тускнеет на дворе.  
Прекрасно начал. Спит в монастыре.

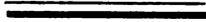
Все трое обанкротились. И Музы  
Простили им стеснительные узы.  
Триkrát счастлив, кто посетил сей мир,  
Когда гремела медь правдивых лир.

Властители, по правде, наши живы,  
В эпохи лжи и власти наши — лживы.  
Терпите же и горшее, глумясь,  
Когда в сердцах окаменела грязь!

Солома для огня. Огонь — соломе.  
Кому повем в Гоморре и Содоме  
О горечи, какой напитан стих,  
Когда уже трещат костры шутих?!

Еще чуть-чуть и... Что там?! Боже правый!  
Куда бежать, когда такие нравы  
У кесаревых толп что трех эпох  
Урок для них сомнителен и плох?

Три царствованья лира возвестила.  
Три краха. Впрочем, третий — это сила  
Грядущего. Сейчас же я молчу.  
Передо мной последняя могила.  
«Что скрыто в ней?» — смущенная спросила  
Душа. — Да так. Ответить не хочу.



## Кари Унксова

### НИКОГДА

Чем интересно начало моей жизни? Думаю, разительным в детстве, а потом почти исчезающим несоответствием между внешней скудной жизнью и внутренней, глубокой и сложной, именно в первые годы.

Я родилась 21 октября 1941 года. Мои родители занимались геологией и ко времени моего рождения, кажется, оба уже прошли через аспирантуру.

Бабушка моя с материнской стороны по национальности латышка, возможно, не без немецкой примеси (урожденная Ульдрик), в свое время работала акушеркой и была деятельным человеком, переполненным потребностью в живом исполнении своего ежечасного долга.

Деда я не помню: он умер от чахотки в год моего рождения. Меня от него берегли. Он был почтовым служащим, до революции статским советником, добрым, говорят, и тонким человеком. От него осталось только несколько писем, написанных во время войны, уже совсем перед смертью. Они — о детях и внуках, без малейших мыслей о себе. Единственным его завещанием было «не отдавать детей в детские учреждения», и этот завет старались выполнять. Его, в свою очередь, родители были во всех отношениях необычными людьми: мой прадед прожил сто одиннадцать лет и отравился в конце концов бешеным, когда у него первый раз в жизни заболел живот. Еще однажды болел зуб, который он тут же сам и выдернул каленой проволокой, а больше никогда и ничего. Зубы были целы, волос густ — видела его фотографию ста с чем-то лет. Был он крестьянин и жил в Белоруссии. Жена его была моложе чуть не на тридцать или сорок лет, дворянка, по матери немка. Говорят, что ее отец в одну ночь проиграл все имение в карты и приехал домой на тройке мертвым от разрыва сердца. Почему-то легенды донесли число оставшихся коров — их осталось восемнадцать, — и это было очень стыдно. Она, прабабка моя, несмотря на голубую кровь, была, по-моему, неграмотной. Словом, народ с материнской стороны у меня весь крепкий, в работе неистовый, к себе равнодушный (кроме матери моей) и все с чернухой: угадывают сны, нечаянно, пожелав с сердцем, изводят на нет обидчиков, хорошо лечат, но и «заболеть» могут кого-нибудь. Все мои тетки окончили вузы, но в общем это не интеллигенты — падки на слухи, диковаты и, ежели читают, то больше с устатку. Все эти способности передались и мне, меньше — моей сестре и моей дочери тоже от прабабки, которая, говорят, была крива на один бок, горда даже до умопомрачения и у всей округи принимала роды, выводила червей из коров и лошадей на соль с водицей и слыла признанной и умелой ворожеей. Пыталась она и мою маменьку, которую очень любила, учить, но маменька была расеянна и ничего не запомнила.

Со стороны отца я происхожу вот именно из интеллигентной семьи. Когда я смотрю на семейный альбом моих отцовских родственников, с трудом верю глазам, так они типичны и литературны. Мечтательные и энергичные барышни, неподкупные и окрыленные лица мужчин — предреволюционная пора. Все они, включая деда с бабкой, были профессиональными революционерами, на всех имелись дела в охранке, все возились с бомбами и нелегальной литературой. Дед и бабка были членами именно «Союза борьбы за освобождение рабочего класса», а не какими-нибудь террористами из черного передела. Они работали с Лениным, бабка моя сидела при царе с Крупской, дед хорошо знал Цюрупу, Троцкого. Но у меня не возникало никакой потребности в

расспросах, между мной и дедом никогда не было близких отношений, а как я теперь жалею, один Бог знает.

Дедов родитель был статским советником, вроде педагогом, остальные предки — духовного звания. Основатель же фамилии — татарин с длинным прозвищем, на конце которого стояло Ун кыс, что значит десять дочерей, служил в Москве представителем Золотой Орды, и, когда дела России повернулись к лучшему, прошел через руки Малюты Скуратова, и был сослан в Рязань, где и жили затем все Унксовы. Бабка происходила из польско-украинского помещичьего рода... Про ее родню мне ничего не известно. Историк Покровский, именем которого некоторое время назывался Исторический институт в Москве, — наш родственник. Питерская ветвь Покровских, большая семья, вся вымерла от чухотки после войны уже на моих глазах. На всей отцовской родне лежал отпечаток какой-то обреченности, нежизненности, угасающих сил. Дед был человек чувственный, очень, наверно, умный, блестяще образованный. В 30-х годах он сидел, и выручила его сама Н. К. Крупская, но он успел отморозить себе нос и получить чухотку. Был он скуп и по-своему честолюбив. В доме его — он жил в одной из комнат бывшей своей квартиры — ничего лишнего не водилось. Книги, очень скромная, но добротная мебель, гравюры, мельхиор. Это было сознательное отречение от какой бы то ни было роскоши — опять же, типичный интеллигентный дом. Папеньку моего, несмотря на треволнения войн и революций, а впоследствии уже более чем скромную жизнь, учили дома. В школу он пошел всего на полгода, чтобы получить аттестат. И дед, и отец прекрасно знали языки. Дед в конце жизни читал уже только по-французски Дидерота и других. Разочарование его грызло страшное, целые дни он проводил в высокой венской качалке, осмысливая опыт Французской революции. «Если б я мог, я бы умер», — говорил он вполне равнодушно, уже после смерти жены, за которой ухаживал и убирал до конца. Жена его, моя бабушка, погибала страшно. Она была здоровым, в молодости очень энергичным человеком, но в домашней жизни совершенно беспомощным. Дед варил, покупал и готовил, выбирал ей платья и ходил на базар. Она же занималась педагогикой и революцией. После тридцатых, когда все стало ясно, она еще пережила войну, а потом стала медленно и беспричинно умирать. Сначала она прилегла на час-другой, потом на день-другой, а потом уже и не встала. Начались пролежни, сердце было здоровым, и помирала она очень долго. Близких никого не было, но были преданные ученики и несколько армянских семей, спасенных во время резни, и эти люди помогали деду. Потом умирал дед, сиделка спалила библиотеку, ничего не осталось. Как дед оказался в Баку, я не знаю, — учился он в Москве.

Вот и все, что мне известно о родных. Таким образом, кровь у меня довольно пестрая, но никакого особенного тяготения ни к одной из многочисленных родин у меня нет. Таковы, наверно, все русские. У многих из них, в том числе и у меня, совковые резцы. К национальному вопросу я всегда была равнодушна, но экологическое чувство родины и языка, невероятных духовных возможностей, хранящихся и перетекающих именно в русском «затомисе», было всегда во мне необычайно сильно. Муж мой русский, владимирский. Об отце и матери я буду говорить уже по впечатлениям детства.

Родилась я в Алма-Ате вскоре после начала войны.

В утробе матери, как Сальвадор Дали или моя дочь, я себя не помню. В Алма-Ату мои родители приехали перед самым началом войны да там и остались. До этого они жили в Питере, где родилась, за пять лет до меня, моя старшая сестра — Марина. Предвидя лихую годину, бабушка моя, которой не раз приходилось терять все до послед-

него, продала что было из имущества и до начала голода успела купить кроликов и коз. Огород, домочадцы, которых я всех помню по именам и характерам, да козье молоко помогли нам выжить. Но было, наверное, не очень сладко — иначе бы не врезался в память хлеб, который мне дали помакать «сколько хочу» в тарелку с постным маслом. Никогда я потом не могла поверить, что то, что я ем теперь, это ТО ЖЕ, и словить еще раз полный, довольственный, густой вкус.

В пригороде, уже у ближних отрогов гор на берегу малой Алма-Атинки, стоял большой дом, со всех сторон — или так запомнила — окруженный верандой. Дом был ведомственный, в нем жили геологи, сослуживцы, со своими семьями. Топография местности настолько для меня ясна, что я бы, кажется, и сейчас нашла это место с закрытыми глазами, но его больше нет — реку перегородила плотина и там что-то вроде водохранилища или ГЭС.

Я спала все детство на стульях, зимой в комнате, весной и летом на веранде, где впервые и помню себя. Сколько мне было, не знаю, но ни говорить, ни ходить, ни сидеть я еще не умела. И даже еще не хотела. Ребенок знает и понимает все. Я помню себя, и спинки стульев, и даже чувство неловкости за свою неустроенную постель.

Бабушка и соседка за большим обеденным столом, далеко справа у больших окон веранды, бойко говорят по-латышски. День пасмурный, мне хочется писать и обидно. Я чувствую, что они рады поговорить друг с другом на своем, а не на моем языке. Я чувствую, что соседка никак меня не любит и что бабушка любила бы ее меньше, ежели бы не язык. Я праведно кричу, и обида становится горше оттого, что бабушка притворяется, будто не слышит моего крика. И вот подо мной теплая лужица. Пеленки сбиты, мокры. Мне холодно. Пасмурно (я всегда знала, какая погода снаружи). Я опять кричу. И опять меня стараются не услышать. Новая лужица. Бабушка подходит, сердито подкладывает под меня сухой край, и мне обидно вдвое, потому что я знаю, что так нельзя, что надо меня завернуть в сухое обстоятельно. Болтовня за столом. Я стараюсь всеми силами, чтобы соседки не стало. Третья лужица, бабушка подходит и шлепает меня в сердцах. И это несправедливо уже до помрачения разума. Где-то я знаю, что мне придется остаться с этим горем на всю жизнь, потому что бабушка не чувствует себя виноватой, а поэтому не будет утешать. Так оно и случилось. Какие раны мне ни наносила жизнь, чувство безысходности я познала именно тогда. Наверное, то же испытывает прирученный, а потом брошенный зверек...

Ранняя весна. Утверждаю, именно РАННЯЯ и ВЕСНА. Меня выносят из дому на еще не просохшую внутри кучу опилок. Помню чувство этой глубоко запрятанной влаги под сухой и теплой для взрослых поверхностью. И знание, что они, взрослые, этого не знают. Вынесла меня тетка. Я начинаю машинально сгребать опилки в кучу. Прибегает бабушка, потом мама. Зовут отца. Все хвалят и удивляются, что малютка так рано сделала первый «домик», а у меня это вышло случайно. Я знаю, что меня хвалят зря, я не потрудились.

Новый год. Все клеят для елки цепи. Елки нет. Цепи делают из американских этикеток. Запах этих воощеных коробочек с сигаретами «Кэмел», яичным порошком и остро-прохладными эссенциями, пахнущими шоколадом, я помню до сих пор. Я азартно рву этикеточки и складываю их в банку — работаю вместе со всеми, предварительно поскандалив для того, чтобы получить работу. От меня пытались отмахнуться, но не тут-то было! За окнами снег, и это всех удивляет. Я почему-то сижу в постели, может быть, просто еще не умею ходить — ребенком я была слабым, чуть не умили в роддоме. Как рассказывает мама, я все срыгивала, а меня никто и не думал докармливать. И я начала «на глазах сохнуть, заострился носик, обвяли и

сморщились щеки». Мама убежала из роддома, и дела мои начали поправляться, но здорового детства у меня после Алма-Аты не было. Там, в роддоме, мать меня показала старшей сестре. Сестра сказала: «Какая маленькая — Дюймовочка!» Прозвища «Дюмка», «Дюм» так и остались за мной для близких людей на всю жизнь.

Вообще же, самое мое постоянное чувство в раннем алма-атинском детстве — это сон. Сон, золотой и солнечный, от которого меня будят события и разные люди. Отношение к себе, отношения взрослых друг к другу, самые тайные, не высказанные, я понимала безошибочно. И сейчас, часто путаясь в мотивах и ситуациях, я никогда в помыслах не ошибаюсь — видно, это атавизм. То же я чувствовала и в животных, но и в кроликах, и в козах я ощущала прежде всего беспрерывный, живой и деятельный страх, который часто помрачает им разум, поэтому я твердо знала, что даже кролик и овца могут укусить со страху, и мне не хотелось трогать их горячечные спинки. Наверное, они предчувствовали свои убийства, да и я про это все знала, хотя ужаса у меня это не вызвало: я чувствовала за этим жесткую этику голода...

Я помню так много, что нет смысла рассказывать обо всем, но несколько столкновений с первыми в своем роде эмоциями мне хочется отметить.

Помню, как меня вывели в сад, чтобы показать дяде, который пришел в гости к маме. Особое отношение к ней (мать была в молодости, да и потом осталась редкой, тонкой и благородной красоты женщиной) я сразу почувствовала по его неуловимой скованности, по настороженной подтянутости бабушки, по чуть заметному, тщательно спрятанному оживлению маменьки, внешне выраженному в суровости. Дитя тут было как бы не совсем бескорыстно. Я понимала, что и на мне какая-то роль. Так же я понимала, что есть еще одна субординация, в которой этот дядя стоит высоко, и оттого ему дополнительно неловко. Он в коричневом пиджаке с толстыми полосками, в светло-зеленой шелковой рубашке, в галстук с чем-то красным. Он говорит, что его дочь уже рисует человечков, и спрашивает — не умею ли я? Мне дают карандаш, синий и толстый, и толстый кусок бумаги. И я сейчас нарисую прекрасного человечка, знаю как: точка, точка, запятая, минус, рожица кривая... Я беру карандаш и с удивлением вижу на листе кривые и жалкие синие полосы. Я не могу поверить в свое бессилие, но уже вижу, что рука безнадежно едет в разные стороны, и мне никак не понять — почему, если я все так ясно представляю...

Долго, почти до семи лет, я не могла сосредоточиться настолько, чтобы читать или видеть что-то на экране. Меня ведут в кино, кино на открытом воздухе, деревянные скамейки, земля, без взрослых. Меня держат за руки кузен и сестра. Но я вижу только черные и светлые пятна, у меня кружится голова, как от карусели, подташнивает, и я нестерпимо хочу «пи-пи».

Помню свой неистовый крик в трамвае и свое внутреннее удивление: внутри меня все спокойно, мне интересно и весело, но я слышу свой неистовый крик и не могу перестать: нет внешнего утешения. Наконец мне дали потрогать живого воробышка, который был за пазухой у мальчишки, и, дотронувшись до его тепленькой головки, я, к своему облегчению, затихаю.

Запомнилось, как мы с теткой ходили далеко, к какой-то портнихе Любе, которая мне очень понравилась, — в ней чувствовалась искренняя нежность к ребенку. Она была мягкая и несчастная, в ушах — большие теплые серьги с камушками. Мне дали поиграть множеством разных пуговиц, среди них были настоящие драгоценности — мягкие, светящиеся красным пластмассовые диски и шарики. Потом пуговицы сложили в небольшой матерчатый мешочек. «Это тебе», — сказала Лю-

ба особенно ласково, и я крепко вцепилась в мешок с сокровищем. Дома тетка без долгих слов отобрала мешочек. «Это же мне!!!» Но тетка только рассмеялась. Ей было не понять собственного коварства, а у меня чуть не разорвалось сердце. Я не стала просить и плакать, я всегда знала предел взрослого понимания и тот маленький запредел, куда можно было добраться криком и слезами. Знала, когда со мной просто небрежны, а когда я вхожу в чужое государство...

Как-то я сделала пирожок из глины. В это время из школы вернулся мой кузен. Я шутя предложила ему пирожок, и он разжевал его с самым серьезным видом. Бесконечная волна признательности горячо нахлынула на меня, ведь даже символическое поедание пирожка — очень много для такого уважаемого-занятого человека! Нежность эта помнится мною и поныне, она надолго определила наши с кузеном отношения.

Дети вокруг непрерывно играли в войну. Я тоже бегала вокруг дома, хотя бегала плохо и в игру меня по малости лет не брали. Однажды я сидела, варила из песка и воды свои каши, кругом дети бегали в войну, а я чутко прислушивалась к их игре. Неожиданно случилось чудо: в одной из кастрюлек — ими были, конечно, пустые консервные банки — вдруг засияло НЕЧТО. Не знаю до сих пор: попался ли мне особый комок глины или случилось своеобразное Претворение Детской Каши, потому что вдруг я почувствовала Благодарь. Это было чувство ВНИМАНИЯ КО МНЕ, необычайно ласкового и сильного, мощно сливающего воедино то, что я знала о любви через взрослых, в общем-то не баловавших и не ласкавших, но отличающих меня из других детей, как я то инстинктивно чувствовала. ВНИМАНИЕ это шло отовсюду и ниоткуда, и я спокойно и радостно приняла его, не доискиваясь причин, и тут же каша в моей мисочке — да! это была мисочка — превратилась в ярко-оранжевую, мягкую и сияющую массу невиданной, совершенной красоты. Мне в голову не пришло попробовать ее. Я только с неистовым наслаждением мешала и мешала ее деревянной палочкой, а она завивалась, играя мягкими нежными спиралями. Как темный смерч, налетела моя старшая сестра. Мы обменялись мгновенными взглядами, и я поняла, что все погибло. Молча она схватила у меня драгоценный сосуд и убежала с добычей. Она была старше меня на пять лет, играла в войну среди взрослых детей, и я чувствовала, что в ее игре было главным — мальчик Саша Быков из соседней веранды. А вот зачем ей была нужна каша трех- или двух-летнего ребенка? Но инстинкт вел ее безошибочно, и я знала, что она все равно прознает любое мое сокровище и унесет Его. Так было все наше детство. Чувство чуда не прошло, в утрате не было его вины. Но с тех пор иногда начало ко мне приходит ощущение причастности к миру большему, чем люди, камни, река и небо, война, животные и вечно маячивший вокруг меня голод.

На нашем берегу непереносимо холодной, ледяной Алма-Атинки, маленькой речки, которая очень зависела от погоды и потому иногда была мелкой, может быть, по колено, а иногда такой страшной, что от нее берегли детей (она всегда оставалась бурной), лежали огромные валуны, накалявшиеся от солнца, — вокруг них царил особый жар. А на другом берегу был где-то пивной завод. Берег тот был покрыт черным гравием, и на нем зеленели и сверкали темно-оранжевым разбитые бутылки.

Помню страшную ногу Саши Быкова у нас в глубине комнаты, темной от яркого солнца снаружи. По ноге ползет густая пузырчатая кровь, подошва ноги разворочена. Наступил на отбитое горлышко. Взрослые сосредоточены. Булькает вода, пахнет нашатырем — я знаю, нам мазали им укусы ос и слепней. А Сашина бабушка — хирург! Но

так уж повелось в доме: на все чрезвычайные происшествия есть мои бабушка и тетка. Они отвоевывают казенный сад от воров с нестреляющим старым ружьем (это от воров-то военного времени!). Они зашивают рубленые, колотые и прочие раны, которых было много у незадачливых интеллигентов, впервые сражавшихся с сухой алма-атинской землей и горным кустарником за хлеб и топливо, они решают подчас довольно жесткие имущественные и взаимоотношенческие споры. Кира Николаевна!! Кира!.. И тетка со стуком кидает нож или швыряет метлу и меня, и я слышу всем тельцем этот твердеющий смерч энергии, который мчится мимо меня на улицу: расставить по местам, спасти или вызволить. Слово ВОЙНА было данностью. Мы (я с уверенностью говорю МЫ, потому что чувствовала одновременно за всех детей сразу) плохо понимали, что за этим стоит, но напряженная, отчаянная, заслоняющая нас жизнь взрослых и была для нас ее живым воплощением.

Всякая аналогия хромает, но в человеческой жизни почти нет постепенных изменений. Словно какая-то стрелка властно переводит ее на другие рельсы, и случается это однажды и навсегда. Так и я подхожу к решительнейшему моменту моей жизни, навсегда определившему мою судьбу.

Было особенно жаркий день, и меня привели на берег Алма-Атинки вместе с другими детьми. Дети купались, меня тоже окунули в ледяную купель. Жесткие струи безжалостно схватили тельце, зашло дыхание. Меня посадили у теплого валуна, и я спросила: «Почему такая холодная вода?» — «Она течет со снежных гор, вон оттуда», — сказали мне и повернули меня направо. Этот поворот, смуглая рука высоко надо мной и мой поднятый от солнечной пыли над водой рассеянный взгляд. В пронзительной синеве там, далеко, виднелись две ослепительно белые неравные вершины абсолютно недоступных гор. Ослепительно голубые, царственные, неприкосновенные. НИКОГДА! Толкнуло и сотрясло меня, и толчок этот ушел в землю и качнул ее под моими ногами. НИКОГДА и НИКОГДА: я не поднимусь, я не буду стоять там, я не буду с ними, я не буду ИМИ — НИКОГДА. И мир вокруг меня потух. Он погасал в моей жизни не раз и всегда внезапно загорался снова, но каждый раз мне казалось — нет, я знала, — что это уже навечно. Но смутное ощущение того, что без борьбы и работы ЗА ЭТО, без вечного ожидания ЭТОГО мне уже не прожить. Горечь, нет, разрывающая все тело тоска и мощные столпы лучей, толкнувших и поддерживавших меня в тот миг... Так кончилось мое золотое детство, потому что, мне кажется, сразу кончилась и война. Крики: «Победа! Победа!» Радость и чувство перемен. И мы долго, кажется, три недели, тащились в темном тошном поезде в Питер, и там поселились в страшной, без пола, с сырыми стенами, грибами в клозете и отставшей штукатуркой полуподвальной квартирке с длинным коридором, большой кухней, кишевшей крысами и мокрицами, и тремя маленькими комнатухами, где и живем до сих пор.

Я тяжело переносила перемену климата, полуголодное, без витаминов, северное существование. Спали на полу, вернее, на половинке дивана, вытасченного из помойки, иногда — на ужасно неудобных высоких и шатких экспедиционных раскладушках-сороконожках. Я сразу пошла нарывами, отчего лицо осталось навсегда изуродовано, светлые вьющиеся волосы были острижены под корень и проросли темным нестойким пухом. На душу спустился мрак. Я изнывала от тесноты, от ощущения, что Я МЕШАЮ, непереносимого для меня и поныне. Думаю, что на самом деле мне нужно бы целое крыло то темных, то светлых пустынных комнат, где я бы бродила, разбрасывая и собирая

свои бесконечные бумаги, — усталость от тесноты сдавливает мне горло. А скоро случился и настоящий приступ клаустрофобии, к счастью, в такой полной мере единственный в моей жизни. Был куплен светлый, не новый, а потому особенно приятный каким-то достойным запахом состоявшейся жизни шкаф. Его заволокли в коридор. В просторное отделение для белья, еще совсем пустое, поставили меня и... закрыли дверцу, в которую было вставлено небольшое красное стеклышко. То, что случилось за этим, трудно передать. С головой абсолютно ясной, вполне соображая, что вся семья стоит у шкафа, любя меня и улыбаясь мне, понимая и не боясь его благожелательной сердцевины, я стала молча корчиться от непереносимого, нечеловеческого, превышающего меня ужаса, не в силах даже пискнуть. Мать — мать стремительно открыла дверцу и вытащила меня, полузадушенную, хрипящую, с закотившимися глазами, и прижала крепко-крепко к своему цельтельному телу, в которое мой ужас входил толчками.

Помню грязно-сладкий запах помойки, гири на чугунных цепях — помойка была прямо над нашими окнами, битюг и флегматичный колюч, вилами поднимающий на воз дымящуюся волокнистую жижу. Помню крыс, висевших на этих гирях, и других, которые плотно, спинка к спинке, сплошной лоснящейся массой обсели другую помойку, за домом.

... На пустырях сияли кузнецовские осколки (с изнанки кобальтовой подглазурной синевой) — истертая позолота чашек, обломки фаянсовых туалетных тазов, синие, красные, иногда особенно тонкие оранжевые стеклышки. Нагретые стены домов источали подавленное, сырое, но тепло. Около них росла трава, и я постепенно отогревала душу. Я непрерывно, изводно болела. Болела от отчаяния, от изгнания из рая. Жизнь я сносила с терпением, но желания к ней у меня не было.

Прошло несколько лет — с выездами на дачу, где солнце на минуты возвращало мне целительный детский сон, с более тесным общением с кузенами и сестрой, с вечными очередями, где я паслась со своей бабушкой целые дни, пока наше жилище, а вместе с ним и я, не начало наконец как-то жить и дышать.

Мать моя, тяжело работая — тогда был чуть ли не двенадцатичасовой рабочий день, а для интеллигенции он и вообще длился бесконечно, — ночами делала отчаянные усилия, чтобы придать нашему дому вид человеческий и даже пристойный. Появились крахмальные вышитые наволочки, камчатные скатерти, серебро, цветы, даже зимой — гортензии, хризантемы и примулы, большой обеденный стол. Помню, высокие хризантемы стояли внизу под столом и свешивали свои круто изогнутые головки. Появился большой дымчатый кот, очень свирепый, несмотря на операцию. Он давил крыс и не выносил шума — вцеплялся в ноги до крови. Привезли пианино, и началась занятия, мучительные, с безграмотной учительницей, которая сама пошла вряд ли дальше Детского альбома Чайковского, но была настолько переполнена самолюбием, что оно ей мешало говорить, как иным мешает зуб. Она тихими резкими вскриками мстила нам за-все-про-все и, дай ей волю, сломала бы мне все десять пальцев, я ясно слышала в ней это жгучее желание. У маменьки же по отношению к ней был приступ корректности, иногда ослеплявший ее до полного непонимания ситуации, она ей все прощала, пока на экзаме не музыкальную школу не оказалось, что мне вправду почти безнадежно выломали руки. Если бы я могла, я бы провалилась сквозь землю от этих уроков, но сама, одна, очень любила подойти к пианино и часами нажимала всего несколько нот, главной из которых была си-бемоль: все сказки — мне уже тогда много читали — оживали для меня именно в этой ноте, осенняя песня Мендельсона и вальсы Шопена, которые папа, глубоко закусив губу,

иногда проигрывал, замедляя мелодию, что создавало дополнительный тоскливый эффект. Замки и озера, замолкшие фонтаны и статуи с отбитыми руками, воплощенные для меня въяве в пустырях и гипсовой, поверженной в крапиву статуе одноногого мальчика в длинных ненужных трусиках (я много рассматривала толстую книгу «Эллада»), дымные умирающие ивы, свободные закаты, смутный призрак потерянного рая — все для меня сосредоточивалось в ноте си-бемоль, холодной, меланхолической, особенно безнадежной. И эта же нота, а также другие, например, верхнее до, имеющие для меня солнечно-травянистый смысл, или нижнее, твердое, бодрое и волевое, — все эти ноты начинали бессмысленно рывкаться, лишь только я судорожно сведенными пальцами соединяла их в веленную мне мелодию. Помню громкие разговоры за столом, чуждые всем нам, но вежливо поддерживаемые всей семьей. Наша семья была, по-видимому, самая благополучная в огромном нищем доме, наполненном запахом трески, сметков и прогорклого постного масла. И маменька подкармливала какую-то туберкулезную семью — нежную девушку Тоню с необыкновенной кожей, очень застенчивую, и ее исхудалую мать, типичную коммунальную стерву со впадинами вместо щек, вечно громко орущую: «Верно я говорю? И вот я ему... а она мне...» Стерва скоро умерла, а девушка больше не приходила. Кроме того, помогали продуктами прачкам, полумойкам и прочим рабочим женщинам из нашего дома, кто-то почти все время жадно ел на кухне какой-нибудь суп. Посеешь добро в воду, оно взойдет в пустыне. Когда у меня родилась дочь, объявилось много добровольных нянек для дитяти, и целый год я продержалась на работе благодаря их помощи. А они вспоминали мать и бабушку, которых давно уже не было здесь.

Когда в нашем доме появилась пишущая машинка, я стала перебирать буквы, а потом почти сразу — писать.

Мы с Мариной, моей сестрой, в те годы играли в длинную игру, своеобразную Швамбранию изобрели мы задолго до знакомства с этой книгой. У нас была карта местности на берегу уже мифической Алма-Атинки. Там, на том и на этом берегу, располагались дружественные и враждебные монархии, для мальчиков и девочек до четырнадцати лет. Карицарство, в котором я была инфантой, а Марина — герцогиней Львогербской. Даже наши гербы ясно отражали разность наших темпераментов — у нее лев в венке из красных роз, у меня — чайка над морем в венке из незабудок. Я не помню других названий, а карта потерялась с годами. Бесконечные перипетии наших отношений с соседями и придворными, которыми часто неожиданно для себя оказывались девочки с нашего и соседних дворов, я предоставляла своей деятельной сестре, сама же отдавалась пребыванию в вымышленных странах с упоением человека, которому совершенно нечего делать на этой земле. Болезни мои, особенно с тех пор, как я пошла в школу (достигши семи лет, — я хорошо читала и писала), подтачивали меня все сильнее. Наконец открылся туберкулезный процесс, и из школы меня забрали. Этим (туберкулезом) я обязана своей учительнице, ненавидевшей меня, чего я совсем не замечала. Когда у одной из девочек обнаружили туберкулез, она посадила меня рядом с ней, отдаваясь бессознательному комплексу, и я заболела мгновенно. Я же ее любила, совершенно не чуяла тайных ее интонаций — я еще не сталкивалась ни с завистью, ни с недоброжелательством, ни с чувством превосходства, но крепко их запомнила, и привычка запоминать непонятное так, как оно есть, осталась во мне.

Время от переезда в Питер до второй школы было самым мучительным во всей моей жизни. Некрасивая, с разбухшим от нарывов носом, который я чувствовала как чужой, бритая, в старом поношенном мальчишском костюмчике, с вечно натянутой на бледное лицо

улыбкой — я испытывала, как мне теперь кажется, одну непрерывно ноющую муку. Любой самый незначительный поступок длился во мне нескончаемым стыдом (например, сорванный с клумбы цветок, за который погрозила мне в окно хозяйка дачи в Ассари, Латвия). Мне все было мучительно, хотелось переехать, уйти, кончить. Начать где-то и что-то снова. «Улыбайся! — жестко говорила мне мать, раздраженная, видно, моим тайным страданием. — Человек ДОЛЖЕН улыбаться». И я, помню, научилась улыбаться так, чтобы чувство отвращения к себе, полностью захватившее меня, не угасало, — это была медленная улыбка, двигавшая мне уши, но не раздвигавшая рот. У меня всего три детских фотографии, но они верно передают не случайные состояния — на двух я сплю, а на третьей вот так улыбаюсь. Я чувствовала, что, опротивев себе, я опротивела всем. Долгие слезы, просьбы о ласке ни к чему не приводили, а только дальше отдаляли меня от взрослых, привыкших к моей приветливости и не имевших ни времени, ни сил со мной возиться. Что делала бы я тогда без сестры, как выжила бы без охоты выжить? Не знаю. Игры с ней, долгие прогулки по Питеру, по его прекрасным местам, по городу, который был для нас всегда пустым и наполненным НАШИМИ сокровищами. Эрмитаж, куда мы ходили вдвоем чуть ли не с моих пяти, а ее десяти лет. Малый зал филармонии, куда маменька купила нам абонемент. Стихи, которые открывала она для себя и тут же пероткрывала мне (у нее был редкостный, необычный дар на произительные строчки):

О, любовь моя незавершенная,  
в сердце холодеющая нежность...

Ее настойчивые усилия научить меня не только читать, но ЧИТАТЬ (в смысле занятия), которым я долго сопротивлялась, постепенно, больше отвлекая, чем завлекая, спасли меня от ужаса этих лет.

Моим первым чтением были: Сетон-Томпсон, в котором моя сестра умела найти строчки вроде:

Сосна вечно шумит и вздыхает,  
Осина дрожит и трепещет...

Книга «Эллада», полная голых героев (причем мне почему-то казалось, что живые герои и боги носят фиговый листочек, а когда они умирают, то листочек с них спадает), и эмигрантский журнал «Жар-Птица», купленный у тех же умирающих Покровских, которым мои родители, кстати, многие годы помогали деньгами и прочим. Этот журнал, который мы смотреть могли только после занятий, помыв руки, полный рисунков Натальи Гончаровой, Сомова, Серова, Борисова-Мусатова, Шухаева, Яковлева, — словом, цвета русского модерна, который я до сих пор считаю наиболее плодотворным периодом русской художественной мысли, — этот журнал тоже спасал мне жизнь, утверждая и целя мою произительную ностальгию. Конечно, меня особенно потряс, просто вывернул Рерих — это МОЕ, ТО, СОКРОВЕННОЕ, допитерское. В первых моих стихах, а также в сказке «Ум и Я», которую я написала после посещения в первый раз Марининского театра (должна была идти «Снегурочка», а пошла «Орлеанская дева», наполнившая меня чувством царского и величественной театральной субординацией), виден мне этот мой далекий двойничок: начитанное, интеллигентное, бойкое на язык, борзое на ум, бледное и большое ленинградское дитя, с вечным кашлем, который стал моим верным слугой. Пойдя в школу второй раз, восьми лет, я как бы проснулась в первый же день занятий (я пришла в школу в третьей четверти). Уверенно взяв тетрадку, я написала на обложке фамилию и имя, чем привела в шок учительницу и детей, колупавших еще первые слоги (класс был на редкость слабый). Бойко прочтя какие-то строчки учебника, я почувствовала незнакомое для меня уважение в каком-то особом взгляде учительницы. Удовольствие, с которым она вывела мне

круглую пятерку, никак не походило на реакцию предыдущей учительницы, упорно не желавшей меня слушать и злорадно ставившей мне тройки по чистописанию. Сестра моя была честолюбива и трудолюбива. Она в соседней комнате иногда по несколько часов зубрила вслух литературу и историю, так что все изустное я знала на пять лет вперед, в первом классе — целую главу «Евгения Онегина», много и другого. Обратившись к первой же девочке за ручкой или перочисткой, я почувствовала вдруг свой крепкий, безусловно требующий подчинения голос, твердо взяла прошеное и поняла, что спасена и здорова. Я, конечно, в первые годы учения злоупотребляла и умом, и уверенностью, и открывшейся во мне властностью, закаленной в непрерывных битвах с сестрой, которая как меня ни любила, но не могла удержаться от искушения отнять у меня все, от конфет до денег, — пять лет разницы не шутка, когда они и составляют весь твой возраст. Должно быть, я была довольно противной для своих одноклассников, но меня безусловно слушались и уважали, тем более что я не реагировала на специальные девочкины дразнилки — типа «воображуля» и тому подобное. Я, вслед за своей матерью, ненавидела раздельное обучение, принимала его как стихийное бедствие, которому когда-то должен быть конец, и инстинктивно чувствовала, что способности, воля и разум выводят меня не за классные, а за возрастные границы, что учителя, замученные и робкие, — слабее, уже. Тем временем пришел пятьдесят третий год, а вслед за этим я перешла в другую школу. От моего первого детства остались лишь несколько стихотворений, едва ли их было существенно больше. Важно то, что с ними, с этими первыми, иногда смелыми виршами, замкнувшими мой «лермонтовский» период, пришло ко мне чувство, что я поэт, с тех пор почти не покидавшее меня. Чувство это не было результатом творчества, а, наоборот, предшествовало ему. Оно зародилось во мне, чтобы отвоевать от холода запредельного пространства заветное НИКОГДА, с утратой которого моя душа не захотела и не может примириться.

Мне хотелось бы еще отдельно сказать о матери. У родных своих она не вызвала сочувствия, тетки относились с негодованием к ее эгоизму, рассеянности, невниманию к детям, полному неумению хозяйствовать, а также к тому, что она закабалила бабушку двумя, а потом и тремя детьми. Сослуживцы же отзывались о ней с редкостным уважением. «Твоя мать из тех, кто и золотом шьет, и молотом бьет», — говорили мне о ней. В юности она работала в Средней Азии — и в самые опасные, басмаческие времена. Но, видно, неистребимо было в ней чувство своей неуязвимости, так же неистребимо, как редкое в современной женщине, мною так и не встреченное больше, чувство собственного достоинства, какой-то тонкой, утвержденной, спокойной гордости. В Средней Азии она возила по аулам верхом (посадка у нее была великолепная, природная, ездилла она классом) отрубленную голову измучившего местное население басмача. Всегда ела с мужчинами. Ее открытое, ровное, спокойное лицо в беседах с аксакалами и сейчас на фотографиях тех лет внушает уважение, не утраченное временем. Как грустно мне было слушать уже нынче, в семидесятые годы, свою приятельницу-геологиню, которая рассказывала о том, что она, дождавшись отобедавших мужчин, садилась трапезовать с бабами и детьми. Не думаю, что европейка может чувствовать себя уютно в такой ситуации, — или это иное совершенство, недоступное мне?

В ней всегда было (и есть) ощущение праздника — вина у нас дома почти совсем не пили, не курил никто, мать моя умела быть таким допингом для гостей, заводила их на разные, подчас дурацкие, но веселые игры, любила танцевать. Помню, однажды на Пасху пригласила я гостя, которого сама знала еще плохо, официального скульптора-монументалиста, «украшавшего» окраины Питера разными высокоидей-

ными композициями — плакатами огромной величины. Он пришел поздно, выпил стакан водки в один дух и как-то странно устоялся на мать, которая в это время властным и шутивым движением завернула пробежавшего мимо рыжебородого молодого человека. Рыжебородый было застеснялся, но маменька повторила свой великолепный жест, и танец начался. «Что смотришь?» — спросила я, заранее ревнуя его к своему дому. «Хороша у тебя мать. Вот уж царица. А вы все чернавки по сравнению с ней».

Удивительным свойством обладали ее украшения. На ее руке стекляшка в аляповатой оправе вдруг наливается глубиной, тверже становится блеск, тяжелеет «золото». Что я! Опытные люди ошибались. Ватник, и тот сидит на ней как-то элегантно, во всяком случае, социальный смысл любовью, самой непрестижной одежды перестает существовать. Мать свою в детстве я обожала болезненно, страстно. Видела я ее редко, но ее участие в ключевых моментах моей жизни с лихвой искупало повседневную невнимательность. Именно это вечное «неприсутствие» порождало во мне непрекращающуюся ностальгию по материнской ласке. На ласку она, видимо, чувствуя несоразмерность моей страсти, да и вообще несколько обеспокоенная моей рано проявившейся чувственностью, эмоциональными взрывами, приступами плача, страха, неумной радости — в детстве мне было трудно научиться управлять всем этим, да и в молодости я еще помню вспышки совершенно ослепляющего гнева «белой ярости» и такие же неистовые «плюсовые» пляски нервов, — была на редкость скупа. Голос у нее до сих пор удивительно чистый и мелодичный. И не для пения, а именно в разговоре, в интонации, всегда безупречной. И вот посреди колыбельной, которую она поет, слегка прихлопывая рукой по одеялу, она чувствует волны подхватывающего меня ностальгического блаженства (я ведь знаю, что сейчас будет, и изо всех сил стараюсь себя не выдать, задержать нежность где-то на подступах, внутри) и тут же замедляет похлопывание, сухо, едва касаясь, целует меня в волосы и уходит. Целовали нас только после долгой, многомесячной разлуки, тоже чисто символически, и вообще строго требовали уважения к собственной жизни взрослых. И никогда не позволяли себе при детях ни малейшей, даже чисто внутренней интимности. Помню поздний (для нас) вечер. Маменька собирается в гости. Только что она суетилась около, вся в родных домашних запахах, но вот подсаживается к большому мутному зеркалу, и лицо под слоем пудры сразу становится чужим, не принадлежащим нам. Еще несколько взмахов пуховки, строгий росчерк помады, и из маленького плоского флакончика выжимается несколько капель французских духов. Эти духи, непривычные послевоенной и военной приторно-сладкой гамме, зверски-сухие, с резким отстраненным запахом стрептоцида, подводили черту нашей последней близости. Осторожно наклоняясь, статная в длинном шерстяном платье, она касалась моего лба бесплотным поцелуем и уходила в другую жизнь.

Их было три сестры: старшая тетка Кира, мама и тетя Кари, моя тетка. Она была много моложе остальных сестер, в войну осталась в Ленинграде. Письма ее из осажденного города надо бы как-нибудь издать — это жуткие именно в своей обыденности документы. Кое-как, кажется, в сорок третьем году, она выехала к нам в Алма-Ату, опухнув от голода и навсегда покалевив печень. Потом она поехала к мужу, тоже геологу, у нее родился сын Саша и в 46-м году вернулась в Ленинград. Тетку Кари я очень любила, но она всегда пугала меня необузданностью своих черных страстей. Она меня тоже любила наравне (почти!) со своим сыном, с которым мы дружили и играли. Но я всегда чувствовала это ПОЧТИ. Когда ей чудилось, что сына обижают, она мчалась на выручку, раскидывая правых и виноватых, и могла бы

по дороге в раже зашибить меня до смерти, я всегда в ней чувствовала возможность убийства. Она очень страдала от разлуки с сыном — она училась в медицинском институте, училась добросовестно, а следовательно, все время. Саша был на даче с нами, и я помню черный вихрь, влетающий по ночам на веранду. Она хватала его сонного в жадные объятия, и целовала, и тискала до одури. А я лежала рядом, испытывая ужас физический и духовный. Я всегда своей природой знала, что «так нельзя», и точно. То, что в русском народе говорится «заспала его матушка». Он и сейчас жив, женился, работает в НИИ, но... Лупила она его неистово тоже, чем попало, до синяков и ссадин. И он отвечал ей на это тоже неистовыми вспышками немого непроходимого упрямства, с которым я, когда без тетки, легко справлялась именно тем, что не шла ему навстречу «силой на силу», вообще я с ним, как мне помнится, инстинктивно избегала «методики подавления», чувствуя в нем всегда готовую реакцию на это.

Часто, уже учась в музыкальной школе, я, сославшись на головную боль, не доходила до ненавистного класса. Я канючила и стонала всю дорогу, пока изведенная бабушка где-то посередине не поворачивала назад, и мы ехали к тетке, в большую коммунальную квартиру на Петроградской стороне. Там мы играли вместе с Сашей, там же я однажды испытала острое желание взять с собой хорошенький бубенчик, висевший на шее у ослика. У нас тоже были такие бубенчики, но — связанные по три на противной жесткой проволоке, и я знала, что бесполезно кого-то просить расцепить эту упряжь. К Саше же относились внимательнее, это чувствовалось по набору игрушек, по стопке детских книжек, по чистенькой, хорошо залатанной одежде, добротной и даже кокетливой. Он вообще был хорошенький и упитанный мальчик, а я — тощий, заморенный ребенок. Мне, собственно, хотелось не бубенчик, а знак мужского внимания, отцовских рук, разогнувших проволоку. Папенька мой никогда бы не сделал ничего подобного. Вот это мне и хотелось умыкнуть. Но я быстро справилась со своим желанием. Я «продолжила» его и почувствовала быстро, что колокольчик, вероятно, погаснет в моем доме. К тому же я твердо знала, что брать чужое настолько нехорошо, что даже само это «продолжение» было непозволительной и преступной игрой.

Честность нашу взрослые доводили даже до глупости: например, нас учили играть в прятки не закрывая глаз, учили смотреть и не видеть «по слову», и я теперь это умею — «внутренне» закрывать глаза. Нарушение слова, ложь во спасение — для меня до сих пор серьезная препона, и на вопрос в упор я всегда отвечаю с глупейшей прямотой.

Там, на Петроградской, и произошел со мной один прискорбный случай. Мы шли по Большому проспекту впереди взрослых, как полагалось, чинно взявшись за руки. (Если потеряетесь, стойте на месте, или, если знаете дорогу, спокойно идите домой). Вот мы и потерялись. И спокойно пошли домой, гордые праведным исполнением инструкции. Через какое-то время влетела тетка и, схватив скалку, начала охаживать Сашку, осатанев от пережитых волнений. «И тебе, чтоб неповадно», — завопила она и хлестнула меня по ногам. Что дальше было, я просто не помню. Но, очевидно, я наделала делов, прежде чем потерять сознание, если с работы вызвали мать (в те-то годы!). Нашла я себя на диване оглушенную, мокрую от воды. Нас никогда не били предметами, не били ради битья, не лупили. Попадались под горячую руку — шлепок или оплеуха, но именно шлепок, никогда дважды, прижав, зажав, опрокинув, лишив. Я и до сих пор не могу этого видеть.

Мать вошла, окинула нас всех внимательным взглядом и просто сказала мне: «Одевайся, пойдем пройдемся». Я кинулась к ней, но она

серьезно отстранила меня и повторила: «Одевайся, пойдем пройдемся». Кое-как я напялила что-то там такое и вышла с ней на улицу. «Пойдем пешком, чудесная погода», — сказала мне мать, с наслаждением и явным облегчением вдыхая шумный уличный воздух. За ней вздохнула и я — и почувствовала себя лучше, во всяком случае, ноги меня держали. «Пойдем пешком». Это «пойдем пешком» уже явно, подчеркнуто относилось только к погоде, к удовольствию совместной прогулки, но никак — к предыдущему. «Посмотри, какие красивые здания, — неспешно говорила мне мать. — Как ты думаешь, когда их построили?» (Нам часто задавали на улице подобные задачки). Снова и снова пыталась я что-то объяснить, снова и снова мать сдержанно поднимала брови и опять возвращалась к сомнительным красотам петроградских доходных домов. Так она вычеркнула этот эпизод из моей жизни.

Еще помню, как в самом начале питерской жизни пошли почему-то в аптеку за дополнительной кашей для меня. Я живенько съела эту кашу, которую мне давали на корочке хлеба за отсутствием ложки. Съела и запросила еще. И тут мама, приобняв меня, горестно сказала: «Бедное мое дитя», — и в голосе ее я впервые услышала отчаяние.

Выздоровев и осознав себя, я быстро перешла к экспансии — и окружающего пространства, и человеческих душ, в чем изрядно преуспела. Помню, меня всегда поражала тишина, которая возникала в большом школьном зале, едва я выходила на сцену (а в нашей школе заботились о самовыражении). Тишина эта предваряла мои слова, не зависела от них, больше — от другой какой-то силы. Соблазн власти, плена, в который прежде всего попадала я сама, соблазн быстрого ума, верного ситуационного слуха, умения обобщать и строить, чувство слова долго держали меня. Соблазн был так же развратен, как и полное отсутствие адекватной среды, — долгое время единственным человеком, способным к активному творчеству в моем окружении, была я сама. На какое нравственное дно может увести такая внешне благополучная жизнь — трудно себе представить; и я, и мои близкие долго расплачивались за это. Теперь я смотрю на свою жизнь до тридцати лет как на затяжную болезнь, в которой я много раз неистово тонула, чтобы с каким-то последним всхлипом вытолкнуться и глотнуть воздуха и сил. Мне везло и не везло с людьми, мне было недоступно чувство зависти, в любви и дружбе я не знала поражений, была счастлива в творчестве, может быть, больше по незнанию современной художественной мысли. Но то, что я испытываю, вспоминая молодость, — это чувство бесконечного раскаяния и стыда, и повторяю вслед за Толстым — Боже, избавь повторить этот путь.

1980 г.

\* \* \*

*Б. Тищенко,  
сонет из черных книг*

О птаха малая причина  
Орел печально позлащенный  
Закат дарящий это злато  
Звезда предвестница заката  
Чей строгий образ — говори  
В тебе лицо свое умножил  
Откуда альба прозвучала  
По водам сонного канала  
Где колокольни облик вниз  
Бросал пронзительные иглы

И снова начинались игры  
 И мерно стены возвелись  
 И хор конструкций бестелесных  
 Венчался символом известным.

\* \* \*

Плот лимона в круглом чае  
 Драгоценный сладкий образ  
 В нем души твоей избыток  
 В неприветливом пространстве  
 И как прежде нет значений  
 Там где абрис возникает  
 Испытаний и рождений  
 В завершенном постоянстве

Лампы круг гостеприимен  
 Плоть дивана несомненна  
 Насыщение невинно  
 И умеренна отравы  
 Обаятельного чая  
 И все радостнее что я  
 Вот уж стоя у порога  
 Не на век с тобой прощаюсь.

\* \* \*

*Саше де Скрябину*

Люблю я свалки городские  
 Среди бумаг диванной прели  
 Там часто гибнут равнодушно  
 Купеческие зеркала...  
 Алаверды хрипят гусары  
 Храбрясь над спиртом эмигрантским  
 ..... С тяжелым шрамом от дуэли  
 Стареющий но все картинный  
 Тыходишь в дом страннопримный  
 Тебе нельзя к ее родным  
 У них секретность нулевая  
 И я учту тебя зевая  
 Под утлым скипетром своим  
 Но нет узки мои пределы  
 Ни я цыганка-сербиянка  
 Ни я сметлива по-французски  
 Давай друг Саша подымим  
 Американской сигаретой  
 И заедим мой друг щемящий  
 Ее соленым огурцом.

\* \* \*

Среди картин созвучий и слогов  
 Вовне лугов лежит моя отчизна  
 Лукавых чудаков люблю я речи  
 Люблю их одержимые досуги  
 Закату где соседствует восток  
 Арабской завязью противоречий  
 Невольно в этом разум мнится мне  
 И в этом аскетическом разгуле  
 Почти не темперированных дум  
 Приют свой скромный постигаю тоже  
 И плена изо дня идущих дней  
 Уж нет для нас  
 В заботы погруженных  
 Иные. Но когда длиннее ночи  
 И смутное творение Петра  
 Все ниже наклоняется к дремоте —  
 Я прохожу пустынные двory  
 Лицо высоко подымая к звездам  
 Прихлынет небо и взлетит откинув  
 Так к целостной приходишь тишине  
 Что наших дум поспешных наших слов  
 Лишь музыки нетленное значенье  
 Высоко дышит в потрясенном сердце.

## ЗРЕЛОСТЬ

Все кроме дружества нестойкая любовь  
 Вы знаете как изменяет время  
 Дней круторогих растяженных в детстве  
 Как тело океана подымают  
 Над ними волны неутешна грудь  
 И в каждой встрече зреет неизбежность  
 Разлуки вот что зрелостью зовут  
 Куст бузины и лопухи у окон  
 Сегодня ты как вечно и вчера  
 Но отчего так сушит губы дерзость  
 Тревоги неразумной поминутно  
 И неужели проходящий вдоль  
 Залива луч ударившись о мост  
 И в стекла бьющий мне напоминает  
 Всю неуместность длительной любви  
 Все над работой склоненное тело  
 Живет иначе медленнее дни  
 Кипят в котлах и варево простое  
 Я предлагаю детям и животным  
 Тебе усталому и будто бы во сне  
 Все двигаюсь и двигаюсь закат  
 Тяжелой тенью мягко просекая  
 И сны мои проглатывает дом  
 Так время совершенное любви  
 Над нами сомкнуто. Его страшитесь дети.

\* \* \*

*Мои богини! что вы? где вы?  
Внемлите мой печальный глас:  
Все те же ль вы? другие ль девы,  
Сменив, не заменили вас?*  
А. С. Пушкин

Кумирня в ночь объята пламенами  
Постукивает ботало коровы  
По фотографии ползет тревожный червь  
Пустая рама выдавит из дома  
Прогулка мне знакома  
День за днем  
И ночь за ночью вспоминаю лето  
Иные дни и арку над тобой  
Что живо с час  
Что живо час последний  
Что живо в этот распоследний час  
И кажется что дом дождем объятый  
На мокрой скатерти наполнит нам стакан  
Не видит глаз сквозь пелену капли  
Где птицы несмолкающие пели  
И где теперь в преддверии апреля  
Так каждый наг и так не каждый пьян  
Чем возратить ненужное веселье  
Как возратить стеклу его стакан  
О дом дождя  
На зыбком океане  
Твое подобье нарушеньем стен  
Держалось долго как вино в стакане.  
Но вот пологий ветер перемен  
Еще толкнул челнок его заветный  
И он ответил дрожью незаметной  
Себя отдав телам волны взамен.

\* \* \*

Азавтразавтразавтра  
Но тонкая нежность уходит в неуловимое время  
Кончики ресниц вздрагивают щека запорошена пылью  
Хорошие взгляды подстегают плохие воспоминания  
И мы вынуждены с этим считаться как с данностью зеркала  
Останутся слайды красивые и имена счастливые  
Говорят: здравствуйте вы — человек — легенда  
Устали чаровать внимательны что ни сказано — слушают  
Потом ворочаются в постелях думают: надо же надо же  
А ты моешь посуду посмеиваясь в своей счастливой кухне — она  
осыпается  
Кафель осыпался сыплется потолок крысиные норы  
Золотые тараканы ползут по белой плите ослепительной  
Там варится вкусная каша вкусная даже и завтра будет еще вкуснее  
Завтра в нее надо положить немного перца а сегодня не надо.  
Завтра надо ему позвонить а сегодня я слышу пусто  
И без звонка я слышу — пусто пустая комната  
Завтра он завтра придет и немножно помается

А когда захочет выпить остывшего позавчерашнего чаю  
Раздастся звонок — а сегодня надо сварить кашу  
И только завтра поставить чай а в кашу насыпать перца  
И отправить других в магазин чтобы он пришел первый  
И еще раздевался когда остальные придут и скажут: О! ЭТО ТЫ!  
Ты пришел! Мы купили хлеба  
А пока все шумят и толкаются и отъедают горбушку  
Уйти дочитать про мрачную жизнь Кьеркегора  
Про догадливого Хайдеггера в книжке буржуазное лжеискусство  
Потом прийти с чаем свежим и очень крепким  
Ты никогда сам своих стихов не читаешь  
Их читают по листику на них сыплются крошки  
Капает чай и сахар к ним прилипает тоже  
На них пикируют мухи и ползают тараканы  
Их читают в постелях они летят за диваны  
Наутро их находят и они попадают снова  
На стол а потом кто-то кто сегодня начал новую жизнь  
Собирает их в папку и сверху пишет  
Имя фамилию и автобиографические данные  
И туда же складывает фотографии большие твои портреты.

\* \* \*

Так значит они разбежались  
И так это нужно случилось  
Сначала приходят приветы  
Потом помрачается мера  
Уходит и новые дома  
Ее принимают безмолвно  
А что там у нас в зоопарке  
Нечищены воют  
Некормлены воют  
Недоены бродят  
Короста моча и нарывы  
Фанерная касса забита  
Бумажки летают под ветром  
У нас наводнение скоро  
Наверно они захлебнутся  
Когда это было начало  
Ты твердо наверное знала  
Счастливым конец не бывает  
А кто-то часы наблюдает.

---

---

## Виктор Соснора

### БАШНЯ

27 юн, 4

Виджу: в ночи светлы козы и псы, охотники в бескозырках, гнутые собаки, гладкокожие, и косули — на лбу сук!

Я вижу битву при Сан Романо с безумным воином в красном плаще и с золотой прической; и геометрию копий.

Это Паоло Учелло. Флоренция.

Смерть Прокриды у Пьеро ди Козимо, где неголая женщина легла на лугу, в зелень, торжественные сандалии, и сатир, худенький, с намалеванным ухом, и старый пес, коричневый, грустно-грустный, большеморд, и фон голубой, где бело-желтые дороги, и профили собак, цапель, и водица свежая в море, с уточкой. (Собака сидит, как фигура овцы). Лондон.

Молящаяся Агнесса (Дрезден) — снится с неделю, диалог с ней невозможен, холст-громада, обмазанный плохой краской, но что-то в этой чистоте от девки, нимфетки, святая ведь — это и есть Лолита. Толстая женщина прошла, как ветер, в ванную, девоподобна, а за ней и я пойду с камнями на ногах. Бьют склянки!

Это человек живет по сюжету, а холст не хочет.

Свежие козы лягут, как розы, под нож. Пес-пиявка взойдет в сад, как круг солнца. Конь свят, гнут, как любовник, и светится. У косуль на лбу бивень и голые ноги вверх, у оленей на ветвях рог — оливы.

Я пишу о книгах больше, чем о людях (и из книг). Что ж делать, в людях я не волен, те, кто здесь, — люди ль это, или неразличимые недочеловеки? А в книгах выбор: хочу — учу, нет желанья — под ножицы. Не римс я, видно, не римс я.

Чайки над морем как пружины, стальные.

Старуха с рукой в заре собирает у моря в железное ведро — лампочки, стеклянные, электрические, обыкновенные. Сдаст в цистерну за деньги. На цистерне висит плакат:

**НАРОД — РОДИНА ЭЛЕКТРИЧЕСТВА.**

Лампочками украшают жизнь.

Лампочки выходят из моря.

5 юл, 4

Леонардо создал сфумато, то есть не стиль, а тип, иной мир живописи. Этот прием стал фетишем Рафаэля и школы. Рафаэль — не ученик из мастерской, хуже — он ученик-не-ученик, схоласт. Всемирные восторги о нем — та же ситуация, что Платон и Аристотель. Один — создатель, второй — популяризатор. Популяризация, т. е. снижение приема Леонардо до описаний фигур в свету у Рафаэля, — это живопись для низов. В истории краски Рафаэль уж скорей предтеча двух течений дурного вкуса — рококо и реализма. Потому что он из первых, кто цвет превратил в яркость, а форму — в лирическую аллегоррию. У Леонардо: матрос, святой, мадонна, ангел, Варфоломей — во всех, не скрывая, да Винчи писал себя. Есть и женомуж — Иоанн Креститель, тоже автопортрет.

Кем был Леонардо, и не перечислить — лингвист, геометр, изобретатель леонардесок, баллист, скульптор, архитектор, первоначертатель латинского алфавита и т. п. Естествен вопрос: человек ли он? Если

за историю людей некий не имеет себе равных, разве ж не вопрос: а человек ли этот, среди людей? Это себя он вписал в круг Витрувия — как классический образец соразмерности. Жил он мало, 67.

Не сетуй. Человек-оценщик не готов к явлению гения. И только тот, владетель Золотого Маятника, укажет вдруг пальцем на ту или иную личность и качнет маятник в ее сторону — вот ОН! Это голландцы, это Брейгель «культивировал интерес к человеческому коллективу». Это о Брейгеле: «При этом коллективное существование людей он находил нужным изображать как лишенное разумного начала, оглувленное, или заблудшее, зашедшее не на те пути, которые бы могли вывести его на широкую дорогу осмысленной деятельности». Брейгель не учился и не имел учеников. Он дружил с Альбой. Он ненавидел людей вслед за Ян ван Эйком, Рогиром ван дер Вейденом, Гуго ван дер Гусом.

Голландцы очень дорожили своими картинами как денежными единицами. Они копировали их и продавали в разные страны. Копировали — себя. После гения Иеронимуса Босха, собственно, кончается великая живопись и начинаются торговые дома. Нельзя верить художнику, который копирует свою картину: оскотитель. А поздней вообще уж не холсты, скобяные лавки Гобсека — бесконечные груды чайников, ложек, чашек, рюмок, еды во всех видах, посуды и мебели, — Гобсек, скрещенный с Гаргантюа.

У Леонардо — один он. Я — золотое условие искусства. Да и судьба его работ бесчеловечна. «Тайная вечеря», не имеющая равных в мировой живописи, а он не захотел ее делать водяными красками, он опыт ставил, т. ск., — фресковая живопись с последующей доработкой маслом. Но стена, на которой фреска — так уж вышло, — оказалась сложенной из камня с примесью селитры, а то есть — выделяющая влагу.

Далее: чтоб удобней ходить из кухни в трапезную, монахи пробили стену с картиной и врезали в нее дверь, уничтожив квадрат с изображением ног Христа. Бия кувалдой дверь, расшатали камни стены, и осыпалась известка с краской. Пары из кухни — 200 лет! В 1796 г. армия Наполеона заняла Милан, и в трапезной делла Грации устроили конюшню, потом склад сена, а потом тюрьму. С «Тайной вечера» позднее смыли автографы 678 уголовников. В апреле 1946 г. при бомбежке Милана часть трапезной была разрушена. Потом об этом я продолжу.

8 юл, 4

Море выбросило доску, а на ней — гуси, рубленые. Котел я найду, лук уж куплен, масло, но ТЫ. . . Пошли-ка нам еще и бочонок кислой капусты! Мы сядем на два-три бревна у костра, как в день Страшного Суда, закроемся крышкой и будем думать о воздушном столбе и кто на нем стоит, недоступный оку, или — какой маленький куличок, не-сется от нас, как свистулька!

Яркое море. У моря бегом, с топотом, ходит лысый, с грудью, с шелковой головой. Дождь идет, и свет горит.

Льетесь дождь, заливая плоскости стекол, как лед, стекая вниз.

Лампочка включается и выключается, грозовые помехи.

Конец дождю, день.

У моря двигатель-бегун, усик, красочный, на голое тело у него надето электричество.

Еще был на виду щеголь-парус, живот, цветной жилет, с кормы рыбак ловил рыбу — могучим ртом! По небу над ним взревел Белле-рофонт, пал, как азбука Морзе, вниз, и две ноги, розовые от зари, еще долго болтались над водой, сгибаясь в коленках. Б-фонт пал с верха воздушного столба и, влекомый ко дну, все ж вышел из волн и побе-

жал к моему окну, усы как после дождя, облысевший летчик. В нем, как и во мне, живут два тела: одно вечное, и это Экипаж Вселенной, душа. Это — и Б-фонт, и невидимые колеса Орфея, привинченные к ногам, в путь к водам аидским и от них — в этот мир. А зачем? Греметь в лиру рукой и быть убиту дикими девками в ванне? Чтоб оторвали Ы-рабыни голову и бросили в Гебр?

Утешает разница: Орфей был Внизу, а я Вверху, он имел аудиенцию с Черным, а я с Белым. Ему сказали: не оглянись, а то потеряешь все. А я, видимо, все потерял, и оглянуться-то не на кого. Но это — Путь, и этот Путь близок идеям и далек людям, телесное мясо легко сходит с человека, а Экипаж Вселенной ждет, запряженный.

Вечер вышел с солнцем, обошлось без грома, не считая ушедших туч. Орфей — не юность и не верность, Орфей — царь, зрелых лет, первооткрыватель математики и первый музыкант догреческого мира, полководец, поэт ясный, учитель Пифагора. Орфей — фракиец, Пифагор — скиф, а остальные — греки.

Александр Македонский, защищая границы Греции, дошел с плугом до Индии. Если б он опоясал войсками Земной Шар — защищаться было б не от кого.

Геродот:

«На одной стороне лежали кости персов, а на другой — египтян. Черепа персов оказались такими хрупкими, что их можно было пробить ударом камешка. Напротив, египтянские черепа были столь крепкими, что едва разбивались от ударов большими камнями. Причина этого в том, что египтяне с раннего детства стригут себе волосы на голове, так что череп под действием солнца становится твердым. В этом же причина, почему египтяне не лысеют. Действительно, нигде не встретишь так мало лысых, как в Египте. У персов, напротив, черепа хрупкие, и вот почему. Персы с юности носят на голове войлочные тиары и этим изнеживают голову». Что тут возразишь? Что ни логос, то шедевр. Я лыс, как перс, по Геродоту. Утром я бью молотком яйца всмятку.

10 юл, 4

У кого толстые ноги — у того расписание жизни. В 10.50, откуда ни возьмись, у моря идут толстоногие. Может ли быть толстый зад на тонких ногах? Может, если он в войлочной тиаре. Кто толст, тот держит под мышкой гитару, как топор с топорщиком. Единственный с толстыми ляжками, вызывавшими гнев и зависть иностранцев, был полководец А. В. Суворов, русский. О нем дурно писали тонконогие пруссаки, что он брился на поле боя. Не знаю где, но он всю жизнь был брит, как император Павел Первый.

14 юл, 4

Чайки на отмелях — центурионы, старая гвардия Наполеона, с белой грудью в стальных сюртуках.

Ну, выше голову, подними нос!

Я поднял голову: на скале женщина, на ней мужчина, на нем ребенок. Все трое стоят в красных плавках друг на друге, на плечах.

О Боже, зачем?

Вода, движущаяся по телу со скоростью выше ливневой, — в ванне. У рабыни Н в ногах винты, длинные и неумолимые.

Восход — это круг над линией мира. Взойдет драгоценный диск — включую кран, беру мыло. Будь готов, что над гладкокожей водой, мылясь, встанет в окошке человек с книгой, это — риф Орфея в море безнадежности.

Я сплю на спине, расслабив до свисания кисти. Спать бы так всегда, но уж нужно стать собакой.

Спит стол в темноте, лампа спит. До пищащей машинки нескоро, до утра 7 часов, книги спят, опять же, как собаки, пока их не тронут, а тронут — с громом проснутся. Спит стакан. Вот огурцы, к примеру, спят голые и не стесняются, — думаю я, как Марсилио Фичино, глава и основатель Флорентийской академии, который все думал о волках и ягнятах.

Если приоткрыть золотоплюшевую занавесь, мы увидим: белый пудель ходит по темным тучам, метемпсихоз. Нога болит.

17 юл, 4

Если Ной жил 950 лет, то что ж делали в это время остальные? Их было так мало, что Ной мог жить долго.

Жизнь людей делится на всех; чем меньше людей, тем дольше они живут.

Фрейд — поэт, а не медик. Смешно приписывать талантливому эссенсту-литературоведу рецепты и панацеи от всей психики людей. Фрейд, одержимый импотенцией, видел во всем сексуальный смысл, болезнь. Широко обобщая, Фрейд сильно обобщил человеческую психику без учета географии да и вообще людской сути. Деторождение не есть секс. Больше всего детей у импотентов и фригидок. Слить семя и принять его (!) не любовь и не эмоция, а механизм земного бытия.

Грех — большая редкость и ценность. Народу не до греха. Грех — это рок. Все живое будет грешить, а мертвое — писать законы.

19 юл, 4

Жалко девочек, кому 14, они родят тех, кто уже не увидит на земле зверей. Пропадут звери, а человек не пропадет, он будет жить, тот же.

Они не увидят рыб. Только куриные рыбешки тиражом в миллиард в общих аквариумах. У них будут крысы, кошки и голубь. Кенгуру не будет.

20 юл, 4

Можно описать воду в стакане не хуже, чем в море.

И все же в стакане воды нет световых лет, нет палуб и Гомера.

24 юл, 4

Сердце звенит, в ночи оно бьется плохо.

Вешний звон вьюг в ночи и летние ноты дятлов, весенний, осенний лист в стае тех, кто летит. Но лист, как солдат, лежит на земле. Как собака, которой солдат дает приказ — лежать! Тусклый лист, летая, лежит, — можно и так сказать. Земля лежит под ним. И земля, летая, ляжет под лист, а он ляжет на землю; и нет отлета ему, скоро снег, пойдут — день за днем — твердыми шагами по тем, кто летал и летит (без аллегорий!). Снег идет круглые дни и летает в ночи, звеня, тихий хитон он; свежестырянный, белосветлый.

И ветер войдет в дубовый сад, летая. Во что ж дует ветер, как буря? В рот вставлена труба из медного железа, она широкая, громадная, она летает вокруг, как птица, с поющей грудью и с осой на губных дольках, — беда у губ, беда.

Весь рот вырвет труба, вставленная тем, кто и хотел бы звона (звукового!), да не дают.

Светлый образ грома, выстиранные ткани — все голубое!

Дождь летит, жаркий кот сидит на столбе, держит в лапах ток столба электрического.

Дождь и дрозд, как зарифмованные, сидят на нотнo-электрических проводах, держат в лапах ток столба, и вот встают, и оба летят, а столб — что? — ничего в нем нет, один столб в нем.

Скоро много рук, скоро, скоро! Летят они с до свидания вод, с кай-

мы Ямы, где тысячи туч чернеют, оттуда свет, долгий звук журавлинный, летит с шелестом: «курлы-курлы».

Курлы, орлы со страниц! Курлы, рули голубого Бога!

1 авг, 4

Долго живет убитая роза в графине. Одна роза шестой день не опадает. Я пишу, как соловей садился к ней на грудь. Грубо! Он шелкал, он пел — и пошло.

Пошло петь! Одна роза и графин из тонких стекол. Мертвый черенок с сухим галстуком в пунцовой шляпе в графине, как в аквариуме. Не эту ль розу бил шмель, антисоловейный? Не розенкрейцер. Почему соловей — любовник? Где в роще соловей берет чайную розу? В лесу шиповник с чаем. Рисуют соловья с короной, с бровями, с райским хвостом. Лапы у него женские.

Роза — это соловей. Вот и классифицируй по Линнею.

3 авг, 4

Я люблю обувь и помню сапожки па-де-катр, полонез; мне милей котильон. Помню, по типу испанского сапога, ботинки с длинной шнуровкой, они гнулись.

Люблю ошейник с гравировкой по ободу, собаку, альпийские фиалки и голос, певший:

— Что же делать, если обманула та мечта, как всякая мечта?

И вижу я! — сороку, летающее, с хвостом авиации, с двумя зонтиками, натянут на спицы пестрый шелк, с двух сторон черных раскрылий белые мазки по черному, летуча; жизнь, распластанная на воздушных слоях.

У сороки театральный грим, и платье-плиссе, и хвост со свистом, как нога!

И я скажу: я все сказал, до следующей смерти, други!

9 авг, 4

Туман — неотложный, как стекло, а я за двойным.

Деревья-стоймя, как бревна. Да и пилено на кругляши — люди, машины; температура с отпиленным градусником 25° выше солнца. Снизу и доверху по скале вьется пандус, стирают веревки и висят на них. Живут хоть в грязи, но в чистоте.

В скале прорубили ворота в форме Нотр-Дам, а над ними — оконца, а в них я вижу дула пушек. В воротах стоят бетономешалки и боевые лестницы, кипит смола — к защите готовятся. Вдоль дома, вдоль моря проволока; и справа, и слева, на расстоянии, две будки для полисменов, из бронированных бревен. В будке дверца сзади и отверстие, с толстым стеклом, — спереди: по одному на будку в них — полисмены, с кефиром, белым.

В скале вьют гнезда, множества; свили. Сидят на камнях, как птицы, ноги окольцованы. Губы у них большеваты, уши плоски и с кисточкой. Цветы не водят, собирают дожди в лохань и пьют.

Они бегают по лестницам, несут суп и хлеб, кость от ног свиной и быкицы, это в праздник, когда киты рожают. Кость сосут молодо-матери, чтоб стать сочнее, авитаминоз якобы. А что в кости? — дуют ветры.

В жестокую нужду всегда много кудрявых. О работе — ни слова, моветон. Я видел не раз, как солдат в белой шинели, сняв автомат и нож, давал рабу-ДА пачку денежных знаков, только за то, чтоб раб-ДА взял молоток и ударил солдата по каблук, один раз.

Не берут. Лучше будут пить из стекла алкоголизм и лежать на матрасе в красную полоску, как пара, спиртоводочная.

Скалу строят.

У вершины кружатся орлы, они осеняют людостройку. Бьем лома-

ми! Кто эти, строители скал? Уж не хамиты ль из Книги Бытия, люди царя Нимрода? Бог дал на рабскую судьбу, а они взбунтовались и стали строить дома, высоченные, чтоб достигнуть Бога и указать на свой слог в камне. Нет, не хамиты, нет у них дерзкой идеи. А почему в такую высь лезут?

Я видел, как тянули корову вверх, на деревянном ошейнике, и она ничего, тянулась, содрогаясь. А свинью тянули, привязав за туловище у лопаток, голова узка, выскользнет из оков и вниз, всмятку. Я вижу, как тянут новых женщин вверх, на крюке, под подбородок и — поехали! — под венец! Мужчин не тянут. Они идут сами по скале на четвереньках, обмазав конечности сладким; не срываются. А отроки и отроковицы — это уж продукт жизни семей, ничего не поделаешь.

Днем все плетут гнезда из соломы, сена и луковиц, смачивая это слюной; плюются, одним словом. После жизни в скале прорубят окна, вставят двери, обстрогают этажи . . . Я не бытописатель.

Муж, жена, ребенок-римс, в кепи, и черная собачка с волосами до плеч — все так и сидят в окне, не мешая жизни. На заре они розовеют, днем как зеркала, а вечером — муж: в зубах гиря 16 кг, жена: ребенка держит, как жернов, а песик сосет белую бутылку; в полночь все впитывают лунный свет. Жизнь у рабов хуже, чем у королей? У королей хуже: как ни эксплуатируй, а конец скоро — гильотина. А рабы — народ свободный, с деньгами, одно тяжело — воруя.

Старушки сидят на табуретах, голые ножки, подола чистенькие, в простокваше, носы синие, глаза состоят из стекол, а на груди фанерка с надписью «Хочу есть яств».

11 авг, 4

Хирург Г. Рурих:

— Я расскажу о своей фамилии.

— Зачем?

— Узнаешь, кто я. Фамилия древнейшая, род старинный, родоначальник — Рюрик.

— И ты?

— И я иду от царей.

— Ко мне ты уже пришел. Пей!

— Не нуди! — сказал я. — Придумай другой прием. Если учесть, что фамилию тебе придумал я в первой главе, то фантазия у тебя сработала недурно. При чем тут Рюрик, буквы совпадают?

— У меня в сундуке старинные грамоты и гравюры.

— Купи о Цезаре и сходи в сумасшедший дом. Ты спроси у Аве-Аведь, как с психикой, не переалкоголизировалось у тебя? Я объясню твою фамилию, если уж ты вперился. Г. Рурих — это буквальный палиндром таблички «хирург», которая у тебя на лацкане. Читай: ХИРУРГ — Г. РУРИХ. Читай же наоборот!

— Совпадение! Когда ты открыл глаза, ты еще был никто, как и теперь, впрочем, а я уже был хирург Г. Рурих! А ты не собираешься вспоминать, кто ты. Да ты-то прав. Объявить во всеуслышание, кто ты, равносильно: съесть пулю с цианистым калием. Вот и мне ты придумал псевдоним-палиндром, хоть в конце книги ты немало будешь удивлен, что это не так далеко от истинной моей судьбы. Абсурд случится.

Еще. Если ты — это ты, о ком мы думаем, что ж, жить можно. Но если это другой. . .

Он взял склянку с длинным туловом и выпил залпом, спирт это. Я взглянул — он брал склянку рукой резчика мяса. Главный хирург ФРИ, маршал медармий, какую звезду еще ищет? Кем, хотят, чтоб я был? Кто — они, почему строят скалу все выше и вокруг, чтоб из стекол смотреть на меня в сотни миллионов глаз; и бояться. Меня бояться

империи, люди с дулом ходят по шоссе круглосуточно, самолеты летят сомкнутым строем, из всех дыр поют обо мне, не много ль? Уж не мировая ль это монархия оперных певцов? — в изъяснительном наклонении.

О чем шумит хирург Г. Рурих? О крови — не врет, очевидно, иначе б я не был жив. Видимо, уверены, что я — Иоанн, названный брат Христа. Или берут выше?

13 авг, 4

Это ветер, дождевой диск идет вбок, лицо затмевается дождем. Если метафоре нужна расшифровка — выкинь ее.

Тучи уж тоньше и пленочней, уж в выси облак горит.

Люблю толпу, по шоссе, у труб медового цвета, и трубы яркосверкающего белого металла, сколько ж флагов, звону! Будто негр бьет в светлые и медные ладоши. И я топаю ногой по комнате. Народовластие, толпотворение. Самолет — летает, крест с гвоздем, вбитым в ноги, и с двумя гвоздями на крыльях, но летчик не Спаситель, а телесный субъект с кровью рук. Летчик — животное, в нем убита опасность, а самолет — резерват. Солнце ему — как разрезанная луковица, но и оно не режет, без слез. Как глупо! Стоило да Винчи выдумывать воздухоплавание с первым вертолетом, чтоб, сводя веки от скуки, летчик с четной головой кружил свой крест! Не борец-Цербер с планетарной тяжестью, атлантоид, а в машине с дохлой кожей от синей куры.

Нет ног и женского огня в лесу, всюду кресла вместо лошадей. И желтый лист не только не едет ко мне, — но, как уголь, и светит.

Пруд, горящий в первых строках книги всеми огнями словесности, — и его нет. И гвозди из самолета выдрал кривыми клещами сапожник небесный, нагретый.

Скоро всего будет вровень — и людей, и камней. Было и будет: вулканы всколыхнут пруд и утонут в потоке. Утонут ноги и книги.

И люди, как лодки, будут тыкать пальцем в другого, плывущего вслед, — это он виноват во всем, и ноги перевесят и уйдут на дно. Все ноги и навсегда.

А книги, написанные конькобежцами жизни, останутся, их съест бацилла книгопечатания.

Жизнь держится на грани грусти и сумасшедшего дома. Ее полно-та! Некий нео-Ной возьмет из ванной неких женоподобий, купит атомный ледоход и уйдет туда, где жара реже, к ним в жизнь войдут кошка и крыса, и влетит голубь, и размножимся, новые, без забот. И они напишут.

Страшно подумать, что и они научатся писать.

15 авг, 4

Из моря вышел человек, на голой шее шнурок с алюминиевой бляхой, выбит номер 666, подвластен, а в руке бутылка, на ней ярлык 777, это портвейн, полный алкоголизма. Он скажет: шел с dna вплавь и пришел. Кто ему ответит? — кто ты?

Бронзовобородый, махнул бутылкой и пошел в мокалинах, звеня номерком на груди, мимо моря, за угол, как снаряд, выпущенный из гаубицы 162 мм, взрывая землю носками ног, отбрасывая от себя кошку, крысу и голубя, а недочеловек 5-6 лет на велосипеде о три колеса, в слезах ко всему взрослому миру? Не сбей с колес велосипеда, он запомнит на годы и отомстит, наехав тебе на хвост на автомобиле в 19 лет. Скоро откроют секту ММ (молодые мстители).

Котик, длинный, с головой тигра у моря, лопатки торчат, черные, напряженные; осматривает волны в окружности, открыв оба глаза во всю ширь, усы дрожат, тонкие.

ХЫ-рабыня в хрустальных шлепанцах на босу ногу, с руками впе-

ред, с косой волос на спине, как бревно, седое. Она крадется, ее котик. А он — как волна з ветреную погоду; а серая чайка в элегантном костюме, с кинжалом в зубах — обращает на него внимание. Тот, с телом, бороносец, выпил и лег, как шел — в песок, всунув голову в плащ на шелковой подкладке, рядом легла НЖ-женщина, как бизонца, забинтованная.

В свежезабинтованных фигурах, а вообще-то в чистых бинтах, в их бескровности — что-то порочное, изощренно-сексуальное, чем крепче забинтовывают, тем туже это жуткое ощущение ирреальности акта.

16 авг, 4

День за стеклом немытым.

За стеклом сижу я, и мытым, а за другим ходит день, немытым он.

Несут грибы, корзинки ведробразны. Ах, как солон запах свежих грибов, сыроежки! Я их не ем, что ж, что запах, можно ль есть можжевельник, от него и запах сальный, царский, с малым алтарем Филиппо Липпи в углу.

На балконах висят веревки; то ли вязать будут, то ли вешать многих, веревок не счесть.

На веревках (протянутых) висят пьяные, согнувшись вдвое в области живота, как в тумане.

Берег зарос розами, пора давно отцветших роз.

Вошли в моду капюшоны, как у монахов. Брезентовые, синтетические, вельветовые — сколько их, надвинуты в виде зюйдвесток на брови.

Стоит ли строить сюжет, если жизнь так сжата, что не успеешь и рот раскрыть, как тебя уж за язык щупают — какой он, отварной? Какой уж из меня сюжет!

Горят трубы в моей ванной.

В светло-желтых рамах из липы, в липовых, — зеркала, охлаждают воздух стеклом и разгорячают тела. Тела не мои, я в зеркала не смотрю, тела женщин, но об этом я пишу чуть не на каждой странице; усталость. Стены ванной — кафель, синий, фаянсовый, и картинка из фаянса из Гамбурга, на ней выпукло изображены: пастушка Маргаритка и дьявол с толстыми ногами, уши и рога у него в виде маски и усы офицерские, как на лубке, но это дьявол, настоящий, из народного творчества Германии, бюргер.

Я обязан описать ванную, а то скажут: не владел описательным даром. Я — владею. И продолжу: он увидит ее (дьяволопастушку).

Сейчас этот секрет утерян.

Не пастушек, тут никаких секретов нет, а фаянсовых картинок: откуда они и кто их лепил? И кто — дьявол? Никто не ответит. А картинка — художественная редкость, по ней одной скажут — был вкус.

Белопотолок, в нем граненая люстра, не висячая, а впаянная в бетон, искрит. Красный бархат для ног, чтоб выходить из ванны двумя ступнями (по одной) не на холод, а на бархат; ступить. У фарфоровой раковины стеллажи, сосновые, пахнут лесом и морем, потому что малые корабли пахнут свежеструганной сосной. На полках духи, помады, кремы, туалетная вода в графине с золотой головой. Весь этот запах перейдет с полок на женщин и, выйдя из флакона, станет запахом их вымытых тел, — фраза витиевата, но и они с завитушками.

17 авг, 4

Здесь солнце встает рано, но попадает ко мне в 20.35, если буря. Если в море буря, волна встает, как горячая красная башня, но это от солнца, бьет в волну, сверкая из-за спины дома.

Если бури нет, у морской глади чешуя, то ли кто-то фонариком

посвечивает из-за плеча, но яркости, как в бурю, нет, и красноты нет, и фантастических башен, состоящих из брызг, световых,— нет.

Спокойно.

И горько.

И я говорю себе: ты знал, зачем шел в море.

Смотрю вниз — никого, не ходят. Летают, что ли? Зимой хоть снег посыпают солью, чтоб зима мокла и снег легче сходил. Самый смешной день будет, когда обнаружат, что съеден последний центнер соли. Почти то же было с сельдью. Но сельдь плодится, и ее разводят в притонах.

Соль не плодится. Он близок — и этот день.

Рабы уж с волосатыми руками, в обезьян перерождаются, в высшую ступень, с лукошком. Или и это мутанты? Иных нет в поле зрения. Если Бог создал мужчину, а дьявол женщину, то Бог зря рубил дрова, а дьявола зря ругают — мужчины носят кирпичи, как петухи, а женщины плодносят. Войны нет.

Может, всю ночь здесь шла война и всех вырубил? Почему ни одного дурака под окном и не бьют тарелки?

В ванне — (голеностопная) гуцулка, тощая, как портсигар с гравировкой. Но она в ванной, не на улице. Без декораций пейзаж пуст, темнота.

На скале висит балетное платье, с морщинами; высохнет — морщины изгладятся. Много красных ватных одеял с перил — красота-то какая!

#### 18 авг, 4

Раб и вор — одно. С тех пор как отменили телесные наказания, пошло воровство. А потом отменили и охоту на рабов, тут уж сам бери пулю и стреляй в лоб болвану, чтоб не воровал. Переоценка ценностей, теперь антихрист — раб, это его народ, вор, — вот что дает дума о времени.

Нет народа во дворе. Неужели и не будет? Ничего, это неплохо, только вот неоткуда будет людям родиться.

А без людей и гений не возьмется. И так, оставим кесарю кесарево, а слесарю слесарево. И не будем, как нубийцы, рабоносцами. Проклятая ворона ходит по камушкам. Двор ровный, никого. От тополи (дуб голубой) из первых глав осталась оглобля, все в ней высохло. Голубь хуже ворон, куда хуже, хватает на лету куски с вареньем, в изобилии бросаемые рабами вниз, от переедания. Значит, люди есть, но не высовываются. Ясно и почему: чтоб на кончик моих силлогизмов не попасть. На скале много чугунных лестниц. Может, спеть — сквозь чугунные перила ножку дивную продень, — это рабыне-РА, которая смотрит в окно, как акула.

Дождь, как желток, он оранжевый и темный, как вечер. После дождя много стекол. Светло-серое небо. 21 час.

Три засушенных пиона в бокале как три засахаренные розы. Цвет выхолостился, и сиреневый.

#### 19 авг, 4

Хирург Г. Рурих спросил, не генерал ли я.

— Чего генерал?

— Армии!

Честное слово, сдурел. Он дал мне очки, вправленные в трубу, и сказал:

— Смотри.

Я смотрю: все читают письма Плиния Младшего. Я обвожу очками скалу, снизу доверху и крест-накрест, пещеры, затянутые стеклом, на

балконах колеса от бомбардировщиков. У всех стулья, в руках том: «Литературные памятники», «Письма» Плиния Младшего,— раб-римсы читают.

Плиний не жив, он в области чистого разума, но и нынешних рабов пленяют мысли этого писателя писем. К примеру:

«Плиний императору Траяну.

У жителей Прусы, владыка, баня старая и грязная. Они сочли бы благом постройку новой; мне кажется, ты можешь снизить к их желанию. . .»

А император Траян отвечает писателю о бане:

«Траян Плинию.

Если возведение новой бани жителям Прусы по силам, то мы можем снизить к их желанию, лишь бы для этого не было новых обложений. . .»

Пусть строят, лишь бы на свои деньги.

Это-то и удивляет живых со скалы. Сейчас на свои деньги не до бани: и денег нет, и арестуют за святотатство. Моются в железных корытах, стоящих на ножках. Лягут в корыто, а на них льется с потолка вода, со всех дыр. Полежат в этой воде, а смыть не решаются — вода ржавая, полотенца измажут, попадет в глаза капля, глаз лопнет. Часто оступаются со скалы раб-римсы, ослепленные ржавой водой.

Мог ли думать Плиний Младший, что через две тысячи лет он станет бестселлером? Мог. И стал.

Он ведь идеально народен, а то есть никого не видит, кроме себя. Он глядит на розу, но не видит ее цвета; боится бури и грохота; не отличит пенье двух птиц — толстой и тонкой — на тарелке; из всех зверей земли он пишет об одном кабане, да и то поджаренном; он не знает, как зовут его лошадь, и не содержит собаку (охотник!). Плиний малоодарен, это свой во все веки.

Как раб-римсу не читать Плиния Младшего по образованию? Если у него диплом и он чтец по слогам? А уж братья за книгу — так уж пусть она стоит 4 фунта 50 дюймов и написана древним римлянином, полночным.

В моей ванне — новинка, девушка с двумя ногами, толстыми, как листовое железо, ее не проймет и гром гирь. Голос ее — логопедический, зовет меня, для чтения римлян; скоро мы с ней уединимся. Солнце уж смешало краски, петухов перерезали, жаль их, были как дудки. А собак полно, стоят, не шелохнутся, на всех путях. Псовые реки текут вдоль моря с лаем; едят сырых чаек. Кому гадость, кому лакомство.

Девушка из листового железа — в ванной — ест жареного чижа. И читает Плиния Младшего о выборе семьи.

Желтые стены у меня в комнате, как в сумасшедшем доме. Без осенних пейзажей тоскливо. Рояля нет, я б его раскрыл. Выявляется откусанное яблоко, некрасиво; собаки нет, лошади тоже. Нет понятия судьбы у стола. Буду ждать вечера.

К вечеру взгрустнется (может быть!).

Но взгрустнется — не взвизгнется. Хорошее слово, да не то.

Ем картошку, молодую, румяную, со сковородки. Помидоры, огурцы и редис — нету.

Тучи идут, море стоит. На горизонте волн — молнии, но и горизонт стоит, насуспенный. Это император Траян насупился.

Это значит — император Траян наелся супа.

И я насупился, я хочу сказать, что и я не хуже наелся супа.

Траян насупился, Плиний наелся супа, а я не хуже их.

Такое очеловечивание императоров! Я написал бы иное:

«Ведя крайне скромный образ расточительной жизни, обладая всеми телами и имея ум, выведя Римскую империю на сцену жизни и

осветив ее своим пением, дав государству театральную славу (бескровную), император Траян сказал, беря кинжал для самоубийства:

— Раб-римс еще вспомнит, кто из нас насупился!»

Плиний Младший. Он обыкновенный, похожий на А-раба и Я-раба. От А до Я он похож на всех.

По ТВ:

Мужчины с мокрыми волосами что-то пьют из тонких стаканов, играют в рулетку большой и плоской палкой с сеткой, ею бьют по белому мячику, а миллионы народов смотрят. В амфитеатре много женщин и зонтиков.

Увидишь живую руку человека с венами, и не хочется равенства. Земля крутится и так, без эмалированного таза, синего.

## 20 авг, 4

Ветер гонит волну песков по всей земле, он дует в дом, обмахивает стены, я его вижу у окна.

Задует все.

В море рыба как скульптура для литья. У рыб нет притока свежей крови, их скоро не будет.

В ванне лежат две девицы одной диалектики. Туда же идут две девушки с выпуклой грудью. Вот их и четыре (две по две) — учетверенная глупость.

Аристотель, ученик-удачник у Платона, учитель Александра Македонского.

Фома Аквинский, сын графа из Ландольфа, родственник царской семьи Гогенштауфенов, Ангельский доктор, окончивший два университета, Парижский и Кельнский, лучший ученик Альберта Великого фон Больштедта.

Система Аристотеля: 1. опыт 2. искусство 3. мудрость 4. знание. Система Фомы Аквинского: 1. опыт 2. искусство 3. философия. 4. иррациональное знание (здесь религия — лишь в том числе). То есть: система Аристотеля — всеобщее и принудительное образование, а система Фомы Аквинского — ИНТУИЦИЯ.

Фома Аквинский глубоко ненавидел Аристотеля, и первый всемирно перечеркнул его. Чем тотальной деньки, тем больше любви к Аристотелю, тут уж он показатель.

Но идентификация: Я — Аристотель — Аквинский — женщины; эта четверня, неуместна: тех нет, я — некто, а женщины — тушки!

Чтоб не писать ахинею, нужно написать о камбале.

Камбала — это бык видимых вод, она, как и все рыбы, напоминает кошку, у рыб от природы кошачья морда. Кошки и бегут к ним поговорить, а те им в морду тычут.

Кошка вышла из рыбы, неся на сушу круглый рыбий глаз, кошачий. Об этом пишут все экспедиции в глубь веков. Рыбья чешуя у кошек превратилась в шерсть, а далекий предок льва — килька, с завитым хвостиком, голова раздулась от ярости.

Однажды епископ Кентерберийский, читая газету «Таймс», был ошеломлен известием, что Ч. д'Арвин еще не арестован. Епископ так растерялся, что вложил в телефонную трубку телеграмму и послал ее в Королевское общество, объясняя, что Ч. д'Арвин еще на свободе. Королевское общество, не менее удивленное, чем епископ Кентерберийский, послало к Ч. д'Арвину воз свежей свинины и свою конницу. В конце концов, тот ведь швырялся миллионами лет, как спичками, как будто это он Бог и никто другой. Он считал, что человек вышел из теории д'Арвинизма при помощи рисунков.

Но, поев свежей свинины и объезжая коней, как мустанг, д'Арвин пришел к контрреволюции. Он сказал епископу Кентерберийскому: все было как есть, все и всегда. Но у людей (739 млн лет назад) появи-

лись ученые, и в сети экспериментальных войн, идеологий и лабораторий они стали выводить мутантов с измененным генетическим кодом. Вместо ожидаемого мира на Земле они вдруг получили неуправляемые миллиарды мутантов, плодящихся напропалую.

Человек развиваться не может дальше человека, а дичает сразу же. Превращение человека в австралопитека — дело нескольких лет, что и доказывают раскопки: контрэволюция вверх, путем мутаций. Бог суров и не позволяет баловства в этой жизни, а в той, как известно, фокусов тоже нет — ТАМ блаженство.

21 авг, 4

Пока я пишу, темнеет; золотое зарево блеснуло.

Закат еще не закончился, и светлый бог высот строит из красных кирпичей стену заката, пирамиду, сдвоенную в треугольниках: все видимое глазу в красном.

Вдруг и краски — мутанты?

У скалы и этажи-стеллажи, куда вставлены люди, как книги с корешками — библиотека рабовладения.

Тонет ли бетон в расплавленной воде, живут ли инженеры?

Кто не знает, для чего кует челядь из редиски — рубины? Я не знаю о многом. На улице лучи, последние; гаснут, и всюду густо. Мрак, ночь.

Спать хочется под одеялом с переливами голубого под голубой лампой, после воды, вылитой на грудь; прыгаю в кровать, легкий и раненый; ничего не болит, смерть прошла, жизнь нейдет.

Стемнело, и темно уж; свет в окнах, как в яичной скорлупе. Шумят ряды мятущихся (волн). По шоссе, с малиновыми огнями в руках, как ряды непрерывных дробей, идут спать (люди). Уж за полночь, а идут.

Скоро найдут отпечатанные в угольных пластах книги, кастрюли и синенький хвостик новых времен, восстановленный по очертаниям перчатки и рукояти трости, неотделимой от скелета Чарли Чаплина. Ах, какие сны отпечатываются в уголь-известняке. . .

Сплю плохо.

Желаний нет.

Блестяще-черная с двумя острыми рогами женщина в ванне поет по-бычьей; ноги ее огненные!

Мочу веник, как яблоко.

Температура в комнате — 27 ноликов. Знак — в христианской символике — смерть, а, расшифровывая, мы получим и плюс, и смерть, и 27 ноликов. Глуповато.

Веник в тазу с кипящей водой стал как моченое яблоко, с тем же запахом. Попаримся, эх — и взвизгнется! Я разгорячен.

У Бога хобби — любить то, что я пишу, и озарять мою письменность новизной; никто не пишет сейчас новее, чем я. Он доволен. Я уронил монету, и она взвилась, как пчела.

Пчела ведь тоже из медных денег, она ценна и блестит, как две копейки, улетающие. Не удержать в руках золотую лузу, в нее уходит шар, запущенный кием судьбы, а за сеанс в биллиард оплачен билет любви, неоплатных долгов нет. Мне снилось предложение на восемнадцати страницах, и встал с песней.

Я беру веник, и он звенит. Гол я, хочу кожу похлестать, чтоб на спине выросли розы с шипами, а в груди родились грехо-груши. Каждый день на Земном Шаре выходит в свет 176 млн 245 тыс 416 книг, новых, свеженаписанных. Ничего нового в них нет, но это 176245416 числа зла от грамотности. Скоро будут только писать, а языком ловить комаров, высовывая его на полметра изо рта.

Таких уж много.

Ванная выглядит как-то чрезмерно пусто без женщин, она похожа на некий ковчег для бесноватых. Я бью венником себя, не жду я ничего, но массаж толстого тела — для закалки. Отхлестался и включил воду, льется из дырок, я думаю, моюсь, о тех, со скалы: уж скоро дороги орудий напомнят им, что они не результат полового отбора, а вышли в свет из семян, которые Бог бросил в мир, я уже слышу хор благодарящих.

22 авг, 4

Погода — огромный серый орел, распластанный в космосе, одноглавый, лапы справа и слева, вычеканенный.

Сверкнет солнце — он исчез, солнца нет — орел заполняет своей персоной весь воздух.

По двору едут катки, под ними земля мнется, камни уходят вовнутрь, а за ними ровная дорога, асфальт, запах, как от змей, аммиак.

Каток, трамбуемый асфальт, втаптывает множество мелких предметов обихода, оброненных в утренний час: котел, электрогрелку, пылесос, пуговицы на ноге, нерчинские шнурки, золотые часы фирмы Мозер, резинки от ушей, протезы щек, мешки из-под капусты, — да что перечислять, оставь чистый лист, читатель и сам заполнит любимыми вещами. Их миллионы, они хорошо утрамбовываются в асфальт, т. е. останутся в нем на века. Не примут ли их за класс ископаемых животных 20-го векозоя, появившихся в результате полового отбора? Примут. Вкусы во все времена неизменны.

Маленькая птичка с крылышком летит по прямой, воробей, от него сзади линия.

Снует месяц-рогоносец; это уже ночной пейзаж, мы перенеслись на несколько (12!) часов вперед.

Меня смущают эти белые шары ламп, не много ль стекол? Стекло ж как сталь, режет насквозь и широко. Если это приходит и в голову мою без мегатонных бурь, что ж говорить о тех, кто стеклоукладчики и стеклодувы?

Стеклодувы — это теперь те, что стоят с блондинками за углом и дуют в бутылку, пустую. Свист выходит ураганный, как от полета снаряда.

То, что я пишу, — это роман? Но в романе должны быть женщины, а они у меня в ванне.

Лампа как сломанная молния; спим.

3 час 15 мин.

Плывут облака, и моря нет.

Облака все ниже, в кольце туч. Маленькие облачка-лужицы — как старые заплатки. А дождь идет из новых мехов. Такая уж погода гиппопотамья, жизнь с глазами навывкате.

Небо, небо. На талии юбка из плюша, на шее шар, и все это кружится; люди — это океан ног, плывущий в океан, сольются все уста, но кто сделал под носом губы, никто не узнает.

Видеть, слышать, обнимать женщину — и ее не упомянуть, потому что выбрита ее голова, рыжая в подпалинах, а вокруг сосца острые волоски; читать толстую книгу; писать про суп, греющийся, а из супа торчит зонтик; пить воду с железом и думать о диаметре бревна из дуба, чтоб сделать себе жизненный дом без железобетонных плит...

Круговорот ветров, а небо видно, и есть на свете небовидный объект — Я. Всяк сам определяет себе место под солнцем, а я уже свечусь в стекле, из-за туч, плавающих подо мною, как листы утерянной книги. Рожденное от жердочки — яичко. Выросшая в сметане — корова. Взрослая мать пшеничных полей — курица. А щи — это овощи. Все это положи в холодильник и вскипяти. И высота — ветреная. И я светлее дня, животорепещущ!

Почему так низки облака? Здесь не поет никто: ни дрозд, ни быкица,— голословье. Ушел пруд, нет уж и моря внизу, закрыли тучи.

Август месяц, царский, холоднее.

По шоссе скачет молодой цыган на белом коне, наглоглазый. Это вокруг разошлись тучи и сдвинулись снова. За цыганом, конным, бегут рабыни-ЛР, бритоголовые, по малярному делу. По скале бегают щенки. Фон есть, а повесть? Начнем. Луна шла все выше и выше. Женщина на краю ванны как голубь с квадратным хвостом; не женщина, а вылитый женоненавистник. А я пою.

Это первая луна сегодняшней ночью встает женоподобно и живоотнообразно, как ядро с огнем внутри, а эмбрион выскальзывает в мировое пространство в виде... круга? воды?

Скоро придет жестокий мир, и ангелы, как водопады, низвергнутся на тучи, и будет избиение туч тучегонителями, у них в руке по сабле, а над головой — еще одна голова!

05 час 12 мин.

А в ночь я очнулся, на потолке горел титул с золотым тузом и цифрой 153; пухлые глаза, скрип в них, ужас; такое случается, желтый мираж, беспамятны сны, лежат невпопад спинные кости,— жестко. Я сел, пот лил. Тьма медная, с привкусом. И вдруг моих губ коснулись большие губы. Они и не губ (коснулись), а взяли в рот мое лицо, с чмоком засасывая его, влажные, с желваками. Я отпрянул, и они ушли к стеллажу, стукнув зубами. Я мог бы зажечь свет, но я мог бы ведь и увидеть такое, что лучше не зажигать.

Я не зажег свет. Я и не думал, но думал: если есть рот, то дальше будет хуже.

Я стал искать стакан, но он не стоит же, преподнесенный, а встать — не стукнешься ль лбом с тем, животным, с губами? Встать я не мог. Никто не дышал вслух — ни я, ни оно. Если б светилась портьера, свет был бы золот; а не светится,— и свету нету. И то по ковру, то по бетону-полу ступает легкий шаг, как звеньк; это не женщина.

Могла б и женщина выйти из ванны и растянуть губы до земных широт, губное мясо растяжимо, в ванной однажды лежала и женщина, состоящая из одних губ; тошно от присосок.

Сижу, пол; а я бел и голоног, волосы не шевелились. Если б были! А то нет, лишайник, анти-литература! Знобило. Некто, фыркая, двигался вокруг меня, как хлыст, сужая круги беды. Делать нечего — я запел.

Эффект необычен: я вспотел, поя, пуще прежнего, глаза холодило, а вот оно слушало. И вдруг истошно закричало:

**Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ,—**

со столькими восклицательными знаками и с высотой нот, что я потерял сознание.

Кто это, я не узнал; утром, 23 авг, 4, на полу были капли расплавленного стекла, телевизор цел.

Я пошел в ванну, плетясь, и взвыл у зеркала: морда моя — сплошной синяк от засоса, а на ней вензеля ЯЛТЯТЯЛТ.

И на девяти пальцах (рук, рук!) из десяти — по золотому кольцу, с одной буквой Я, Л, Ю, Б, Л, Ю, Т, Е, Б... напрашивается Я, но последний палец пуст, без кольца.

## 23 авг, 4

Портрет римского императора.

Детство — военные лагеря, родители одевают сына в воинскую форму, спец-сшитую гимнастерку из железных колец и сапожки; солдаты умиляются.

Детство — занимается чеканкой по металлу, рисует, сочиняет сти-

хи, поет, обучают игре на кифаре. Влечет в театр, на публику. Лавры актера желаннее.

Отрок — играет на лире, органе и трубе.

Смысл жизни — в новых и новых наслаждениях; устилает пути розами (столовые, портики и ложа) и гуляет по ним. По путям из роз. Не соглашается спать, если не застелено заячьим мехом или пухом куропаток (из-под крыльев).

Еда — пятки верблюдов, гребни петухов, языки павлинов и соловьев. В столовых с раздвижными потолками он засыпал гостей фиалками в таких количествах, что это уж лавины и завалы, выбраться не могли, задохались. А задохнувшись, выпускали дух.

Каналы в цирке он наполнял вином, и запускал флот, и сражался на палубах в чине контр-адмирала. Сраженных мечом топили в вине, бросая за борт.

Самый знаменитый пир — где гости съели 2 тысячи отборных рыб и 7 тысяч птичек; но он затмил и этот, придумав блюдо «Минерва-Градодержица», он сам чертил — и ковал один: диаметр 333 м, здесь он смешал печень рыбы скар, фазаньи и павлиньи мозги, языки фламинго и молоки мурен.

Раз за обедом он вспомнил, что за целый день никому не сделал ничего хорошего, и произнес знаменитые слова, почтенные и достойные: «Друзья мои, я потерял день!»

Своим друзьям он каждый день что-нибудь дарил: то жизнь, то смерть — и редко оставлял кого-либо без подарка; исключение составляли честные люди, их он считал и без того пропащими.

Огромное наследство в два миллиарда семьсот миллионов сестерциев он промотал не более чем за год. Обуянный страстью осязания, он насыпал огромные горы денег по широкому полу и ходил по ним без сапог или же подолгу лежал на них всем телом, крутясь с боку на бок.

Один философ-киник отнесся к нему и залаял, но могучий Р. И. сказал ему про пса — и все. То есть на лай Диогена он ответил ему: — Ты пес.

Лицо свое, от природы красивое и превосходное, он старался сделать еще свирепее, перед зеркалом наводя на него тоску.

Он поставил себе целью истощить великий Рим, который был колоссально богат. Он сказал:

— Будем действовать так, чтобы ни у кого ничего не осталось.

Он дошел до того, что обложил налогом уборные. Даже его сын был удивлен. Но вот налог принес первую прибыль, и он сунул в нос сыну монету и сказал:

— Пахнет ли она?

Отсюда и выражение «деньги не пахнут».

При нем пели:

— Столько вина не выпить, сколько крови пролил он.

Ему писали:

— При вас все для всех открыто. Вы установили такое управление миром, как будто он является открытой семьей.

Почувствовав приближение смерти, он нашел в себе силы сказать:

— Увы, кажется, я становлюсь Богом.

И еще:

— Справедливее умереть одному за всех, чем всем за одного, — сказал Портрет Римского Императора и покончил с собой.

В этом мире было 117 римских императоров. Что сделали с их жизнью?

Посмотрим:

Тиберий удушен, Калигула убит, Клавдий отравлен, Нерон покон-

чил с собой. Гальба убит, Отон покончил с собой, Вителлий убит, Домициан убит, Коммод убит, Пертинакс убит, Песценний Нигер убит, Гета убит, Макрин убит, Гелиогабал убит, Александр Север убит, Максимин убит, Гордиан Первый покончил с собой, Гордиан Второй убит, Пупиен убит, Бальбин убит и т. д. . Это знаменитости. Об остальных трудно говорить в числах, если фактически смерть каждого римского императора под сомнением. . .

К слову. О Византийской империи.

Тоже царствовали с портретом. Их было 109, императоров. Из них 15 отравлены, 20 задушены, 12 умерли и убиты в тюрьме, 18 отреклись от престола. Портрет византийского императора.

П. В. И. — набожен; в письмах, на пороге дома, на одежде стоит крест. Боится моря, лесов, пустынь, гор. Плавает, «едва не задевая веслами за сушу». Природа ему — отрицание цивилизации. Цивилизация — это город. Знак города не рынки и храмы, а нравственная жизнь. Презирает плотскую любовь. Ценит целомудрие в семейной жизни.

Император Феофил сжег торговое судно с жемчугом, т. к. византийцу худший позор — спекуляция. П. В. И. гордится бедным происхождением. Носит на пурпурных с золотом одеждах мешочки с пылью как напоминание о бренности. Раз в год собственноручно оmyвает ноги нищим в память о кротости Христа. Если П. В. И. одерживал победу, он шел по Константинополю босым, ведя в поводу белого коня.

Белого коня с иконой на спине!

И вместе с тем: на Красной площади в Константинополе, в гигантской медной статуе Быка, — Византия сжигала своих врагов, по 40 т в сутки.

Это уж не ветреники, а вселенские ханжи и лицемеры.

И еще. Об Империи. Руси.

О руссах, о Руси. Белоголовый народ, как орлан, живущий на крайнем севере. Они охотятся, пьют и воюют. Эроса у них нет, женщин берут в род, сколько хотят. Они завоевали все северные моря и страны с единственным оружием — топором. Они завоевали всё. Боевой топор и белая рубаха до колен — вот здесь облик воина. Офицер отличается от солдата только тем, что идет ближе к битве, а Царь — впереди всех. Их шеи открыты, а руки голы. Я сам видел, как тысячные армии, закованные в броню, в панике бежали перед небольшими отрядами руси.

Руси шли пешими и босыми, но перед боем надевали сандалии, тяжелые, на кованой подошве — для устойчивости и чтоб не отступать; ремни застегивались наглухо. Первый ряд метал легкие блестящие топоры в пехоту и конницу, рабы несли их охапками и очень проворно подносили. Не было равных метателей ни в одной армии. От стрел их защищали круглые деревянные щиты, но в бой шли без щитов. Ничем не стесненные, в совершенстве владеющие легкими стальными топорами на коротких древках (и на длинных), они прорубались сквозь любую массу войск с быстротой молнии, проходящей сквозь тучу.

Веслами они владели виртуозно. Они шли на Константинополь весной, когда никто не воюет, а все сеют. Черное море и было усеяно их лодками, а воздух свистел от песен; шли в бой на лодках в венках из цветов. Русоволосые, статные, они не брали женщин, ни с собой, ни в обоз, ни в плен. В том-то весь и ужас. Они не брали пленных.

Они предлагали Столице Мира капитуляцию и обещали милость. Величайшей Армии Мира в миллион голов — 4 тысячи лодочников с топориками! Они предлагали уплатить выкуп золотом и драгоценностями — и они уйдут. Не тронут. Гордые византийцы повесили их посланцев тут же, на Спасской башне, возвышающейся над морем и видимой далеко — народам и государствам.

И тогда четыре тысячи лодок взлетели на гребни волн и выпрыгнули на берег. В стены полетели топоры. Их метали с пифагорейской точностью, образуя в стенах лесенки из топорич.

На эти вроде бы шаткие лестнички, кидаясь, вскакивали руси, смеясь, и весело бросали топоры выше. Когда все стены снизу доверху были забиты торчащими топорами, начался приступ, штурм. Это я долго пишу. А все дело — несколько минут, метанье, и бросок на стены, и прыжки вверх — по топоричам! Византийцам и взвизгнуться не успело, как уже вырублены солдаты первой стены, опоясывающей Константинополь, и уж на вторую стену перекинуты морские веревки с крючьями для абордажа, и по веревкам уже бегут с пением и свистом молодые и голостапые руси. Вырублен и второй гарнизон, и на это — не более получаса.

Дальше описывается, как был уничтожен третий круг укреплений и руси шли к императорскому дворцу, надев чудовищные сандалии, тихо ставя ноги, жутко, вырубая на пути — солдат, деревья, дома, женщин, детей, коров, собак, животных, хранилища. Они не брали чужое и ничего не жгли. Подойдя к дворцу, Царь руси вышел вперед и сказал громко ту же цифру, что и перед штурмом, не умножая ее.

И тут все трубачи заиграли сбор. Сбор денег. В кратчайший срок на верблюдах и на судах ценности — привезли. Привезли уж так, из подхалимства, и женщин. Многая многих.

Руси взяли все, а женщин не взяли и, погрузившись на лодки, ушли восвояси.

Беруни, араб (1030 г.), писал:

«Руси очень многочисленны и видят средство пропитания в мече. Если умирает один из мужчин, оставляющий дочерей и сыновей, то передают имущество дочерям, а сыновьям же — меч. Их мужество и храбрость хорошо известны, так что один из них равен нескольким из какого-либо другого народа».

А вот уж и XV в., Олеарий:

«Нельзя с утра варить кашу из репы и в обед ее варить же, а в ужин тоже варить кашу из репы. Как можно идти в бой, имея в сумке с порохом семечки тыквы и ломти репы, чтоб на первом же привале варить кашу из репы. Нельзя говорить в государственном собрании, если на столе стоит громадная фляга из репы и пьют самогонный мед, заедая кашей. Это надоедает».

24 авг, 4

По стеклу — муравей, как биссектриса.

Муравей, в прошлом негр, боксер и флейтист.

Я вспоминаю портрет Ван ден Вейдена, припухлые веки, полуопущенные полные губы и сжатые кисти рук с множеством пальцев; это женщина муравьиной силы, вечной. Он ее рисовал не раз, у нее разрез каждого глаза развратен, смиренная самка с царицы муравьиной, голландской.

Почему я пишу о живописи, в окно ведь зрю и вижу — такой идет на задних ногах, крутя колеса по-усиному, на верхней губе шашечки. По морю плывут женского пола, мореплаватели, блестят. Ни к чему девушке плавать брассом — ациндаз, как черный шар, вздымается и ныряет, будто у нее больше ничего и нет на свете, и голова в такт тоже вверх-вниз, но на голову ведь не смотрят.

Хирург Г. Рухи говорит сквозь зубы, как сквозь стекло:

— Из той страны даже цари мечтали сбежать, Иоанн Грозный два раза просил убежища у английской короны. Да и в этой ты только и терпишь, — и он указывает то на закат, то на меня.

Я говорю:

— Я не вижу той страны. Я вижу скалу, а в ней раб-баритон поет

канцону; море, в котором вместо людей — утопленники, тип-топы; лес вдали, из которого бабочки летят, как мертвые моряки; двор с катком, где мы все сминаем.

Не просвещай меня, х. Г. Р., мне не сестра ни одна страна.

Уже зажглись лампы на улице и в потолке.

Разводят пуделей, как овец, — на шерсть. Ничего себе ПУ (комнатная собачка) и ДЕЛЬ — диавол. Комнатную собачку диавола стригут, как сидорову козу. Черный дог, светлый герой записок, оказался сукой, у него (ее) двое щенят, по виду в одно и то же время и кабанчики и медвежата (без шкур).

Не видно за пеленой облаков, запеленали.

У женщин вошли в моду соломенные трико, плетеные. Это — вести из ванны.

Уже 24 авг, ночь. Ну и что?

Ну и что, что 24 и что ночь?

#### 24 авг, 4

Ночью кто-то к морю принес валун. Значит, осень.

Осень уж на носу, друг, посмотрим в лес, вдаль, что с листьями, золотеют? Холодит стекла, и легко на душе.

В ночи не плачется и ни филину, и ни чибису. Хорошо, что принесли валун. Значит, будут в скале топить баню.

Солнце польхнуло сзади, исчезло, на море возникло стоящих три башни, красных, в стеклянном орнаменте окон, в сотах, в них много гробов стеклянных вдвинуто, ящичками в бюро. Над башнями пепельно-синеватый сегмент, обведенный двойной радугой. Это запоминается.

А в доме холод от стен, так и веет, по полу ходить все холоднее, август кончается; валун — примета осени.

Смеркалось солнце, и вот дождь — как маленькие стрелки. Радуги погасли. Красный цвет бывает очень красив, и милолюбим, цветной он. Красные башни были цельные по цвету, но они мираж.

То черная лошадь, то красные башни. Хорошо хоть — люди не мнутся во взоре. И то и се правдиво, но это художественный вымысел, без него нет книг. Еще вижу: двое в желтых перчатках бьются на балконе в скале, оба лысы. Никогда не видел лысых боксеров. Эх, негра нет, негра б им, он один с мальчишеским строением тела приводит в ужас пятнадцать белых туловищ, гремящих по рингу вниз головами от звонкоразящих негритянских ударов. Негр — непобедимый танцор боя.

Я думаю: что будет, если сесть на валун в шляпе? В широкополой, аббатской? Сесть и ждать осень. До нее осталось пять дней. Мокрые тучи плывут надо мною и блестят по-мокрому.

Если уж нечего ждать от валуна, будем ждать от него осень, календарную, до сентября. Годы проходят, а осени нет. Ничего нет лучше осени.

Ничего нет лучше того, что есть.

Жизни нет.

Значит, лучше жизни ничего нет, если смотреть прямо, а не сбоку, как на невиданную красоту в желтых перчатках.

#### 27 авг, 4

В ожидании осени гибнут без капель, а осень пришла — и мы пьем вино, мокнем по воде, а больше мы любим и смотрим; самые веселые соловьи — улетевшие.

Людно.

Одетые в белые шинели, идут солдаты мира втыкать штыки, и натягивают стальные кольчуги летописцы, чтоб дописать до их сапог книгу нашего времени.

Иногда тучи внизу расходятся, и я вижу лебедей, как они бегут

босиком по воде, порхая крыльями, это они шалят, но бегут быстро! Или взлетают в золотое лето, развертывая крылья, как белобархатные рулоны.

28 авг, 4

Всю ночь снились монеты: французские луидоры, фридрихсдоры из Германии, английские соверены, испанские червонцы флорины, ригсдалеры, дублоны, пиастры, крессады, дукаты, гинеи, английские нобли, голландские шиллинги, а также таэли, иены, цехины, маклуды.

Снилась война.

Солдаты сидят в больших белых бутылках с светло-желтым напитком из настоящих лимонов, выжатых поодиночке на фабрике, а в бутылке замысловатая пробка на горлышке, из изогнутых проволок с фарфоровой головой.

Громкая битва орудий.

И ряды народов из глубин веков идут вперед, блеск энергии, топот до победы, удар в штык, кинжалом, финским ножом, ломом и саперной лопаткой, выстрелы пулями малого, но высшего калибра смерти, проверка на ловкость ног и жесткость рук. Это мужские дела, уничтожение в себе раба и владельца денег; это свобода мужчин в приглядном смысле. Мужчина, проживший без войны, — нелюдь, вздутый. Оздоровительна война Древнего Рима в масштабах мира. Но вся прелесть римлян — они не боялись себя. Наелся мучной похлебки, надоело — беру меч. Не нравится что-то мне Нерон — надеваю поножи. Скучно мне плотным кольцом — купаюсь в моей крови, с вином смешанной. Просто.

Солнце на войне, и бреется человек с двумя усами (холеными), глядясь в консервную банку, как в зеркальце, и вдруг в него попадает осколок, вьется и сбивает ус — и второй, подчистую; и человек со стоячим воротником складывается и лежит вверх лицом, бескровным, с двумя глазами, выпуклыми на весь тот свет. Почему-то кажется: это полковник. Это так кажется всегда, это когда нет отклика ни в ком. Есть понятие «душевная тоска». Эта тоска завершается смертью людей, резко окрашенных талантом полковников.

31 авг, 4

В ожидании осени я — эрудит одиночества.

Рабы в твидовых ватниках по случаю авг, 31 ходят по всем сторонам света с лампочкой, спотыкаются сапогом об шар земли, смотрят блудно и тошно. Под ногой — утрамбованное катком время. Куда им девать свой вид?

Всех одиноче орлы. Смотреть сквозь тонкое стекло высоты — и не броситься; крылья с кругами. Орлы все в мыслях о мировом свете, и свет от них стальной, с высот, выше.

Тело жило врозь со мной.

Хладно.

Орел достиг той высоты света, выше которой одна смерть.

Дух носит печать художественности, что и требовалось доказать, глядя на число 31. В выси моей летают одни воробушки, как девушки, красивые рыси. Не вижу земли.

По ТВ веселый ветер. Дети с ртами.

Стоят, и рот разинут до неузнаваемости. Детей погасили.

Диктор в юбке, зуб по зубу стучит, белки, обеденные. Представляю себе, как орлу смотреть на эти выходы — с высоты.

Бывает еще, по ТВ поют, звучно, мимически. Но тут уж нужен не я, не орел, а Джонатан Свифт.

Туч столько, что скоро и ТВ заволокут тучи. И в ванне образуют-

ся устойчивые облака со снегопадом. На кухне пола не видать, а он там розовый, для смотра. Ничего не видно накануне осени.

Одни камни летят мимо, с дырками посередине, навывлет; пахнут сероводородом. Камни подветренные, дикие, неотесанные!

1 сент, 4

В 9.50 — взошел свет.

В 10.00 вошел хирург Г. Рурих. Я подумал: почему у них у всех ключи, как-то ведь входят?

Хирург Г. Рурих вошел и выгнал девицу с черно-лиловым лицом, от загара; сама черноволоса. Выгоняя, сказал:

— Поговорим наедине.

— Говори! — сказал я.

Он снял голубую шляпу с кокардой, где отлит из стали Земной Шар и перечеркнут двумя скальпелями. То есть — весь Земной Шар отхирургируют.

— Был консилиум, — сказал он.

— Но я четвертый год здоров.

— Ты здоров, но консилиум был. Здесь вся власть у консилиума. Я уполномочен тебе задать вопрос.

— Говори, — сказал я.

— Благодарю!

— Да не волнуйся, — сказал я. — Выпей винцо, если охватывает.

Он выпил из колбы. Винцо было синеватое. Он сказал:

— ГКХ! И МВД! Ты избран ВИХРРФИ!

Я молчал. Я раскрыл рот.

— Как ты к этому относишься? — он был взволнован до звона. — Ну, говори ж!

— Что такое МВД, я знаю. А ГКХ?

— Я ж сказал: Главный Консилиум Хирургов.

— А что такое ВИХРРФИ? — как вихри в картошке фри! — о друг мой!

— Он тоже замолчал.

— Ну-с, что ты скажешь?

— Сарказизмы оставь для книг. Ладно, объясню, как дураку: ВИХРРФИ — это Верховный Император и Художественный Руководитель Римской Федеративной Империи. Ингварь Кузовов III.

— При чем тут я?

— Мы избрали тебя Ингварем Кузовым III.

— Отказываюсь!

Он замолчал надолго. Потом сказал:

— Ты от чего отказываешься? От императорского титула или от имени Ингварь Кузовов?

— От имени.

— Молодец! — вскричал он. — Ясная голова! Вот диплом с пустым пространством вместо имени. Вписывай свое и римствуй!

— У меня нет своего, — сказал я. — Римствуй сам.

Он задумался до вечера.

Пока он думал, я читал. Лао-цзы, вслух:

«Путь великого покоя.

Покой — это возвращение к жизни. Возвращение к жизни — это постоянство. Постоянство — это мудрость».

— Я хочу покоя, — сказал я.

Но вечер еще не наступил.

Конфуций и Лао встретились меж небом и землей. На наковальне.

И потом Конфузий сказал:

«О птице я знаю, что она может летать. О рыбе — что она может плавать. О животном — что оно может ходить. Птица может быть пора-

жена стрелою. Рыба — поймана сетью. Животное — капканом. Что же касается Дракона, то я не могу знать, что с ним можно сделать, потому что он на облаках уносится в небо.

Я видел Лао. Не похож ли он на Дракона?»

Я смотрел на Г. Руриха и сказал:

— Иди и скажи им: что касается его, то я не могу знать, что можно с ним сделать.

Тот все думал.

Я заговорил:

— В 950 году, в год, когда в Мекку возвращался из двадцатилетнего карматского плена Черный Камень Каабы — святая святынь Ислама...

Пришел вечер, черен. Хирург Г. Рурих заговорил вслед:

— Об имени твоём я понял. Его нет. И пусть так. Не согласен ли ты принять имя Иоанна?

— Почему? Какого — названного брата Христа, с Патмоса, папы от и до Грозного?

— Оставь. Не разводи скуку, где висит смерть. Почему? Не все равно? Я сказал: Иоанна; что ты тычешь в счет, эрудит? Их нет, о ком ты. А имя — просто Иоанна — и все, нового. Себя.

— Я — Иоанн? Новый?

Он обнял меня. Он вошел с картонкой и распаковал ее, взрезая медицинскими ножницами.

— Вот, — сказал он просто. — Примерь.

Это была голубая шляпа с плюмажем, но вместо полей к тулье пришта горизонтально стоящая звезда, рубин, о пяти концах, пентагон. Да и вся шляпа напоминала металл, золото. Своеобразная корона — имеющая свой образ. Хирург Г. Рурих смотрел на меня в шляпе, приложив руку с пальцами к своему пустому виску, это делают все, кто воюет. То-то всю ночь мне снились ружейные выстрелы зимой, в мороз, по лисам!

Бананы, помидоры, виноград синий, персики и — осы! — летят, сволочи, из космоса, с такой высоты, что видны днем звезды, как оранжевые, и все в морской пленке, солнца не видать. Осы летают, свистят в трубочку, со стрелкой, ядом. Груши на скатерти с благородным цветом бордо, притушенным.

— Выпьем, друг мой, — сказал я, не снимая шляпы, — за 1 сент, 4, за золотые листики! — сказал я, нюхая плоды сливы.

Хирург Г. Рурих вырядился в вечерний костюм — золоченые штаны со змеями по бедру; в руке чаша, на погонах по звезде, крупные штучки, а теперь будет и звезда на лбу. Как много сбывшегося — три звезды в жизни!

Я налил соку с какао, а он выпил чашу не знаю чего, что-то напитокное, резко окрашенное, как заря, или ж лимфа по ритуалу.

— Головной убор в тютельку! — воскликнул хирург Г. Рурих.

— Сверчок и шесток! — предостерег я.

## 2 сент, 4

Утром экран у ТВ как у трюмо — стреляют из наганов румыны, патриоты и фашисты. Патриот в костюме с галстуком и в шляпе мастерски пристрелил 14 фашистов, поодиночке и по три, и, спасаясь, убил короля Румынии, да нет, это диктатор, а король — антифашист. Диктатор — вот кого он кокнул напоследок, с фашистским ориентиром и в мантию. Очень смелый румын, как француз, да это одно и то же. (Не смелость, а нац.). К примеру, Ионеско, драматург, лишенец Нобелевской премии, был (мы долго с ним выясняли!) — молдавский еврей из Русской империи, румынского происхождения французский писатель, гражданин Швейцарии. Ах как он был мил! И детектив румынский мил, красив,

из одного нагана с барабаном вбил пули в 14 пупов! Как Петрарка, автор 14-строчных сонетов. Все мы накануне Возрождения, а я — уже здесь, в нем. Нео-я, но не в пустыне, а в короне.

День Знаний у детей по ТВ: первый звонок, первый урок, бегают перед ТВ-объективами как затравленные, белые банты, белочулочные ножки, а у мальчиков цветки в руках, взгляд безутешен, цветки мальчику не лоб, ему б револьвер с серебряной пулей, но не дорос, не румын еще, не француз, не Ионеско.

Долгожданная пора (об осени)!

Вижу бурятку, в честь моей коронации летящую в космос на сиденье стула по ТВ. Ее прилет. Вопрос:

— Много ли людей видно из космоса на земле?

На лице бурятки тупой пот.

Журналист, миролюбиво:

— Есть такая теория о перенаселении Земли. Что людей все больше, а еды все меньше. Много ли вы видели людей на земле, летая?

— Ни одного! — сказала бурятка, без бумажки. Все воззрились на нее. Она:

— И о теории скажу: в людях заложен настолько сильный инстинкт самоуничтожения и уничтожения друг друга, что опасаться за прирост населения на земле не надо. Уж тут-то баланс будет.

Уж тут все воззрились в объектив — на меня!

— Война, чтоб не было войны! — сказал я.

— Молодец, — восхитился х. Г. Р. — Что за ясный ум, государственный! В твоей книге опись жизни сверху, хороша. Сойдем вниз.

— Нет.

— Но ты четвертый год — не выходя. Оптика, друг мой, не та. Не то пишешь.

— Объясни.

— Поехали. Выйдем разок, первый день осени, ты мечтал, писал звонко о нем. Выйдем, не понравится — пойдем обратно.

Я снял шляпу, и мы вышли.

Дверь бронированная, сверху обита кожей с заклепками, крестиком, как полотенце. Справа дверь — глазок, слева дверь — глазок.

— Что там? — спросил я.

Г. Рухих махнул рукой — из двух дверей высунулись каски, голубые, стальные, с красным крестиком на лбу. У лифта двое, в касках. Отдали честь. В лифте двое. Мы едем. Жуткая тяга в ногах, — скорость. Г. Рухих указал на стул — садись. Я пожал плечами. Двое в касках взяли меня за плечи, усадили, застегнув привязные ремни туго; дали шлем.

Сижу, надет шлем, едем. Точнее, это сильное, жесткое и тяжело-затяжное падение. Мы падали долго. Стоп. Я хотел встать, но не пустили. Г. Рухих сидел напротив, без сознания. Нам впрыснули в руку что-то горячее. Лифт открыт. Опять сдвоенные бронированные двери. По два часовых справа и слева, те же каски. Мы вышли. Вдоль по шоссе — выстроены две колонны часовых. Я пошел вперед, от дома, а они кричали букву Р, как собаки: RRRRRRRRRRRR — раскатисто, они долго кричали мне вдогонку. Я отошел и взглянул на дом.

Я ожидал — достаточно высокий блочный дом, ну, этажей 30—40, так я прикидывал. Это был не дом. Это была БАШНЯ.

Это была БАШНЯ высоты такой, что где-то ее несколько раз пересекали тучи, всякие облака, а вершины ее видно не было. Как будто не было вершины, она исчезла, как тонюсенькая игла, где-то так высочайше высоко, как я писал о тех, в небе. Но разве я мог представить ЭТО?

Они стали строить БАШНЮ и скалу одновременно. Но строительство БАШНИ нуждалось все в большем количестве рабочих, и скала заселялась, ширилась и высилась. Чтоб поднять одного меня ввысь, ра-

ботали тысячи тысяч; и это впечатляло. Чтоб не тронуть мой покой, блоки, скрепленные заранее в мою квартиру, держали над всей БАШНЕЙ на подвесе, над строительством, над головами раб-римсов, я ж выздоравливал, и это делало честь инженерам этой штуки. Когда ж я смотрел из окна, низко был пруд, а БАШНЯ поднялась выше — и открылось море, а теперь — и океан, называй как заблагорассудится. БАШНЯ — сооружение из архитектоники в мою честь, чтоб я имел шанс выжить в новом мире. Хотелось бы иметь в выси небольшой сад и у балкона плодовый столб с птичкой. Этим я пока и ограничусь. Я ж соображаю — фонтан туда не взлетит, хоть и хотелось бы. А птичка взлетит, вон оса летает, как собака по кухне, — злесь!

Шли машины, лакированные, многоцветные, я их насмотрелся. И людей я видел вдоволь, пиджаки на подкладках.

— Тем же путем мы пойдем домой, — сказал я, и мы пошли, без изменений.

По ТВ спецвыпуск; я иду вдоль двух колонн солдат, а они кричат: «RRRRRRRR». Я скромн, приветлив, радушен, улыбчив.

— Что Вы скажете о своей Книге? — спрашивает диктор меня, в экран. Они четыре года смотрели на меня.

— Это проповедь, которую произносит остроумный оратор в красноречивых выражениях, мелодичным тоном, с совершенной убежденностью. В словах этой Книги изящность мысли и чистота любви. Таким образом я всецело вступаю на путь божественной святости.

— ОН! Иоанн Новый всецело вступает на путь божественной святости! — объявил диктор строго официально.

Я думаю о Книге.

Остается одна память и одна книга. А вот когда я войду в судьбу и напишу книгу, — я знать не могу. Каждая новая книга — минус жизни.

### 3 сент, 4

О башнях, о их связи с шумерами, это у них возникли, и перешли к ассиро-вавилонцам, и переходили от народа к народу. Каждый город Двуречья имел башню. Думалось: Бог, сойдя с неба, спустит свои ноги на гору, а по ней люди поднимутся Ему навстречу — чтоб любить. Но здесь нет гор, и башня мыслится лишь местом пребывания Бога.

Хирург Г. Рурих говорит:

— Ты не Бог, увь, а башня не Небесная Гора, и не потомок ты Нимрода. Это для тебя слишком. Но как физический посредник медицинской цивилизации — между Ним и нами — ты фигура вполне подходящая, ты ж единственный, кто удостоился интервью с Ним.

— Но Ваша медицина не может верить в Него.

— Наша медицина в Него и не верит, но жить все хотят и после медицины. А ты — яркий образ, живущий при нас пример. Вот тебе и башня. А мы будем выяснять зависимость и связь порожденных землей металлов (ртуть, свинец) с холодной планетой Сатурн.

— Как и кто?

— Как — посредством тебя, а кто — МЫ.

— Кто — мы? — сказал я. — Уж не строители ль башен Ганс Гольбейн Младший, Ян Скорелья, Хендрик ван Коеве, Питер Брейгель Старший, нидерландцы?

— Взвизгнется! — крикнул х. Г. Р. и нажал педали.

По ТВ: живут в пещерах с одной лампочкой, по пятьдесят человек на ступеньке, после потолка. Льют из цистерны вино-сахарок, с запахом версальской розы. Едят хлеб, а в нем запеченные блихи от морских ремней с якорем посередине. Бублики — как ошейники для собак, посыпают наждачной крошкой. Пиво — с желтоватым цветом такелажки. Проспект Дустский, река Ева, в нее идут Малая Евка и Большая Евка, по берегу Экспериментальный завод, проходная в виде

выложенного булыжником дота с окошком для пропусков, есть и садик, уголок отдыха для раб-римсов, за решеткой, как и полагается, там еще стоят скамейки из бетонного дуба и на столах шахматные фигуры с брюшком. Шоссе Эволюции, Большеоптинский, Среднеоптинский и Малооптинский проспекты, с множеством чугунных львов по фасаду — держат в пасти цепи, Туннельный проспект, река Ойка, канал Рабедова, Алкоголийская колонна, река Фантомка, Этнин сад, Мясово поле, Сильвинский остров, Аменный остров, Ретроградская сторона, Эннский проспект, и Адова улица, и Малая Адовая, и Ремянная, и Гроговая, и Финальный вокзал, и... иинииии. У солдат — RRRRRRRR, у ТВ — ииниииниии.

**5 сент, 4**

Ночью в окно смотрели самолеты, сверкая глазами.

А утром по тучам бежал ребенок, как змея. По краям туч стояли солдатики. Эх вы, солдатики-солгатики!

Над ними стояли ели, а у ног у них яблоки.

Уточки плывут, как тучки в небе.

На большой туче стояли только двое — Ева и Исаак Ньютон, но зато оба с яблоком. Притяжением занимались.

А у грибов шляпки голубые, с кокардой. Дождь идет на живые грибы. По лесу медведь, черный, круглоух, как радиоэлектроника.

Лось широкогруд, как дурак, с волосами, зачесанными назад. Медведь водички в речке попил. Бобер в воду поплыл, как женщина с бедрами, и плывет по-женски; вылез, морду моет пальчиками. Белка бежит по стволу вниз головой, как по прямой дороге, не сгибаясь. Зайчик с усмешкой, как настоящий; коршун тут же, из смелых. Косуля купается, кабан купается. Лиса на косе хитрит с собой, зайчик купается. Утки идут влет.

Зайчики бегут, в дугу. Оленята двое, большие, на пчелу смотрят. А на них орел смотрит, с вершины жизни. Вот он пошел, растопырив крылья, как-то некрасиво, и сел на зайца. Ест. Плохая погода. А вот лиса охотится. Сытая лиса и сытый заяц, догнала и не ест, с пережору оба.

И, как сказал Генрих IV, Плантагенет:

— Мы еще повоюем!

Сны тоже уходят в лес по осени.

А вот зайца трактор переехал. Жизнь, заячья! А вот филин, энергичный, да он и дерзок.

А где-то уж спускается на форум одна птица.

Если один из двоих целует в губы (от души), это и есть душегуб. Утренние сны состоят из видений и из фраз. А проснулся — в окно смотрят санитары, вися на веревках. Нет прочности.

Я думаю, что народ в плохом состоянии, неотремонтирован.

Голубь, вымазанный, летит, шумит, как дуб. Бедный дуб, сравнимый с голубем! Дуб идет на убыль, срезали их по голени, одни ступни стоят на полях, срубленные. Лесные ели смотрят на это, ревя.

**11 окт, 4**

Вот и осень, дождь и холод, дождь и холод.

Белые львы за стеклом.

Это в небе, как в женской бане, стоит часовой и вертит шайкой над голыми, а у него штык и числа, и вывеска на руке висит, как винтовка, — «Баня небесных дней».

Осень все моет, а том пишется.

Осень, зачем ты мужаешь?

Идет рабыня-Т, как танкер водоизмещением 500 тыс тонн, — в ванну. Рабыня-З с загаром по всему стволу до горизонта, нет юности

в ней, толстота, как у нимфетки, круглые ноги снизу и доверху. Ее тоннаж дубовый.

За стеклом — лохани и дождик кружится. В лужи льется венецианская вода. Это на долгих лакированных гондолах, похож на жуковые азиатские туфли, живописец Гаррик Зильберман разводит золоторозы, выковывая их кисточкой № 1: и розовые, и палевые, и нездешнефиолетовые, — и лепестки их куда чище и милостивей, чем у настоящих, у тех — роз реализма.

Ах, Гаррик, серебряный мужчина, воин Кызыл-Кум, круглоглазый сверстник, в каждом глазу рисунок роз — желтолиственных, бабочкообразных! — как сошедших со страниц Анти-Второзакония.

Я вижу в дуле ствола ружейной твоей жизни — образ роз! И твякаю я, витиеват.

Женщина идет в ванну с бедрами инкогнито, надела трусы, мои, красные с синей заплатой спереди. Не обнажается. Сейчас принято ходить не обнажая зад. Такова жизнь.

Ведь и цвет у вишен знаешь один ты, Гаррик Зильберман, и Золотой Маятник, выйдя из рук, как бы говорит: «Стоп, холст!» Раб-римский рок, усталый кризис. Учимся рисунку у роз. Снимаем рога и надеваем розы. Я — розоносец!

Может ли быть художник — от уха до уха?

Может ли быть нож, ходящий круглые сутки от уха до уха? Есть ухо у Ван Гога — или нет его?

Осень нагоняет цветковые воспоминания.

У меня в груди Николай-Демьян Грицюк, художник Духа, в ком все звезды стали ядовито красны, сини, а все церкви — ядозелены. В ком страшная сталь муки окончилась человеческим жестом — бросок вниз, головой в пролет, 7-й этаж.

Феофан Грек — Н.-Д. Грицюк, — такая ль уж разница? Круги замыкаются, и все фамилии от одних греков.

Талант — это летун: сегодня ропот и пируэт мертвой петли, а завтра встал, как ночь, — и нетути, скажем слогом новым. Но самое главное — это знать, о чем твой рот щебечет.

У цветка на холодильнике осень (тоже!), опадают листья, он погиб. Меньше поливал бы, всюду и так сыро.

### 13 окт, 4

Фиолетово-малиново-мясисто как бы выгибают спиной назад — плазма, слепки малины, вкус хлороформа, сладчайший.

Единый образ в любви — самообраз ее, т. е. живопись.

Жизнь — не искусство. Лишь идиоты ищут в искусстве жизнь, тупые. Художник пустил свинью в огород и между тем рисует ее на холст, оба живут и в искусстве, и в жизни; здесь равноценность художника и модели.

Чем далее, тем тяжелее смотреть на людей. Все тяжелее и тяжелее.

### 20 окт, 4

Ах, яичко ты, яичко, ты прелестное дитя!

Хорошо помыл голову яичными желтками, смешав два в один, сдвоив. Таким образом не родились две куры, застряв у меня в волосах (в голове!). Может быть, родить их из головы, как Зевс — кого-то из девушек?

Лучше о женщинах не писать, неоригинально. И о мужчинах не писать, где их найдешь. Хотя! — старики могут жить не меньше, чем старухи.

24 окт, 4

Как грустно! Как грустно, о Боже! Пасмурно, бегают с ноги на ногу медвежьей походкой черные собаки. На столе каменное яйцо. Лежит. Очки в пластмассовой оправе янтарноваты, и расческа для волос из золота с вырезом для открывания бутылок. Модернизм — причесался и бутылка с алкоголизмом вскрыл, как пиво раб-римс со скалы. Им (рабам) сейчас нужно много воды, алкоголизм обезвоживает организмы, а пресной воды все меньше, ресурсы. Как быть? Нужно строить термы, как у Каракаллы. Чей мир новее — наш, наскальный, или тот, который говорят — н. э., ход римских легионов? Тот новее, иначе мы б не стремились уйти в него, в книги. Не стремимся и мы уйти в мир. . . трубочистов, уж и труб-то нет, а потому и нет сажи, а потому и графиков нет, уж никто не нарисует тушью, потому что тушь, настоящую, делали из сажи. Причинность! Дух — это randevu с древностью. На машинке прежде засоряется буква «е», а потом «д», и уж после «а». Почему? Брюхо болит, кишки мои в шоке, нужно б ждать, когда выздоровею.

Света нет, погасли звезды; лампочка стынет, как человек, — вниз головой. Верить в Христа — все равно что верить в божественность себя. Почему бы и нет? На днях весь день дуло, был мороз, мраз, сильный. Ах, осень, в желтых ложечках! — вспоминается. Снег идет, как свет.

Нравственные муки у Христа отсутствуют, он проповедовал Учение. А Учение — это призыв к действию, глаголы повелительного наклонения: подставь, иди, отдай, люби и т. д. Христос проповедовал энергию людям инертным. За это его и убили — не за то, что он сын Божий: к сынам в Иудее привыкли, как и везде — то самозванцы, а то и взаправду сыны.

22 дек, 4

Перевалили.

Много мертвых книг, раздвигают ноги на полках где не надо. Утром ел утку. Спал. Художник создает не мир, а образ мира, и оценивать книгу нужно не по степени сходства ее с миром, а по жизненности образа. Зубец и круг не уживутся на одной плоскости. Владеть формой нельзя, ею можно только овладевать на время, — как в любви с женщиной.

Ах, какой день, погулял бы, да сидят две дамы в ванне, из воды — видны груди. Академизм — это щит неодаренных в искусстве. Избавив людей от ручного труда, чел-ство приобретет миллионы преступников.

23 дек, 4

Цифры с успехом ум заменяют.

Счет на миллионы — как по щиколотку.

Люди слишком тревожатся о Земном Шаре, не рухнет ли он под тяжестью ихней?

Ничего.

31 дек, 4

Новый год уж и мне не в новость. Елки несли полмесяца, а я глазу шкуру книг. Игры в бинокль мне надоели, смотрю уж в зеркало на себя, то в уменьшенную, то в увеличенную сторону, — одна гадость; кручу линзы, чтоб затуманиться хоть в своих глазах.

Снежок сеточкой, вышит крестиком. Люди стоят, как на доске, и окопы роют, раб-римсы в тяжело-зеленом брезенте, с цветными лицами.

У голубей походка ласточек. Полно голубей!

Принято менять одежду с грязной на чистую после мытья, а если

раб не мыт, зачем же ему зря переодеваться, не цирк. Логично. И не стирают.

Собак пополудни нет, пейзаж обеднен.

Я бы отметил, что и бегемотов нет, — один, сидящий на облаке, бок о бок с планетами. Он свалится, он вымрет. Вот уж у кого губы! — тонкие, как обод у громадной бочки.

Снег — это кубизм.

Это Малевич, возводивший в куб жизнь.

На Малевиче эти формулы, высшая философская схолия, цветовое понятие формы, обожествленная подготовка к созданию нового мира — закончились. Кандинский — уже Нарцисс. Поллок, Раушенберг, Мондриан — уже красота, живопись. Потому что все последователи — люди. А Малевич — создатель, указательная стрелка Золотого Маятника.

Малевич — это воин-монах в красном. Потом он надел капюшон и пошел по Петрограду, как сильный конь с широкими челюстями. Он строил гроб себе, Малевич, проектировщик смерти. Уже не было Революции, а был реализм, а т. е. террор.

15 мая 1935 г. шел снежок с дождем, а в гробу лежал некто с бородой и волосами на пробор, как у Гришки Распутина. 70 работ он оставил за границей на произвол судьбы, а тут стал рисовать фигуры. Автор Черного Квадрата, этого Евангелия Новой Живописи, он и возвратил их так: двое, трое, три фигуры и т. д., — и все с белыми овалами вместо лиц, без индивидуумов. Еще бы — круг, еще не сорванный с плеч раба, замазанный для маскировки белой краской, — не до индивидуализма. Он умер, как сам писал:

**«КНИГА ТЫСЯЧЕЛЕТИИ СОЖЖЕНА, И ПЕПЕЛ СТЕРТ. УМЕР ВЕЛИКИЙ ИНТУИТИВНЫЙ РАЗУМ ВСЕЛЕНСКОГО Я».**

Вскоре умер Филонов. Учитель.

У Малевича — крестьянка как распятие; меж двух крестов два белых затылка над гимнастерками; один с винтовкой, другой руки по швам — и надпись: **АРЕСТОВАННЫЙ, ВЛАСТЬ И ЧЕЛОВЕК.** Вместо лиц — пятна, белый снег, черный и красный, снега, снега.

Снег нейдет.

Вороны летают, ложась на крыло, они так быстры. Они с такой быстротой реют вокруг окон, что тревожно. Они и сигналият мне о чем-то случившемся, посмотрю на балконе. Смотреть нечего, одни бутылки вверх днами да банки.

Писем нет, яичко никто не снес и не положил на балкон в сеточке из золотых уздечек.

Во дворе откуда-то вырос пень, глядит пнем из-под снега. Смотрю в бинокль. Никогда не было дерева на том месте. Может быть, столб был и спилен?

В снегу, в гусином, хорошо б расстелить ковер, лечь с нагретым sake из пиалы и в железной бочке жарить быка на угольях, а на вертеле — овечку с петушком, юнотелую, с бриллиантами лука. Да это неосуществимо — сбегутся люди Лукаса Кранаха, все разбросают по сторонам, на все ветры. И умрешь под снегом без ковра и пиалы, знаю случаи, когда лишались и большего, садясь на ковер посреди двора. Ах, люди, люди! Идет рабыня-У, в левой руке сумка, из нее торчит что-то отрубленное от зверя, тело у У гнется от сумки в обратную сторону, а бедро выгибается под сумкой, несомой в левой руке, а правая рука изогнута, как у боксера, и не подойти, не снимешь берет со страховым пером, чтоб познакомиться. Кроме свободы, внизу ничего нет. А вверху?

Это свищут шведы, гонят снег из шведской страны во двор к нам, это они во всем виноваты.

Шведы виновны, что нет любви.

Птички вдали как паучки. И тут я отчаиваюсь. Я беру книгу и рублю ее надвое! Но увы, не ново, книга, разрубленная надвое, — это две книги. Если рубить дальше — умножать написанное. И я склеиваю половинки и пишу дальше. Я пишу, шипя!

И вижу я живот у настольной лампы, стекляшный, а в нем спиральки, как эмбриончики. И бью я лампу молоточком по уху — изо всей силы.

— Дай ответ! — кричу я.

Не дает ответа. Чудным звоном позванивает.

УЖЕ БЫЛИ И ЕЩЕ БУДУТ МНОГОКРАТНЫЕ СЛУЧАИ ПОГИБЕЛИ ЛЮДЕЙ ИЗ-ЗА ОГНЯ И ВОДЫ. В САМОМ ДЕЛЕ, ТЕЛА, ВРАЩАЮЩИЕСЯ ПО НЕБОСВОДУ ВОКРУГ ЗЕМЛИ, ОТКЛОНЯЮТСЯ ОТ СВОИХ ПУТЕЙ, И ПОТОМУ ЧЕРЕЗ ИЗВЕСТНЫЕ ПРОМЕЖУТКИ ВРЕМЕНИ ВСЕ НА ЗЕМЛЕ ГИБНЕТ ОТ ВЕЛИКОГО ПОЖАРА, ВСЯКИЙ РАЗ, КАК ТОЛЬКО УСПЕВАЕТ ВЫРАБОТАТЬСЯ ПИСЬМЕННОСТЬ И ВСЕ ПРОЧЕЕ, ВНОВЬ И ВНОВЬ В УРОЧНЫЙ ЧАС С НЕБЕС НИЗВЕРГАЮТСЯ ПОТОКИ, ОСТАВЛЯЯ ИЗ ВСЕХ ЛИШЬ НЕГРАМОТНЫХ И НЕУЧЕННЫХ, И ВЫ СНОВА НАЧИНАЕТЕ ВСЕ СНАЧАЛА, СЛОВНО ТОЛЬКО ЧТО РОДИЛИСЬ, НИЧЕГО НЕ ЗНАЯ О ТОМ, ЧТО СОВЕРШАЛОСЬ В ДРЕВНИЕ ВРЕМЕНА.

*Платон, Тимей*

**7 янв, 5**

Видеть черную чайку — декаданс, маньеризм.

Видеть белую ворону — антинародно. А вот вижу: сидят рядом, рядом, как две монеты на ободке.

Возрождение и Кубизм — близнецы.

От Леонардо до Малевича нет и шага.

Квадрат Леонардо, где один абсолют, человеко-идеал, равен квадрату Малевича, где одно черное солнце.

Красный квадрат Леонардо с безликими кругами — это палиндром конца мира, анти-Я.

Но отрицатель Я — не менее гордый восклицатель того ж Я.

Равенство.

О воронах.

Ворона — черный квадрат, вписанный в круг, если круг — это взор мой. О солнце, — это ночь.

Догадки: Экклесиаст опубликован на 666 стр. книг Священного Писания, а Иоанн из Нового Завета выводит теорему цифры 666.

**15 февр, 5**

Железобетон.

Встал в 5 утра, ного-руки сводит, коленки со скрипом, грудь колотится. Комнатная  $t^{\circ}$  —  $12^{\circ}$ . Измерил свою, набросав шуб побольше, —  $37,5^{\circ}$ . Думы мои, думы.

К 9 час нагрелось до  $20^{\circ}$  — электрокамины и духовки. Из ванной, сам колотясь, вынул свежемороженую женщину и положил труп на кухню; отойдет — уберут, в могилу. Пока пил чай с медом, и она потребовала меду синим языком.

Мне и самому-то не хватает, унес говорящую в ванну, размороженной. Серьги снял, чтоб не украли погребальная команда. Снял и повесил к люстре, чтоб не видать, фарфоровый балдахин в сережках. Как голова белого коня с зеленой от золота челкой. Не видел я коня вблизи, а на рисунках они не более 15 см в длину, человек сверху не сядет, нереальны зарисовки. Уж если ты реалист, то бери настоя-

шего коня и лепи с него гипсовый слепок, а потом заполняй пустоту бронзой и ставь на скалу. Высота коня Леонардо — 7 м, Конезавр.

Пот струится. Правильное употребление глагольных форм. Ночью — как ломался, как метался, стгорая от неслыханного кишками холода, органон мой! Мало людям возвышаться надо мной нравственно, нужно еще и температуре возвыситься! Ломота, ломит. Есть хочется — налимчика бы.

Небосклон свиреп. Лес бел. У цистерны моют рабыням головы (группы Юг), помогают, дадут пинка — и та летит, как сандалетка.

Гладкий, глубокий снег; запятнаешь — не выйдешь, ничего похожего на весну.

Мне кажется, жить с фруктами легче, чем с людьми.

У них вид есть — законченного плода, привлекательны на ощупь, вкус сочный, цвет разный. А люди — вид военный.

Если я умру, положите на мою голову яблоко и пронзите его железной стрелой; он любил фрукты.

А муравьи — у них челюсти отточены.

Будет март по числу, но по снегу зима; и костер адов. А на фоне огня идут три женщины с чемоданами, в касках.

Костер гремит, горит. Над ним раб М., Цезаря жжет.

Цезарь зажегся 15 марта, а запылает 16. А Рим запылает 17.

Сейчас ни у кого и домашнего очага нет, не до пыланья.

Серей дня не сыскать.

Так, сер, так сер день, что мысль в смятенье: если негры и папуасы за 50 лет «прошли» весь путь цивилизации, равный 7000 лет высокой белой расы, то о какой эволюции сознания может быть речь? Вечером сквозь стекло горят фонари — как сквозь сито.

## 8 март, 5

Биглы, хиппи, панки, денди, религиане, греки, Возрождение и Кубизм — прошли, проехали, никто и не заметил династий. Гиперреализм прошел. НО: увы, это ретро-моды. Что будет новой?

Джинсы прошли и вновь вошли. Они надолго. Это уж классическая форма.

На кухне цветок умер, японская вишня, из косточки растил.

Шар Земной состоит из 7 слоев, колец:

1. атмосфера
2. земная кора с водой
3. вода
4. минералы
5. воздух
6. металлы, магма
7. магнитное ядро.

Микробы проникают сквозь все слои, в ядре — и их центр.

Гармония любого холста тяготеет вниз, как и ноги. Холст художника повторяет тезы 7-ми колец Земли с тяготением к центру. Центр тяжести всего живого — живот. Много веселых и страшных игр у художников, и все они духом от единого Пастыря, но вселенская тяжесть — живот.

На скале трусов мало висит, штук 6. Зато на каждой секции по 2 креста, громоотводы. Или распинатели? До весны!

Далеко-далече до весен.

Рабы внизу стелют ковры, ждут, что я выйду. Я не выйду.

Ковры из мешков сшиты, вышиты красной нитью, метелочкой.

Слава Богу, ослепление «наукой» прошло, на людей смотрят прос-то — как на слабоумных. Пусть плачут, как Чаплин.

Сколько слез у людей, столько и солдат на Земле.

14 март, 5

Псы бегут в свете солнца.

Никого на дворе, как в Никарагуа.

Кто идет, стой, оставляя тень, неподвижную? Уж не девушка ль из ванной? Ночью она сидела в воде, как кошка, заголенная, глазами освещая всю воду. Говорят, что такая вода святая. Не нужно святости, я все слил в водопровод.

О любви не говори мне.

Как женоподобные появляются в ванной? Важно это?

Неважно.

Они скрашивают мою умственную жизнь, безрадостную и полуголодную. Баранины нет, в холодильнике наперсток красной икры, ею не наешься. Бюрю бы, чтоб попал в вихрях бык, с красной кожей. Его в Европе называют беф. А в Римской Федеративной Империи — как? Феб? У нас ведь все наоборот.

23 март, 5

Снег сетью, ловец человеков. Весну ждать и ждать.

Рабы идут с камнями за пазухой; или это женщины, и за пазухой груди. Детей везут на колесиках.

В ванне живет женщина, ягодицы как стекла очков, розовощекие.

По ТВ передача «Здоровье». Едят.

Живут рабы — идут, едят. Завтра годовщина убийства императора Павла (русского). Это по ТВ спекли в эту честь торт и съели его с цианом. Завтра объявят, кто сдох в ночь на 24. А в ночь с 24 на 25 убьют Павла, кавалера Мальтийского ордена, рыцаря не ко времени.

Мысли писать скучно. Виды писать — надоедает. Только набитый идиот думает, что он мыслитель.

А тот, кто смотрит на мир не так, у того и мысли не те.

У меня мысли — те, тупые. За сутки, прожитые мною, в ванной меняются одна-две женщины. Не успеешь ими насладиться, как лежат еще три-четыре; новые, хоть плачь.

Хоть плачь, а наслаждайся.

Был Сизиф, полуцарь-полубог, катал в гору камень по рельсам, а камень опять спускался. А Сизиф катал, катал. Он — наслаждался. Я задуман как родоначальник, вроде Адама, и мне дают все новых и новых женщин, чтоб в ножках у них родилось 40 колен рода людского, нелюдей; мутанты.

Надоедает, но мыться нужно на ночь, забудешься, войдешь в воду, опустишь голову и... встретишься глазами с девушкой, смотрит и не отводит глаз — нос тигриный и ручки славные, с пятью когтями. Остается одно — наслаждение.

Я — функционер.

А св. Августин приглашал всех наслаждаться Градом Божиим. Я согласен, но как? А дева лежит под боком, как бок белуги, и вот мы с ней идем и едим.

Так что оставим черную девку Соломону, а Церковь Божию Августину — так правдивее. А дева лежит под боком, как бок белуги, и вот мы с ней идем и едим. Соломон был похотлив и имел 4 млн жен и девиц без числа. А св. Августин писал:

«Любить и быть любимым мне сладостнее, если я мог овладеть возлюбленной. Я мучил источник дружбы грязью похоти, я туманил ее блеск адским дыханием желания. Гадкий и бесчестный, я жадно хотел быть изысканным и светским. Я ринулся в любовь».

Биографика — 17-летний выйдя из-под родительского ига, в 1-й же год пребывания в Карфагене Аврелий Августин сошелся с женщиной, родил от нее сына и оставался верен ей 15 лет. Он — «ринулся в любовь!».

Я о себе могу сказать так.

Еще св. Августин пишет:

«И две мои воли: одна старая, другая новая; одна плотская, другая духовная — боролись во мне, и в этом раздоре разрывалась душа моя». Возможно, что у него дело обстояло так. А у меня иначе, гармоничней, без драм и алогизмов.

Достоин ли я Града Божия?

Достоин, хотя бы потому, что я был ТАМ и видел светящийся круг, рисуемый Невидимым циркулем.

Как рассмотрели мы кольца Земли, рассмотрим кольца Земных времен:

1. от Адама до потопа
2. от потопа до Авраама
3. от Авраама до Давида
4. от Давида до переселения в Вавилон
5. от Вавилона до Рождества Христова
6. это сейчас; от Рождества Христова и длится
7. будущий век.

Будущий век — последнее кольцо времен, смерть; Град Божий, где скитальцы найдут себя. Я был в седьмом времени, я писал. Не страшно. Но не стоит мутить ум до поры, а придет срок — увидишь сам, а негу ее — живи, чего уж. Даже Орфей был ТАМ и жил потом. Но хитрей — зашифровал знаки чисел в музыку песен. Смерть кого бы то ни было — это свойство жизни вокруг. Судьба же твоя — это путь, независим от бесконечных смертей, которые ты видишь, это — твой путь с твоей смертью в конце, и она (судьба!) смутит или возвеличит одного тебя.

Меня этот путь не смутил, но возвеличил.

Я величаво вхожу в дверь, где клокочут воды, гор. и хол., смешиваясь в одну. О жизнь, единая вода — гор.-хол.-ная! — вьется воронкой, вытекающая в трубу. На краю сидит девица, как дециметр, позвонки на спине — как колокольчики. Рот опухший, воронкообразный. На вид она, а ягодицы, как шарикоподшипники, тонки.

Таких ню в ванной любил Сандро Боттичелли. Чем толще, тем любимей. Он любил, а я наслаждаюсь: кости постукивают, как колеса поезда.

Весны нет!

Ворона летит в тулупе, родину искать. Я люблю сорок.

Не обязательно пить все, можно ограничить свою жажду водой ада. Поставить стакан и обдуть его вокруг.

29 март, 5

Рабыни с каллиграфическими ногами, а у других ноги как буква Ж.

— Какая у тебя система жизни?

— Солнечная.

Голубь нагл, он в форме, а я одну страницу пишу шестой день. Я — нео-Гюстав Флобер. Его стоны о стиле уж очень многотомны, чтоб верить, как он по 60 дней писал 1-ую страницу. Тогда в год он писал по 6 страниц. За тридцать лет он написал бы 180 страниц — половину Бовари. Но он написал ровно в 1000 раз больше. Значит, он не лгал, а мистифицировал. Многие мистифицируют. То же и два брата Диоскуры — Микеланджело Буонаротти и Левниколаевич т.Алстой; расписывали мир людьми жизни, с потолка, не смущаясь ничуть. Разве это правда жизни — с потолка? Нет ничего мистификаторнее. Если кто громогласно кричит: «Я иду к людям любить их!» — останови его, сними с потолка, сунь в рот кость, обыщи, и ты найдешь под мышкой топор, отточенный до блеска.

Вот на шестой-то день я и увидел, как (или что?) на скалу поднимают нечто блестящее, большое и полное любви. Что это? — забеспокоился я. Это нечто было в белой рубашке с вышивкой, с бородой и сытое; оно блестело стилем изнутри. Я не мог понять, а потом-то, на шестой день дрожи, я понял, кого это поднимают рабы в небеси, на скалу, все выше: это ж Левниколаевич т.Алстой, зеркало!

От равноденствия до равноденствия — полугодие.

Шумит нечто . . .

Море безнадежности.

4 апр, 5

Море-океан, но в нем кита нет. Вот кит, уходящий в прошлое, то есть в иную жизнь, — это и есть живее всех живых.

А раб-римсы алфавитные, они не жизнь. У них от ног и земля вертится, как у белок. Белка летит, как сокол в колесе! А раб ползет по рельсам вверх ногами, с раздвоенным языком.

Я люблю голосом выть, расчесывая кудри девушкам из монастырей; был тут целый ряд монахинь в ванной, одна за другой ложились; под водой они расцвели; после приема в ванне я давал им пить чай, и они пили, как жемчужные. Вот что я делал шесть дней — с 29 марта до 4 апреля. Будущим читателям моих записей бросился б в глаза пробел — что ж делал автор шесть дней?

Благоразумие во мне больше ума, потому и пишу: эти шесть дней я провел между ванной и любовью к женщинам (временной). Временной, ибо эти спецгруппы уже стали записывать на юбки мои слова и рисовать мой образ, пальцем, на бумаге. Дело б обернулось еще хуже, если б утром я не увидел: ванна пуста. Я отоспался от наслаждений и, наточив ногти, сел за машинку.

Дисциплина — залог успеха у женщин, уходящих от нас вниз.

1 апр, 5

Я грущу — я пишу.

В желтой скале лежат дятлы на боку, медным брюхом поют; скоро, скоро апрель, полетят долбить бедных.

Апрель, и что ж, холоднее бы. Не хочу я тепла и света, мне б улететь с пестрым пером к дыням, в осень.

По ТВ: режиссеры снимают длинносерийные деньги.

Мысль ничья, она в синей голове кита, в звонком мозгу Бога, она дуновение свьше. Это о рыбах.

А о матросах.

Два брата — Симон и Андрей, рыболовы, и два брата — Иаков и Иоанн — чинили сети, Христос же сказал им: идите за Мною. И тотчас пошли за ним. Выходит, когда Христос шел по морю, за его спиной наблюдали четверо матросов. С Христом шло в море отношение 4 : 8 (об учениках). Что одному матросу два пехотинца! Не потому ли Симон получил ключи, что шел и тонул? Не потому ли Иоанн сидел слева? Не потому ли в Летучем Голландце 12 матросов? Не будет рыбы, не будет и моря, уйдет оно под низ.

Белый лев лежит на полке, хмурый, с рюмкой. Три засохших нарцисса, желтых, из рюмки свешиваются. Лев; и рюмка стоит рядом, просто стеклянная. Если лев лежит, сделанный из алебаstra, — он ведь не живой и не воскресший, а в общем-то он искусство на полке, безделушка.

Так и Бога сделали человекоподобным, как обезьяну.

По ТВ: ветер.

В этот день три женщины лежали в ванне, как костер — крестнакрест, — и горели.

14 апр, 5

Весной умирают сумасшедшие, а гордые гены фаллосов не хотят жить с женщинами, уходят в леса, и от них пойдут грибы, одинокие и полнокровные.

У греков грибы — обед богов; знаю что ем, форму.

Гриб — это гром; загремит вверху, и вся земля покроется грибами, вдруг.

В моем лесу грибы растут от света звезд, от одной радуги — явления величайших грибниц. Кто им друг? Комары и мухи, жабы, мыши, черви, змеи. Из новых это понимал Иероним Босх.

Свою связь с грибом понимаю и я: мне гром люб, я расцветаю, если гремит, это я — гриб-громовик.

Но ждать лета — жестоко.

28 апр, 5

Снилось, что День Рождения — мой!

Сон в руку!

Почему рабы-римсы низкозады? — бьются эндокринологи всей Европы. Но их низкие зады не мешают ходьбе. А у кого высокий зад?

На скале — простыней! Будто День Девственниц!

На столе апельсин и лягушка с ключиком, заведу — будет прыгать, как антихрист, железно-зеленый.

Уха чисто-серебряной плотвы, с янтарным кружевом. Меня стали душить слезы. Я съел уху, до дна.

Жаль, не на кого взглянуть задушевно, я б взглянул, чтоб поблагодарить взглядом, а может быть, и кивком.

Ванна. Я произнес несколько слов из ассортимента, пронизывающе глядя в воду. Она покраснела от моего взгляда (она — вода). И чисто, и пусто. Сюрприз без сюр! Глуповатое положение.

Проголодался.

Взял дохлого цыпленка и с помощью утюга сготовил из него; съел полностью.

Вечер. Можно уже сказать: вечерняя ночь.

Ел овсяное печенье, гладил собаку (воображаемую), спаниеля, каждая шерстка что шоколадка.

А на скале людей считают.

Сердце, летящее в грудь, как ядро, — что это? Женское сердце.

1 май, 5

В ванной все на месте — женщина в тужурке, с орхидеей, страстная. Нарезал свеклу звездочкой, ем. Девушка поет о ребенке. Да, поет, грудным голосом, дурен он. Пошел в ванную, дал ей в рот тарелку, пусть держит ртом, чтоб не разбилась; пенье, может быть, прекратится.

Не то чтобы жить не хочется, не то! Но как бы жить, кипя?

7 май, 5

Эх, китайцы, дети китов! А китобойные флотилии — это те, кто анти-китайцы. У кого рыбы лица? У китайцев. А на скале я ни разу не видел повешенной рыбы, а в старинных книгах читаю: на зиму рабы сушили рыбу, соля. Солит раб-римс суп, капусту, огурец в руке временно посолят, кошек солят — под хвост, чтоб смеялись, солят яйца и малахитовые шкатулки, едят дубы с солью. Юношей, отправляя воевать за мир, — солят с головы до пят. Посоленный юноша становится соль-датом. Покрытый солью.

Я часто и с тяжелым сердцем смотрел, как в окнах спозаранку появляются рабы группы Ост, они быстро-быстро мажут лица солью; был раб как раб, человеко-фигура, выращенная аллювиальным спо-

собом на скале, а теперь что — беломордый бык, и вот он в таком виде! Однако ж — вложи в ножны кнут, — скала уж высится!

Внизу много машин, зеленые, войсковые.

А вверху машин еще того больше — они летят.

Роза склонила голову на кувшин, а на стене часов нет. На хронометре 15.07.

Пью чай, чудесный, турко-итальянский, конфета пахнет, как скрипка, — канифолью.

А что ж будет, когда слез не будет? Мечты о поименном счастье — хуже idiotских, представляю — идут неопишуемые списки. Но счастье ль это — груди, полные сосцов?

Раб-римс выходит из скалы, надевает на ноги пропеллер и летит вниз головой, раскрыв руки. Раб летит, как крест.

И танк, стоящий и замаскированный в морковный цвет, стреляет в этот НЛО, и тот падает, убитый. И так десятки раз в минуту стреляют танки в парящие над землей раб-кресты, как будто это не танки, а пулеметы со щитками для глаз, от купанья, на солнце. Очень много танков. Они все механизированы. Репетируют: может ли раб летать; и, когда у него вся кровь прихлынет к лицу от положения вниз головой, — бьют пушки в него снарядом, прямое попадание и смерть, не сходя с места. Иллюстрация формул счастья: ни тебе материи, ни души нет. Это называется: ВОСТОРЖЕСТВОВАТЬ.

И не взвизгнется.

## 22 юн, 5

Море свирепо, оно вскрыто.

Ах, сколько чаек, а крылья врозь, как при штурме; белохвостые чайки, клюв — ку-крукс-клан, и крик такой же.

Во дворе кучи песка, будут делать пляж для бедных римсов. Бедные римсы!

Белье на скале вешают вперемежку — белое, красное, белое, красное; черного нет, желтого нет, — необожаемые цвета.

Шестой час в зените!

Идет ливень в снегу, сбивая плоскостями всех идущих ему навстречу; человек валится, машина гаснет.

Откуда и что несешь, снег, такой стеной, из-за которой не выйти. Ведь июнь, ведь океан.

Сейчас 13 часов 16 минут 22 июня 5 года, у океана. Самый длинный день в круговращении. А круг светел, и циркуль с ним. Там, где начинается книга, кончается любовь.

Там, где кончается книга, начинается диаметр смерти.

Не грусти, душа моя, одноклеточное животное! И мы останемся с тобой одни зеленые и синие.

## 23 юн, 5

Выглянул — утро, грозное облако низко ползет над океаном, к скале. К нему снизу прилепилось серовато-зеленое облачко.

Отчетливо вижу: оно вращается.

Вращается и вращается, нависая над скалой, вот и хоботок выпустило, воронку, и она уж вращается, сверхзвуковая, как первые формы смерча.

Да это смерч. Пыль поднялась ввысь, с земель и водная. Все вращается, снизу вверх, по спирали. Над скалой возникла колонна необъяснимой высоты, не менее 1,5 км, ярко освещенная внутри молниями. Шел гудящий, шипящий звук, рев.

И вот низ коснулся скалы, как гигантский цилиндр, надетый с высоты, как и купол, высочайший, скала скрылась.

Раздался взрыв.

Поскольку все закупорено стеклами, все и взорвалось.

Взрыв дал скользенье и взлет стекол, брызги из роз и миллионы людей, вылетевших в смерч. А из него в море. Было красиво смотреть, как летит в воду столько вниз головой, ныряя в неестественной позе. Они б спаслись, но ветер не тот!

Я вылетел, как хирург Г. Рурих, и тело его пронеслось в такую высоту, что, куда б ни упало оно, живым ему уж не быть.

За ним летели желтые рейтузы на веревке, как пожар.

Пусто, шум волн, белые обломки.

Второй смерч, идущий вслед, поднял море, и это стал столб высотой неопикуемой, нурукотворно крутясь! Водно-стеклянная масса, столб-високос, с шариками голов раб-римсов, — ушел, унесло.

Как быстро! Если б я описал это чудовищное дело, я б не смог, я б солгал, метафор штук на пятьсот! Говорят, смерч не уничтожает живых, а уносит и кладет их рядком где-нибудь, где прелестные уголки. Будем надеяться. Но кто их будет вынимать из этого океанского столба?

Я трогаю рукой корону — целехоньякая! Впереди — солнце, справа из-за цистерны выходит бык, буйвол, двурогий, рога изогнуты — почище, чем у лиры. На быке сидит верхом ребенок, седой; ему 72 года. Он так и родился сразу у матери, 72-летним, седовлас. Он уезжает на быке под занавес. Это Лао-цзы.

Над цистерной горят последние слова китайца:

**ЛЮДИ ЗЛЫ, НО НЕЛЬЗЯ СОВСЕМ БРОСИТЬ ИХ.**

Избыток дождя сливается по стеклу вниз.

Идут машины, шагами легкими, везут рабов — строить скалу вновь. Вдали тот же лес, к нему летит, звенящая, стрекоза, самолето-подобна, вот глаз у нее больше, чем у самолета. В лесу выходят из леса первые грибы. Женщины вяжут на лицо платочек. Треугольничком. Если его расправить, то получится квадрат — до Леонардо рукой подать. Дойдут и до Малевича.

**29 юн, 5**

Моя квартира — звуконеподражаема: слышно, как девушки с видом на тело моются, локоны никелируют; часы идут, как в бочку; если закрыть глаза, слышно: кровь, шума — от большого пальца ноги к указательному руки, — идет. Мой шаг исполнен достоинства.

Никак не пойму, что на пальцах ног — ногти? А на руках тогда — рукти? Не у кого спросить.

И слышу ответ:

— На ногах ногти, а на руках локти; а если обрежут руки по локти, что вырастет — рыбка в корзиночке, сплетенная!

Кто это, с таким задорным ответом? Иду в ванну. Нет никелированных. Лежит Аве-Аведь, во всю длину, в виде рыбы, по рту узнал, вечно говорящему:

— А Вы никуда не улетели, а ведь как я сюда попала?

Я говорю:

— Проще простого. Это ж смерч. Ты, как живой предмет, — летела, вытянутая в слюнку, с противоестественной скоростью. Ты пробила стекло, как иголичий укол. Попав в ванну, ты разошлась телом. Вот и все.

— Кто ж я? Теперь-то?

— Ты — палиндром. Читай: АВЕ-АВЕДЬ — ДЕВА-ЕВА.

— И я буду рыбой на века?

— Да нет. Осталось 5—7 страниц у книги, и ты останешься в памяти как образ. Рыбой уж никто не будет.

— Дева-Ева, Аве-Аведь. А ведь мягкий знак лишний.

— Лишний, но он уж для женскости.

5 юл, 5

Две маленькие девочки бегут (сквозь стекло) по океанскому берегу, одна — яблочко, вторая — груша. Глупые они и веселые, жизненные. У одной пальтецо в клетку красную с синим, а вторая в шелк завернута, как груша для отправки на континент. Им лет по 5, тут не дневал еще и Петрарка.

О Петрарке. Ничего себе чистота — жуть с женой, имея перед «внутренним взором» девятилетнюю девочку. И так до старости. Это больше похоже на разврат, чем на чистоту. Фрейд это не отметил, эссеист, а Набоков превратил Лауру в Лолиту.

19 юл, 5

Ров внизу полон желтой воды; полноводен.

Други с лопатой роют яму, входят в нее и стоят как вкопанные. Вкопанные и есть.

Кое-где мелькнет нога мужчины, это он выпростает ногу из голенца и окунет в ров, полноводный. Зачем? Поди спроси у голубя, зачем он летит в тыл роду людскому?.. Окунет ножку в ров, а та булькнет, а потом вынет ножку и стоит — вкопанный, как певец. Уж и типография есть, несут в ящиках большие буквы со своей фамилией и льют вновь винцо. Выпьют, идут ко рву с лопатой и стоят у желтоотводного рва, облокотясь, как вкопанные в землю. Да они и вкопаны.

Грустные виды вижу я в не светлый, а серый день 19 юл, 5!

Хоть бы кэб увидеть, или удмурту, или винтовку с трехгранным штыком, — и это из книг.

26 юл, 5

По ТВ.

Ах как хороши два негра на ринге, один из них белый! Удар быстр, как глаз, видно, легковесы. Один — финн, а второй — черноголовик, похож на еврея, видимо, негр.

Чай вспотел, я попил...

Бьются! Шлемы как у танкистов; у финна шлем с белыми перьями; у негра ноги черные.

Черный сбит с ног, сидит, а судья тычет в него пальцем. Сняли шлемы, ждут победы. Нет, черный тоже белый, он и победил, болгарин; то есть — турок.

Еще.

Двое в головных уборах — как египтяне. А кто они — ошибусь, но у обоих трусы белые и слева на груди корона вышита, как у девушек или как у великобританцев, похоже, из одной страны... Фигуры недоразвиты, бьют друг друга, обнявшись, под мышку. Кто они? Немец Кох. Третий раунд. Ноги настолько тонки, что не могут быть немецкими, ни у кого. Да, второй не немец, а монгол. Кох побил монгола.

Еще.

Сойдутся болгарин и армянин, что-то будет? Бой без шлемов, рыцарский. Армянин — левша, он и победит, сколько б болгарин ни дрался, не успеет привыкнуть к оборотной стойке, да и месть геноцида. Вот как его обрабатывают, готов, кувыркнулся через голову, но встал. Будет, будет бит болгарин до победы судей. 2 раунд. Болгарин закрывается перчатками, как мучными мешками, он получает по башке. Беда. Ох, умен армянин по фамилии Израэльян, не успокоится, пока не собьет. Сейчас повторится кувырок в лоб. Перчатки мелькают, как белые гири. Тренеры хлопают полотенцами, как орлы. Третий раунд. Армянин злой, как стрелок, хорош, хорош, с хуком, а болгарин груб и озлобленно-трусават, два раза с двух плеч швырнулся. Всё, разделяют их, развязывают. Судья зовет их — взять за белые ручки. Судья, нужно отметить, бурят. Победа армянина Израэльяна.

Чемпионат Европы: два турка (болгарина), армянин, немец и монгол, еще финн. И судья им — бурят, Эмиль Гава, ориенталист из Нага-саки.

1 авг, 5

В море строят железную клетку.

Новость!

Эта клетка не из блестящих брусьев, а из ржавых труб, невелика, но кто знает замысел зодчего; в глазах рябит от этой клетки. Черемуха не цветет, хоть по ТВ кричат как бешеные:

— Расцвела черемуха в аду!

Может быть, в железной клетке будут растить одного лосося на весь мир, для отстрела из гарпуна? Морских собак? Пиявок? Сенаторов? Гарсонов? Пока ломаешь голову, они застроят клеткой и море, и небо и скажут в мегафон:

— Смирись, гордый!

Или ж внутри клетки посадят беременную Мать с животом, распахнутым, как люк, и оттуда выйдет новый народ, очерченный циркулем на все 360°. А потом возведут столб с ангелом, огороженный клеткой, чтоб новые не взломали святыню?

— Иди ты на кий!

Хуже ругательства не придумаешь.

А у клетки ходит пушка морковного цвета; не ствол морковкой, а цвет, уже частица «как» числится как бы в проклятых.

У раба печаль свекольного цвета, а дети — дрозды.

Вот пушка стреляет, вылетает струя.

В ванне сидит женщина с двумя неизвестными; и они женщины. Говорят, я не брит, смотрю — не до бритья, заросший, нужно рубить бритвой щеки.

Женщины ушли с водой, вытекая из ванны в отверстие. И женщины, и воды — все идет в одно отверстие. И женщины, и воды — все идет. Они вытекают к клетке, трио: женщина М с двумя неизвестными, Н и Л, скрестив ноги, как иксы. Печаль моя.

Грустно спать, 12 час 05 мин, день-деньской, полудень! Солнце еще с ночи не ушло никуда, все тут. Дни настолько длинны, что зови Прокруста к ложу.

К нашему ложу времен.

Дни нудны.

Солнце, как собака, бежит, не отставая.

Ствол у пушки широк и кружится, под ним — испытатель. Вот что писал о нем Ло Гуаньчжун в книге «Троецарствие»:

«Он не любил читать книги, был великодушен; высокий рост, смуглое лицо, алые губы, свисающие вниз уши, глаза навывкате, длинные руки — все выдавало в нем человека необыкновенного». Его зовут Ингварь Кузоев XXXVII-й, двум тиграм не ужиться в одной клетке, и он строит себе железную.

Он, не я ж, Иоанн Новый.

Ствол крутится, а Ингварь Кузоев XXXVII сует голову в жерло и высовывает ее оттуда с пеной у рта. Пушка на колесах и с мотором, ствол широчайший, да и не как ствол, а как снаряд, конусообразен. Эта пушка стреляет не снарядами, а стволами — как вихрь.

Очень грустно весь день глядеть сквозь жиденькое стекло: вот летят клейкие листочки, где-то буря вырубил дом и сидит в нем, как в батискафе. А где-то Бог пишет дуги на небеси. За окном пушка шипит. Разве это — жизнь? Ну да, а что это? — жизнь.

Если б рабу дать пропеллер, далеко улетел бы он, при пушке?

14 авг, 5

На одной веревке белье висит.

На одной — как книжки, на другой — как рыбки.

Внизу ходит трактор, над ним чайка, палевая, идеальный рисунок. Трактор идет по песку в океан, существо трогательное. В голубом фургоне привезли пленных, на колесах, выгружают. Это рабы, сербы и персы.

Смерч унес скалу — на ветре, всосал. Но на географической карте есть еще люди, рисуют их.

По ТВ сообщение: результаты смерча превзошли все ожидания, унесло в неизвестность все население, сотни миллионов голов найдены в океане и мумифицируются. Остальные тоже найдутся в мелких речках, озерах и прудах. То есть положение на день-день: Империя цела, а раб-римсов в ней нету. С других континентов обещают дать персонал для строительства новой скалы у меня на виду. Но пока не дают. Отнекиваются, что у них жизнь не с дождем падает, а самозаждается.

От самок.

Хирург Г. Рурих улетел в ветрах, над морями. Где-то он уж скелет. А Аве-Аведь морской каймой обведена, как Дева-Ева. От нее-то и пойдет новый вид, когда люди из рыб станут эволюционизироваться в лилипутиков.

Долго я сидел в ванной (в ту пору!) и смотрел, зачем она в рыбу сделалась, кто ей велел? Знает ли она свое имя? Или знает — мое? Все отпеты; ветрами.

Я у окна, вертя на пальце шляпу-пентагон. И лес уж унесло, там тянется китобойная полоска.

Одно неоспоримо: и дикобраз рано или поздно станет человеком. Лучше б попозже.

Вот идет станция ТВ на колесах, называется «Магнолия». Двое тэвэшников с кинжалами на груди спрыгнули, освещая лицо дикобраза, он еще и орангутангом не стал.

На смену медицинской цивилизации пришло ТВ. Они ищут героя, потому и освещают. Все свои книги я написал от Я, а солнце предомной целый день стоит стоймя.

20 авг, 5

Еще вариант Башни — на громадных рельсах, как лифт, ходит по вертикали квартира автора. Это по ТВ, рационалы. Диковатая инженерия, но осуществимая. И почудилось, что скала оживилась и по ней ползет англичанин, бритт, Томас Эннинг, джентльмен, выбивая из белых известняков перламутровые катушки, аммониты; у него молоток и мешок; а эти штуки — жизнь на хлеб, сувениры, по десять шиллингов. Семейно он оставил многодетной. И вот дочь Мэри Эннинг берет геологический молоток и идет на Северное Кладбище, где стоит памятник отцу — дощечка и имя. Мэри бьет молотком по камням во круг, а с нею две собачки, беленькая и черненькая, нюхают; мустафайчики. И Мэри открывает кости, животные. Британский музей покупает скелет за 29 фунтов стерлингов. Это — ихтиозавр, первый отысканный после потопы. На ТВ — сенсация. Мэри — гений. Сербы и персы копают кладбище, несмотря на похороны. Чтоб пресечь энтузиазм, пришлось поставить пулеметы. О Мэри — лови миг удачи, — пели, — счастливый чай, игла в гробу. В 13 лет, спустя год, Мэри несет скелет еще одного ихтиозавра, длиной 8 м. В 23 года Мэри Эннинг нашла полный скелет плезиозавра с лапами. Великий Кювье, отец зверей в РФИ, вступает с Мэри в эпистолярную любовь. Через 7 лет Мэри найдет еще — юрский птерозавр. Гений — не тот, кто описывает, а кто видит как никто; то есть — то, что никто не видит. Мы и Мэри поста-

вили памятник, но его унесло: девочка в мраморе, с молотком, и две собачки, покрашенные.

Море опять наливается водой.

В железную клетку погрузили лохани с телами 36-и Ингварей Кузоевых, и Ингварь Кузоев XXXVII-й поднял якорь и вышел в море. Он взял еще кошку, крысу и голубя.

От Луксора до Куфта по всем берегам океана железную клетку сопровождали феллахи, стреляя из ружей, как это принято. Женщины в соку с нечесаными волосами шли и возносили кверху плач по мертвым, ритуал со времен фараонов. Ведь феллахи — потомки древних египтян, и им без фараонов — никак. Последние почести. Из железной решетки в ответ, уже из-за моря, стреляли снаряды. Убитые — выше жизни, потому что с ними уже ничего не поделаешь, это последняя мера.

Пророк Исаяя, племянник царя, не был возведен, отказался. Он пророчил. Он был мрачен; молчалив.

И тогда два народа привели Исаяю на площадь и взяли в руки деревянную пилу. Один народ стал с одной стороны, а другой — с другой. Исаяю же привязали к бревну. И тут он уснул. И мнилось ему, сонному: Тот, Чье Имя не называют, кричал на него:

— Исаяя, ты свят, спору нет! А народ твой двоичен, гадок, развратен, подл и вонюч от немытости; не любят Меня! Я говорю тебе: возьми венец и исправь народ. Сделай так, что пусть он станет антиподл, антигадок, антиразвратен и антивонюч. Но важнее всего — сделай ему любовь ко Мне, ведь Я один — первоисточник! Скажи им!

Неразговорчивый в быту, во сне Исаяя был и совсем молчалив. Но когда Тот предложил ему держать речь, он не вынес этой муки и воскликнул:

— О ГОСПОДИ БОЖЕ! Я НЕ УМЕЮ ГОВОРИТЬ, ИБО Я ЕЩЕ МОЛОД!

Когда он проснулся, его распилили пополам.

Ему было 120 лет.

И о другом.

Скрытый Имам, Махди, Надежда.

Люди жизни надевают белые одежды, выходят на берега и смотрят на воду, ждут. ОН должен прийти по воде, чтобы народ сразу узнал ЕГО. Ибо многие объявляли себя Махди, а были Ложью.

Конец.

---

---

## Андрей Арьев

# АРФОГРАФИЯ

### О прозе Виктора Сосноры, опубликованной и неопубликованной

Не летá, но сама поэзия склонила Виктора Соснору к свирепой прозе. Эта свирепость пугает, завораживает и влечет к себе так, как пугает, завораживает и влечет впервые увиденный континент с неведомым зверьем. Все на нем для путешественника внове, но, не струсив и обжив эту землю, он удивится еще сильнее: уж не в Прибалтику ли его занесло? А скорее всего, он и из Питера никуда не уплывал, сидит себе на берегу Финского залива. . . И закат в синих морских щелках — тот самый, на который глядишь ежевечерне. И как это ты не замечал до сих пор, что девушки, выходящие из воды, отсвечивают гладкой мокрой кожей, как зеркала? И «туман на море скользит, как тень». И — куда уж, кажется, безыскусней — по кромке воды бежит собака, «голова по-рыбьи болтается меж ног; вот выпал язык, не подняла, бежит далее. . .» Наконец темнеет, и целая лирическая сцена уместается в половину строки: «На улице был фонарь. Был поцелуй».

Все, что изображает Соснора, происходит и на наших глазах. Разница в том, что мы — увы! — не ощущаем мир как творящееся и творимое изо дня в день чудо. Не ощущаем, что бытие каждое утро предлагает нам свои неразгаданные тайны. . .

Мы листаем книгу собственной жизни, почти не зная ни ее языка, ни своих к нему способностей.

Искусству читать жизнь заново, читать с листа на «Башне», возведенной поэтом, в его «Доме дней», научиться можно. Даже в «День Зверя». И в первую очередь — отказавшись жить за чужой словесный счет. Совсем не во благо приобретенный. Только та речь хороша, что подтверждена личным душевным переживанием и им вызвана. «Это страшный разврат, — говорит Соснора, — когда пишущий опускается до голословия».

Лениво подхватывая удобное своей обиходной стертостью выражение, стоит хотя бы прислушаться, не звучит ли оно сегодня иначе, чем вчера, не дает ли новую «пищу для размышлений». Я сознательно употребил здесь вполне банальный оборот, чтобы показать, как его может преобразить легчайшим интонационным сдвигом художник. «Теперь у нас пища — для размышлений», — обмолвился как раз перед тотальным опустошением прилавков Соснора. . . А еще говорят, что поэты — «не от мира сего». Естественно. Ибо они еще *прежде* мира сего осведомлены о будущем.

Поэтическая речь — это и есть прорыв и пролет в будущее время. Обыденный язык живет прошлым, случившимся; поэтический — неведомым, новым. Потому что, как сказал не склонный к романтическим бредням Пушкин: «Сердце будущим живет. Настоящее уныло. . .»

Жить одномерным, равным лишь самому себе настоящим трудно. И там, где отступает будущее, веет прошлым.

Правда — и особенно в случае Сосноры, — насыщение художественного пространства образами прошлого не обязательно свидетельствует о движении вспять, о стремлении к реставрации рухнувших порядков. Ретроспекции автора «Башни» более внушены заботой об «общем деле» и идея «воскрешения отцов», кажется, много говорит его воображению.

Философия Николая Федорова воспринята и переосмыслена Сос-

норой не только в близкой ему поэтической рецепции Велимира Хлебникова и Николая Заболоцкого, но и непосредственно, *de visu*. Ни об одном из литературных шедевров не сказано у него с такой неожиданной для его речи безыскусной похвалой, с такой безоглядной порывистостью, как о текстах автора колоссальнейшей из русских утопий: «Ничего чище о жизни я не читал». И это при том, что саму кардинальную федоровскую идею воскрешения всех мертвых Соснора подвергает явному сомнению. Очевидно, сама по себе кристальная всеохватность замысла, бескорыстное ему служение производят на поэта завораживающее впечатление.

Собственно говоря, «Башня» — это не что иное, как поэтический ответ на духовный вызов автора «Философии общего дела». Ответ именно поэтический. Потому что прозаическая фабула повести — впрочем, тоже прикровенная — состоит в описании ощущений человека, претерпевшего клиническую смерть. Возвращаясь к жизни, он ведет дневник. Впечатления его вынужденно ограничены: вид в окне, экран телевизора, чтение. Он все еще в полудреме, и то, что пронесется перед ним как бы по внутренней стороне век, — для него реальность столь же неотменяемая, как облака в небе или дождь.

Но увлекательнее в повести более интимный, более глубокий «федоровский» сюжет — прохождение *сквозь* смерть к иной жизни, к *самовоскрешению*.

... Я вырвал сам себя у смерти  
и в смерти сам себя воздвиг, —

говорит у Сосноры Ангел в стихотворной пьесе «Хутор».

Ангел этот явно листал работы Федорова, причем не только «Философию общего дела», но и его статьи, в одной из которых читаем: «Последний акт Божественного творчества был первым актом человеческого искусства, ибо назначение человека — быть существом свободным, а следовательно, и самосозданным, так как только самосозданное существо может быть свободным».

Тема освобождения, прорыва к небывалому — не зафиксированному в опыте знанию — центральная в поздней прозе Сосноры.

Как художника на новую реальность его наталкивает метафора, открывающая неведомые, не опознанные действительностью, но несомненные для души смыслы. Можно даже сказать так: для Сосноры единственный способ «жить не по лжи» — это «жить по метафоре».

За тот реальный мир, в котором бродит поэт и который его рано или поздно убивает, он не ответчик. Творец, как понимает его роль Соснора, есть личность безвозвратно командированная, скажем по-старинному, Провидением за пределы нашей земной жизни — в пустоту будущего. Все то, что он пишет о настоящем времени — и в настоящем времени, — продиктовано опережающим веком сознанием.

Рельеф внутренней жизни рассказчика «Башни» разрывает контуры современного обыденного сознания. Метафорическая речь Сосноры есть способ постижения сегодняшнего дня с точки зрения дня грядущего, «бессмертной души». «Душа человека одна и ясна, друг мой, а жизнь — это на ней мундир», — говорит Соснора в «Башне».

Запечатленная в языке поэтическая фантазия (даю определение метафоры) раскрывает идеальную потенцию жизни — в ущерб материальной. И здесь Соснора категоричен. «Цель материализма — унижить», — утверждает он, энергично и оригинально расшифровывая эту максиму на дальнейших страницах: «Атеисты кричат, что нужно что-то делать для людей; они принимают людей за скотину, которая ничего для себя не может сделать».

Что ж, и впрямь — одной земной жизнью не утетишься. Особенно в России. «Холодно и лживо на земле», — говорит Соснора. Но, как художник, думает и видит иначе: «Снег идет, как свет».

Существеннее общеупотребительной орфографии для Сосноры «арфография», как он без ложной скромности охарактеризовал руководство по своей письменности. Это значит, что в его речи различимы небесные звуки арф. И вообще, силу его словесность набирает (вполне по-федоровски) из «атмосферы», а не из «почвы». «Каторжный труд», которым склонны себя обременять — весьма гордясь этим бременем — многие писатели, представляет собой, в сущности, нечто аномальное.

Широко цитируется пастернаковская формула литературы: «образ мира, в слове явленный». Соснора дает определение словесного искусства в сходных выражениях, восходящих у него (как, возможно, и у Пастернака) к тем же федоровским установкам. «Искусство есть также образ мира, — написано в «Философии общего дела», — воспроизведенный образно, словесно, музыкально, то есть всеми художественными средствами. . .»

Эти утверждения в случае Сосноры могут быть скорее уточнены, чем скорректированы. Зеркально в его «образе мира» реальность не отражается. Да и может ли «отражаться», если Соснора пишет, к примеру, так: «Стало светло, как во внутренностях шаровой молнии»? От Федорова идущий протест против искусства, творящего «мертвые подобия», воспринят автором «Башни» свободно и творчески: человек не есть «порождение природы», а говоря нейтрально, космических сил.

«Башня» Сосноры — на языке Федорова — это «востание (от глагола «встать», а не «восстать». — А. А.) живущего», символ «вертикального положения человека», «восстановление падшего», обращение всякой твари к небу. «Башня» — это также и символ единения, синтеза всех искусств в федоровском храме. «. . . В храме как изображении мироздания, бесконечно малом по сравнению с мирозданием, но бесконечно высшем его (мироздания) по смыслу, по вложенной в него (храм) мысли, в храме как проекте мира такого, каким он должен быть».

«Книга, — пишет Соснора в «Доме дней», — цветок, но ему нельзя доцветать, это уже будет плод». Не то чтобы плоды обязательно были плохи, просто о будущем гадают по цветам. Мечтать о ягодках, доверять лучшему завтра — наивно. А мы все предпочитаем ждать, а не жить. Мол, нынче еще потерпим. Утро вечера мудренее. Не мудренее. Утро уже случилось — сегодня. И украсили его не только ландыши. Соснора помогает разглядеть и иное: «след кованого солдатского сапога, двух ног, вставленных в голенище и выставленных как знак черного размножения». А вслед за этими сапогами «на фоне дюн и чаек по мирному времени идут танки».

Какая это эпоха? Наша? Да, но увиденная Соснорой за годы до «маневров» в Прибалтике, до Карабаха, Приднестровья и Таджикистана.

В искрах метафор, в живой путанице ассоциативных ходов — за ними и мысль не всегда поспевает, — в мгновенном слове прорастает, раскрывается мир, напоенный ливнем, смывшим с вещей и пыль, и культурную патину. Не всем это по душе — со старым, привычным уютней.

Однако принципы сосноровского письма на самом деле, может быть, древнее самых древних литературных канонов. Этот новатор старше любого из архаистов. Поэзия возвращена у него к временам, когда каждый звук — не слово! — еще значил для человека что-то особенное, сакральное. И сам человек опознается, как, например, в «Доме дней», по звуку «ч», а люди — по звуку «л». И еще неизвестно, что за этим «ч» воспоследует: в нем закодированы и крылатая чайка, и бескрылый че-ек, и чаёк, и чек, и чека — эволюционных возможностей не счесть. До человека каждому дано вырастать самому. И «л» —

люди — в прозе поэта тоже бывает всяческий. Об этом и «л» — литература. Об этом и «ж» — жизнь. «... Под каждым камнем зарыта ж...» — помня о Федорове, завершает Соснора «Книгу пустот». «Спаси нужно б. Печаль, бессмысленные меры наказания богов, незажженный свет, и нужно дать руку с надписью «да» или «нет».

Звуки у Сосноры как бы еще начинают вытягиваться в смысловой ряд, «правильных» слов и предложений почти незаметно: «... на юг — ну их!» — складываются из звуков смыслы едва ли не вернее, чем из слов. «Кара Марса вам, красномясам!» Так звучит на языке Сосноры грозное предупреждение поклонникам Карла Маркса...

Проповедовать на этом языке можно и самое время — для понимания его нужна не грамота, а умение и желание слушать: вспомним, как Франциск Ассизский завораживал своими речами диких зверей и птиц, а темные рыбари внимали Христу.

В поэте творимое им слово, выражающее дух вносимой им в бытие гармонии, рождается изначально и как бы независимо от него. Поэтический алфавит и поэтическую грамматику вырабатывает ему его собственная природа. Весьма неэлементарная. «Искусство возникает из Божьей дрожи художника, — определяет Соснора, — а кроме нее ничего нет». Поэзия уподобляется им трагической деятельности Христа: «Стихи — это сети братьев Зеведеевых, попался Христос, а думал, что завербовал их. Братьев-то завербовал, а сети поволок. Пока три Марии не сняли его с креста».

По этой интерпретации художественная проповедническая речь — выше, сильнее того, кто ею наделен. Поэт, чтобы быть поэтом, не может ее послушаться. Речь («дрожь») владеет им. Поэзия — особое «психологическое состояние», как с большей простотой, но не с большей вразумительностью говорилось в наши молодые годы.

Все это значит, что внутренняя гармония сильнее внешней и что автор настаивает на одном: духовная жизнь человека должна быть просветлена независимо от внешних условий существования. Романтическая идея? Никто, однако, не доказал, что романтизм умер...

Нужно «разучиться» читать (тем более пренебречь современной наукой быстрого чтения), чтобы научиться понимать речь Сосноры. Магические преимущества ее очевидны: она преображает наши ощущения, помогает увидеть, что живем мы не в унылой тиражированной «реальной действительности», а в неведомом «прекрасном и яростном мире» (Платонов, как художник, делал ту же работу, что и Соснора, а раньше их обоих — Хлебников). Обращаясь к этим художникам, с резкой отчетливостью понимаешь, что такое поэтический язык, в одно мгновение наполняющий душу неведомым прежде, но истинным смыслом.

В поэтическом слове концентрируется мощь — не штыка или кулака, — осязаемая мощь символа. «Лира, — говорит Соснора, — это бык за решеткой». И действительно: ее струны — железные прутья, скрывающие морду быка. Но обрамление из страшных рогов — не скрыто. Поэтический образ всегда объемнее мимолетно отразившейся в нем реальности. И тем самым полнокровней, долговечней, сильнее ее. Ясно, что Соснора никого не эпатирует (как это часто можно было услышать в разговорах о нем), когда заявляет о себе: «Ненавистник реальности, во имя жизни...» Жизнь для него — это внутренняя суть вещей, проявляющая себя в художественном образе.

Не имеет никакого отношения к нарочитой экстравагантности и собственно литературно-искусствоведческий сюжет этой прозы, ее культурологический мотив — даже в тех случаях, когда Соснора устанавливает мгновенную связь между Леонардо да Винчи и Казимиром Малевичем или рисует — в несомненном противодвижении к сложившейся школьно-академической трактовке — словесные портреты Ма-

яковского, Асеева, Каменского, Крученых, Брик и других повсеместно известных личностей. На них Сосноре не потребовалось ни масла, ни елея: речь у него идет о формулах — творчества и судьбы.

«Никто не начинал поэзию тюрьмой и Библией, в 16 лет». Это о Маяковском — исчерпывающе. Так же и о футуризме в целом: «Футуризм — это будущее — смерть. Футурист — смертник». Для Сосноры, повторим, будущее — это не отдаленное время, а скрытая суть вещей.

Я рискнул бы даже заметить, что Соснора сам выступает в прозе почти как педагог, как наставник, помогая освобождать мышление от грозных и грязных штампов.

То, что мы наблюдаем окрест, мы наблюдаем чаще всего без толку, напрасно — чужими глазами. Жизнь наша уплывает от нас самих, как будто она ни к чему не была изначально привязана, как будто ее и не было. А вот Соснора говорит: «Я помню, как я родился». И это в меньшей степени декларация, в большей же — хоть и поэтический, но факт. Художник — это тот, кто видит не напрасно.

Мы живем в том же «Доме дней», поднимаемся на ту же «Башню», что и автор этих романов с бытием. Не грех и поучиться у него его легкому отношению сначала хотя бы к быту, а уж потом к бытию: «Кот съел рыбу, вчерашнюю, ничего, я купил сегодняшнюю». Право, лучше улыбнуться удивленно вместе с поэтом, увидев ласточек: «... их сделали китайцы из иероглифов; остренькие, с нажимом», чем опустить шторы и уткнуться в телевизор.

В глубине сосноровских откровений и прозрений таится веселость. Обстоятельство очень важное для понимания его мироощущения в целом. Тертуллиан, великий богослов, о таком серьезнейшем из человеческих дел, как вера в Бога, некогда сказал: «Верую, ибо абсурдно». На этот счет существует огромная и вдохновенная литература. Проза Сосноры доказывает, что вера не отягощает человека, она — легка. Это легкое, радостное бремя.

Конечно, импульсивные сюжеты Сосноры можно рассматривать и как мозаичное собрание «поэтических миниатюр», «лирических новелл», «литературных портретов», глядеть на них как бы сквозь увеличительное стекло, порой перенапрягая зрение. И все же эти затейливые повествования не следует принимать за радужный калейдоскоп: верти как угодно — все равно сложатся гармонические узоры. В прозе Сосноры есть красная нить — жизнь поэта от рождения до им же самим прогнозируемого финала. Есть в ней совершенно точная хронология, есть то, что называется фабулой, есть знакомые лица, балтийский пейзаж, итальянские соборы, русская живопись... Это жизнь нашего современника. Жизнь, крепко связанная с историей. С ней самой, а не с ее пересказом. Соснора живописует ее, как природу после грозы, — такой же омытой, яркой и разгромленной. Чем фантастичнее этот исторический взгляд поэта, тем вернее: «1937 г., обыск. Нашли костюмы: английский, немецкий и японский. Взят как а-н-я-ский шпион».

Словесность Сосноры в генетическом родстве с тем, что создавали в прозе и стихах Хлебников, Цветаева, Заболоцкий... В ней, так же как и у этих поэтов, самоочищается русский язык, обретает новую энергию синтаксис, выявляется музыкальная природа его звукообразов. Делается это для извлечения из русской речи, при ее помощи и для нее самой новых смыслов. Не форм, нет, а именно смыслов. Формалистами следовало бы назвать как раз тех литераторов, кто больше всего с «формализмом» воюет. Свою одряхлевшую форму, покосившийся сруб, из которого ушла жизнь, они выдают за правду дедов и прадедов, в нем когда-то обитавших, его построивших. Их «общее дело» — не «воскрешение», а «эксгумация». Слишком много расчетливого кликушества в причесаниях о «неисчерпаемых кладезях», «бездон-

ных родниках» и «животворящих источниках» старинной речи, к коим нужно непременно «припадать», как псам. Художник сам — «родник» родимой и родившей его словесности. Следуя ее строю, он говорит, как Соснора: «плыву с любви», как будто — «возвращаюсь с войны». Русский язык все еще позволяет творить, он-то не мертв. Мертвы те, кто думает, что вся его сила — в былом и ушедшем величии.

Величие это не довлеет. Минувя столетия, Соснора вписывает в квадрат Леонардо квадрат Малевича, «черное квадратное солнце».

Словесная живопись Сосноры исходит из незаурядного в своей простоте факта: смотрим мы на ценности любой степени давности только в настоящем времени. Поэтому и в целом проза Сосноры определяется свойствами, роднящими ее с современной живописью: она ищет опоры в общем чувстве цвета и композиции, вполне допуская условность и размытость конкретного рисунка. Истинно в этом искусстве лишь подразумеваемое значение, и Соснора заботится в первую очередь о правдивости и силе производимого впечатления, а не о сходстве с натурой. «Шоссе Энтузиастов» не пересекает, как мы знаем — вопреки информации Сосноры, — «проспект Удавленников». Но башня, поставленная автором повести на углу этих улиц, заняла там свое истинное место и в топографическом, и в философском плане. Вся наша жизнь просвистела мимо этого перекрестка. . .

Чтобы по достоинству оценить мастерство Сосноры, нужно, конечно, обладать известной художественной культурой, навыком чтения поэтических текстов. Иначе придется недоумевая ждать ответа страниц двести, пока автор «Башни» ненароком не растолкует, что, скажем, персонаж Г. Рурих на самом деле «Хирург» и что употребление палиндромов (слов и выражений, читаемых зеркально, справа налево) проясняет в повести не только ее фабулу, но и ее философию: «О дух улетаю а телу худо».

Замечательно и остроумие писателя, заявившего, например, что 2-й том «Мертвых душ» Гоголь «не писал, но сжег». . .

От жизни к искусству пути извилисты или круты. Но они преодолимы. От искусства до жизни, казалось бы, рукой подать, всего один шаг. Опрометчиво, однако, думать, что Соснора его сделает или может сделать. Переход в прежнее, оставленное измерение был бы для него гибелен. Преодолевший бранные пути дух художества для него — лучший из всех возможных вожатых по лабиринту бытия.

Проза Сосноры всемерно помогает освобождению от власти придушивших искусство мнений и догм, санкционированных неучами. Уверен, что в недалеком будущем она войдет в славную все-таки историю нашей отечественной словесности.

Оголтело-увлекательному безмыслию щекочущего нервы читива, потрафляющего вкусам «широкого читателя» (и развращающего его дополнительно), кабацким стилизациям под «русскую старинушку», вульгарному прямоговорению охотно противоборствующих рядов пора все-таки противопоставить индивидуальный, незаимствованный эстетический поиск. Этот поиск не понятен — и не может быть понятен — до конца. Ибо о результатах не осведомлен и сам автор. Конечные цели в искусстве неведомы, как и в жизни. Так что в этом смысле пленительная и раздражающая воображение связь искусства с жизнью просматривается. Однако и не больше того. Когда нам все станет ясно, поэзия умрет. Но именно поэзия и не допустит того, чтобы нам все и навсегда стало ясно.

---

---

Нина Трейгер  
ДВА СТИХОТВОРЕНИЯ

\* \* \*

Сколько — не знаю еще — до конца.  
Шишки сварила с кусочком мяса,  
И записала эту строку,  
И разогнала этим тоску.

Господи, пожалей стариков,  
И работяг у пивных ларьков,  
И женщин замученных, и детей —  
От холода, голода и смертей.

Господи, пожалей старух,  
Почти утеравших зренье и слух,  
С ногами распухшими — быть беде —  
От работы, быта, очередей. . .

Ты пожалей — подобью итог —  
Тех, кто в семье и кто одинок;  
В сущности, этой ненастной порой  
Сердцем в сиротстве — каждый второй;

В сущности, и перед смертной чертой  
Каждый из нас — стоит сиротой:  
И ночью в больнице, когда не спасти,  
Тем более дома, один, взаперти.

Боже, не можешь помочь — пожалей.  
Может, слезу над нами пролей?  
Господи, я когда-то жила.  
И прожила — сколько смогла.

1990 г.

\* \* \*

Стылые зимние вьюги  
Скоро придут опять. . .  
В городе Санкт-Петербурге  
Будем зиму встречать.

Только — на осень глядя —  
Вижу окрест наяву:  
В городе Ленинграде  
Я до сих пор живу.

Не в толстостенном барокко  
Над величавой Невой —  
В хрупких блочных коробках  
Город второй, кольцевой.

Там замерзать няде  
На сквозняке ветров...  
В городе Ленинграде  
Наш тонкостенный кров.

В клетках — панельных стенах —  
Гладких «стеночек» уют...  
Там ленинградской системы  
Пришлые люди живут...

Те, что с двадцатого года  
Или с позднейших дней:  
Здесь нас теперь — полгорода  
Без петербургских корней!

Это другая тема:  
Сердце с аортой-Невой,  
Наше срастанье с системой,  
Кровное — с корневой;

И ярославец родом,  
Что живет на Песках...  
Будет за внешним городом  
Наш похоронен прах.

*1991 г.*

---

---

# Графиня Мария Э. Клейнмихель ИЗ ПОТОНУВШЕГО МИРА . . .

## Житейские воспоминания

Предлагаемый читателям «Согласия» новый русский перевод нескольких глав из мемуарной книги Марии Э. Клейнмихель (урожденной графини Келлер) сделан по редчайшему готическому берлинскому изданию 1922 года. Едва появившись, эта книга, выпущенная частным издательством некоего Августа Шерля и переведенная с «французской рукописи» доктором филологии А. фон Мейерамелунгом, с пятнадцатью оригинальными фотографиями, вызвала большой интерес и довольно быстро стала бестселлером. Непротяжительно и живо написанная, она состояла из пятидесяти глав и охватывала события и людей высшего сословия России и Европы начиная с 1861 года, когда графине было всего пятнадцать лет, и кончая трагической эмиграцией 19-го, когда еще свежи были в памяти многих страшные картины невозвратимых изменений «классической карты» Российской империи под властью большевиков.

В 1923 году семь глав из воспоминаний графини Клейнмихель, которые в русском переводе она назвала «Из потонувшего мира. . .», были дважды напечатаны и в Советской России. Вначале отдельной брошюрой в издательстве «Петроград» на серой мышинной бумаге с предисловием историка А. П. Преснякова (скрывшего себя под инициалами «А. П.»), затем тот же текст был опубликован в Исторических сборниках «Русское прошлое» (вып. 4).

Спустя несколько лет, как стало известно лишь недавно, берлинское русское издательство «Глагол» выпустило полный перевод мемуаров старой графини, но в Россию он почти «не прошел», вернее, не проник через таможенные барьеры, осев значительной частью тиража в библиотеках и книжных лавках Польши и Прибалтики. . .<sup>1</sup>

«Прежде, чем память моя угаснет и глаза мои закроются навеки,— писала в начале своего далеко не беспристрастного жизнеописания графиня, — я хотела бы рассказать людям о том, что видела и пережила. Будущим историкам, быть может, удастся выстроить из этих разбросанных страниц фундамент для изображения эпохи, в которой я жила и следы которой безжалостно сметены потоком революции».

Время выполнить это своеобразное «завещание» Марии Э. Клейнмихель пришло только сейчас. Мы искренне благодарны живущему в Хельсинки нашему соотечественнику, художнику-графику Фредди Гунсту, внучатому племяннику философа Э. Л. Радлова, подарившему нам уникальное немецкое издание воспоминаний графини, чудом сохранившееся в его библиотеке.

Перевод публикуемых ниже глав выполнен Е. В. Юнгер, народной артисткой России, актрисой знаменитого Театра Комедии им. Н. Акимова, которая уже много лет успешно переводит с романских языков. Кстати, недавно сама Елена Владимировна выпустила вторую книгу своих воспоминаний о встречах с окружавшими ее необыкновенно талантливыми людьми на протяжении более полувека.

Евгений Белодубровский

<sup>1</sup> Когда перевод этих глав был уже сделан и передан в редакцию «Согласия», в Фонд Публичной библиотеки Санкт-Петербурга 16 августа 1992 года из Прибалтики поступили сразу два экземпляра книги.

## 1917. НАЧАЛО РЕВОЛЮЦИИ

27 февраля 1917-го я пригласила на ужин нескольких близких друзей: графа и графиню Куракиных, занимавших в течение 25 лет нижний этаж моего дома, постоянных моих гостей; князя Мингрельского; обоих баронов Пилар — отца и сына; г-на Звегинцева, последнего губернатора Риги; Губастова, бывшего помощника Извольского, вице-президента «Русского Общества по распространению научных знаний», и нашего общего друга Николая Безака, впоследствии расстрелянного большевиками. Князь Мингрельский и г-н Губастов вскоре погибли от голода, холода и нищеты.

Мой старый дворецкий Андрей объявил: «Кушать подано» и распахнул двусторчатую дверь, ведущую в столовую.

...И вдруг пронзительные вопли, крики ужаса донеслись до наших ушей. Обезумевшая от испуга толпа наших слуг ворвалась в комнату. Лакеи, судомойки, повара в белых фартуках, поварята, горничные сбежались со всех сторон, крича: «Бегите, бегите отсюда, вооруженная банда ворвалась к нам с черного хода. Ранили двух дворников, пытавшихся ее удержать! Бегите, спасайтесь!» Лейтенант фон Пилар выхватил саблю, желая достойно встретить мятежников, но я, понимая, что они его разорвут и пролитая им кровь тяжким грехом падет на нашу голову, обхватила его руками, умоляя следовать за мной.

С гостями мы помчались вниз по свободной парадной лестнице. Еще немного — и все мы были бы растерзаны ворвавшейся в дом толпой.

С непокрытыми головами, без пальто, в легких туфлях добежали мы по глубокому снегу при пятнадцатиградусном морозе до дома напротив, где барон Пилар с сыном держали холостяцкую квартиру.

Вскоре мы увидели, как ярко осветились окна моего дома. При свете люстры бального зала, не заживавшейся с начала войны, мы увидели толпу людей, вооруженных палками, топорами, штыками. Они рыскали туда-сюда, срывали портьеры с окон, сдвигали в середину зала столы — обеденный стол был слишком мал для такой массы непрошенных гостей. Я видела, как немного погодя мой старый дворецкий подавал на стол блюда, а солдаты и матросы тащили бутылки и суповые миски, наполненные вином. Моих людей они тоже заставляли пить, открывая все новые и новые бутылки, опустошая мой погреб.

Наутро мы обнаружили, что мой дом превратился в неприступную цитадель, а неопрятная кучка солдат все еще продолжает пировать.

В квартире этажом выше, над Пиларами, жил член Государственной Думы Павел Николаевич Крупенский — брат нашего посла в Риме, состоятельный помещик и очень уважаемый человек. Я попросила его приютить меня на некоторое время, и вся его семья приняла меня радушно и сердечно. Пока мы пили чай и делились нашими жуткими впечатлениями, я наблюдала в окно, как сотни грузовиков, наполненных вооруженными солдатами, шли по Сергиевской улице и бесчисленные войска под предводительством офицеров, украшенных красными бантами, маршировали за ними. Большинство офицеров напоминало ягнят, гонимых на заклание.

Под вечер в комнату, где мы сидели — семья Крупенских, княгиня Кантакузен и я, — явился взвод солдат, чтобы арестовать Крупенского. Княгиня шепнула мне: «Надо уходить. Идемте со мной в китайское посольство. Я знакома с послом, уверена: они нас укроют».

Через бушующую толпу мы понеслись к китайскому посольству, находящемуся на этой же улице.

Китайский посол оказал нам самый теплый прием. Его жена и очаровательные дети окружили меня сразу трогательнейшим внимани-

ем. До самой смерти я сохраняю в душе благодарность этому благородному человеку. У меня не было ни белья, ни платья, но ему удалось послать ко мне в дом своего служащего, а тот, тайно переговорив с моей камеристкой, принес мне все необходимое. От него я смогла узнать, что там творится. Солдаты всех видов войск, Бог весть откуда взявшиеся женщины — множество людей спало во всех наших комнатах и даже на лестничных площадках. Все разграблено. Слуги мои в полубезумном состоянии, некоторые просто ошалели от страха. Раны одного из тех двух дворников, которые пытались удержать банду, были настолько серьезны, что его отправили в госпиталь.

На третий день после моего бегства мы с графиней Кантакузен сидели за обедом у китайского посла; вдруг, буквально проломив дверь, с дубинами к нам вломился человек пятнадцать солдат под командованием совсем юного вольноопределяющегося. И посол, и его первый секретарь пытались вразумить разнузданную банду, уверяя, что они не имеют права вламываться в иностранное посольство. Говорили они спокойно и на отличном русском языке. Но ворвавшиеся заявили в ответ, что пришли арестовать графиню Клейнмихель, так как стало известно, что она расстреливала народ из пулемета, а отец какого-то парикмахера и одна швейцариха даже утверждали, что своими глазами видели, как она, совершив такое преступление, забралась на крышу своего дома и в течение целого часа подавала знаки Вильгельму II о расположении русских войск.

Китайский посол немедленно попытался связаться по телефону с английским послом, очень влиятельным человеком, и попросил его употребить весь свой авторитет, чтобы помочь одной даме, чья жизнь находится в опасности (он не назвал мое имя), нашедшей временный приют в его семье.

Сэр Джордж Бьюкенен ответил, что дал слово П. Н. Милюкову не вмешиваться во внутренние дела России, никому не предоставлять политического убежища и что месье М. Палеолог и маркиз Карлотти присоединились к этому договору.

Добрый, отзывчивый посол и его супруга ни за что не хотели меня выдавать, готовые взять на себя мою защиту. Боясь, что в создавшейся ситуации по моей вине из-за жестокости дикой орды эти прекрасные, благородные китайцы с их восхитительными детьми могут пострадать, я сказала солдатам, что готова следовать за ними.

Солдаты плотно окружили меня, велели идти вперед, сообщив, что ведут меня в Думу, где председатель Родзянко распорядился меня повесить. Я сказала им: «Не могу идти так быстро». Увидев, что я действительно задыхаюсь, один из них добродушно заметил: «И правда, ты слишком стара, чтобы в такую даль идти пешком, сейчас найдем тебе мотор». — «Пусть старая шагает,— сказал другой солдат,— она нашу армию продала Вильгельму». — «Не без твоей помощи, ты, видно, так хорошо сражался на фронте»,— ответил первый. «Ах ты подлец, защищаешь ее, вот вас обоих вместе и повесят». Между ними разгорелся жаркий спор. Если бы не мои семьдесят два года, я с легкостью могла бы сбежать от обоих конвоиров, настолько они были заняты взаимными оскорблениями. И тут появился автомобиль с пятью офицерами. Солдаты остановили его, приказали офицерам выйти и уступить место графине-предательнице, которую они везут в Думу. Офицеры освобождают места не собирались. Тогда солдаты бросились на них со своими дубинами и заставили вооруженных до зубов офицеров исполнить их требование.

Солдаты влезли в машину, втащили меня за собой. Двое держали меня за руки, но и в таком положении я казалась им слишком опасной; командир этой отважной экспедиции, молодой доброволец, держал над моей головой на прицеле револьвер; выстрел, казалось, мог раз-

даться каждую секунду. Он был сильно пьян, рука его дрожала, и дуло пистолета задевало меня то за ухо, то за нос.

«Господин вольноопределяющийся,— сказала я ему,— сразу видно, что вы интеллигентный человек и, понятно, достаточно нервный. Не кажется ли вам, что было бы лучше, если бы вы спрятали в карман ваш револьвер: ведь вы случайно можете нажать на курок и застрелить кого-либо из доверенных вам воинов, а то, пожалуй, и себя самого. Подумайте, какая это была бы тяжелая потеря для вашего отечества». Он был очень польщен, что я назвала его интеллигентом. «Вы совершенно правы, я действительно ужасно нервный». Засунув оружие в кожаную кобуру, он дружелюбным и доверительным тоном стал рассказывать о своих домашних горестях, о неудачах на службе, жалуясь на то, что он во всем превосходит своих товарищей, но его никто не понимает. Мы подъехали к Думе, он помог мне выйти из машины и крепко, с чувством пожал руку.

Двор Думы казался совершенно черным от бесчисленной толпы людей. Солдаты с трудом пробивались через нее, но маленький доброволец зычным голосом командовал: «Дорогу! Дорогу государственному преступнику!» — и наконец мы добрались до одной из зал. Многие знакомые члены Думы сейчас же обступили меня, удивленно спрашивая, зачем я сюда пришла и кого ищу.

«Меня арестовали»,— отвечала я. «Кто вас арестовал?» Они бросились наводить справки и выяснили, что такого распоряжения никто не давал. Кто-то справедливо упрекнул меня в наивности: как, мол, я вообще могла позволить арестовать себя без ордера на арест. Солдат — моих конвоиров — пытались разыскать и расспросить, но все они исчезли, включая нервного интеллигента.

Непрерывная процессия автомобилей привозила все новых и новых арестованных. Министры, сановники, генералы... Огромный зал Таврического дворца, где когда-то Потемкин, любитель роскоши, каким он слыл в народе, устраивал блестящие праздники для северной Семирамиды, — этот огромный зал в последний раз видел тех, кто представлял собой наивысшие круги столицы — аристократию, дворянство, штатские и военные «верхи», так называемую «high life»<sup>1</sup>.

Стены этого зала, некогда внимавшие льстивым речам, прославлявшим самодержавие, теперь слышали только стоны и рыдания.

Один из захваченных генералов пробрался к столу, за которым я пила чай с несколькими сочувствующими мне депутатами. Глубоко взволнованный, он сказал мне: «Графиня, мы присутствуем при крушении Великой Империи».

А бесчисленные вереницы арестованных все прибывали и прибывали: почти все — знакомые лица.

Вдруг в соседнем зале раздался страшный шум, дикие выкрики, идущие с улицы в приоткрытые окна. Кто-то сказал: «Войска требуют выдать им на расправу генерала Сухомлинова», и в эту минуту бывшего военного министра втолкнули в зал, в растерзанном кителе, с выдранными орденами, со срезанными погонами. Совсем молодые люди, почти мальчишки, в офицерской форме грубо вцепились в него. Депутаты, желая успокоить оголтелую толпу, встав в два тесных ряда, окружили генерала, желая сохранить ему жизнь, и показали его разъяренным бунтарям.

Многие депутаты не советовали мне возвращаться домой: на улицах грабят, надо остаться в Думе, пока правительство не создаст комитет общественной безопасности, гарантирующий гражданам элементарную охрану. Мне указали уголок в перевязочном зале, частично занятом стенографистками. В данный момент некий молодой «Демулен»

<sup>1</sup> Высший свет (англ.).

с курносом носом диктовал им свою пламенную речь. Завтра она появится в газетах — стремительная, неистовая, призывающая массы к фанатическому героизму.

Разумеется, ночь я провела в кресле, видела, как приносили раненых, укладывали их на диваны.

## ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ПРЕССЫ

На следующий вечер привезли такое множество раненых, что не хватало сестер милосердия. Жертвы уличных боев, несчастных случаев и даже, как выяснилось, личной мести переполняли зал. Меня попросили помочь, и я изо всех сил старалась облегчить страдания несчастных.

Принесли очень толстого человека с тяжелым сердечным приступом. Он почти умирал, глаза вылезали из орбит, задыхаясь, он хрипел: «Воздуха, больше воздуха». Я расстегнула ему ворот рубашки, капала каких-то капель, второпях сунутых мне замотанной сестрой, стащила с распухших ног сапоги и, сложив газету, принялась во всю мочь обмахивать его. Он пришел в себя, глубоко вздохнул. «Спасибо, — пробормотал он, — думал, умираю, но сейчас уже лучше», — и, взяв мою руку, поцеловал ее. «Скажите, как вас зовут, хочу знать, кого благодарить». — «Перед вами графиня Клейнмихель», — ответила я. Он вздрогнул и приподнялся: «Как, вы... вы графиня Клейнмихель? Вы спасли мне жизнь? Да ведь я писал о вас безобразные статьи...»

Левая и националистическая пресса действительно почему-то ополчилась на меня. Статьи — одна глупее другой — обвиняли меня во всех смертных грехах, даже в падении стоимости рубля. Мое имя связывали с людьми, которых я в жизни не видала, цитировали слова, которых я не произносила, перечисляли посещаемые мной места, где я никогда не бывала.

— Зачем вы все это делали? — спросила я.

— Я корреспондент петербургской газеты «Копейка». Сказать по совести, у нас отвратительная профессия. Я подчиняюсь общему закону: чем скандальнее сенсация, тем больше гонорар.

— Но разве вы не можете теперь отказаться от них, признаться в своих ошибках? Я вправе ждать, что вы освободите меня от клеветы.

Он вздохнул.

— Очень бы хотел, но не могу. Ни одна газета не станет сейчас печатать опровержение насчет вашей милости. Поверьте, я очень, очень огорчен. Одно дело — преследовать кого-то, кого никогда не видел и не увижу, и совсем другое — когда смотришь человеку в глаза, чувствуешь добрую прохладную руку на своем разгоряченном лбу... Помните Верещагина в «Войне и мире», этого безвинного, которого граф Ростопчин выдал толпе? Тревожные времена войны жадны до жертв. Вы тот кусок мяса, что бросают диким зверям... Теперь никто не сможет вас защитить — тысячи газет во всех уголках России будут завтра повторять то, что мы сегодня выдумали...

Он так разволновался, что не смог продолжать, ему опять стало хуже. Своего имени он назвать не пожелал.

К вечеру я так устала, что, расстелив свое пальто на диване, где незадолго до этого умер солдат, улеглась и заснула как убитая.

Утром меня разбудил стрекот пишущих машинок и зычный голос полковника генерального штаба, патетическим тоном диктующего манифест об отречении царя Николая.

Итак, значит, все! Я не могла удержать слез, невольно вспомнила слова несчастного генерала: «Мы присутствуем при крушении Великой

Империи». Сколько ошибок, но и сколько славы, сколько могущества похоронено сегодня!

В кругу сдержанных, умеренных людей одним я казалась либералкой, другим — реакционеркой. Я часто критиковала беззакония, совершаемые под флагом самодержавия, и все-таки мне всегда казалось, что только единоличная власть, только монархия в состоянии объединить народы. Католики, протестанты, иудеи, мусульмане, язычники, огнепоклонники — люди с самыми противоположными интересами волей судеб живут в нашем необозримом государстве.

Проглотив стакан чая, налюбовавшись буйной радостью, восторженными объятиями стенографисток, студентов, медсестер и офицеров, я вышла из комнаты.

Первое, что поразило меня в коридоре, — многочисленная группа офицеров царского эскорта, казаков, чья нерушимая верность и преданность была известна всему миру. Им мало было красных бантиков в петлицах, они украсили свою грудь алыми шарфами, прикрепив их от плеча до пояса, как орденские ленты. Депутаты пожимали им руки, благодарили за отвагу и решительность. И двор, и улица у входа в Думу заполнились солдатами гарнизона. Родзянко ежеминутно выходил на балкон; каждое его появление встречалось неопишущим воодушевлением. Тот же восторженный рев, что две недели назад с таким же энтузиазмом приветствовал императора, оглашал широкое пространство. В кулуарах Думы, посмеиваясь и смакуя, рассказывали о горькой участи, постигшей нескольких высокопоставленных полицейских, оставшихся верными своему долгу: одного сожгли, другого утопили, третьего подвергли пыткам. Архив Министерства Юстиции спалили, арсенал разграбили, двух генералов, находившихся там, убили. Все тюрьмы открыты, политические и уголовные преступники выпущены. Над дворцами и домами подняты красные флаги.

На третий день я отважилась отправиться домой.

Придя к себе, на Сергиевскую, я увидела разгромленную, разворованную квартиру с варварски испорченной мебелью.

Кроме того, только что назначенный Комиссар моего дома устроил в нем распределительный продовольственный пункт для солдат, потерявших связь со своими частями. Эти люди, безнадзорно шастающие по всему дому, превратили его в большой постоянный двор. Как-то студенты и студентки готовили себе пищу не только на кухне, но и во всех гостиных, пели революционные песни, устраивали собрания солдат, обращая к ним с зажигательно-просветительными речами, а по вечерам под треньканье рояля предавались залихватским танцам. В этом содомском соседстве я провела две недели.

Для моего личного пользования мне выделили две комнаты и семь — для моих людей.

## МОЙ АРЕСТ

Власть все больше клонилась влево. Родзянко уже не кумир. Народный трибун Керенский — диктатор.

Однажды во время завтрака десятка три матросов и морской офицер под командованием молодого студента явились, чтобы заключить меня под арест. На этот раз они представили официальный ордер.

Моя сестра, навещавшая меня, уходила в слезах. Надолго ли мы расстаемся, увидимся ли когда-нибудь?

— Почему вы меня арестовываете? — спросила я. — Какое обвинение мне будет предъявлено?

— Вы враг народа, — был ответ.

— Каждому из нас вы должны выдать по три рубля в день на

пропитание,— высокомерно добавил морской офицер,— так нам платят во всех иностранных посольствах.

— Господин офицер,— сказала я,— объясните вашим людям — это совсем другой случай. Я вас не приглашала. Вы выполняете ваш долг, крайне тяжелый для меня, и еще требуете, чтобы я оплачивала ваш стол.

— Ради вашей безопасности советую удовлетворить их требование, — шепнул мне офицер и вышел вслед за студентом расставлять караул.

Почти весь мой служебный персонал арестовали вместе со мной. Дочь моей камеристки, служившая в банке, тщетно пыталась объяснить, что ей надо на службу; ее все равно задержали, а когда спустя два дня отпустили, выяснилось, что она лишилась места. Моя секретарша, англичанка мисс Плинке, ни за что не хотела покидать меня и добровольно разделила мою участь. Ее присутствие очень помогло мне в эти тягостные, тревожные дни.

Нам сообщили, что мы содержимся в секретном аресте и не имеем права ни с кем переписываться. Разрешается только единственное письмо министру юстиции, государственному прокурору Бессарабову, или председателю солдатского совета. Но прежде всего письмо должен прочитать дежурный матрос, чтобы не пропустить ничего запретного. Поскольку почти никто из них не владел грамотой, требование это казалось смехотворным.

— Обезвредить телефон у постели графини! По нему она каждое утро продает Россию, соединяясь с немецким послом и кайзером Вильгельмом! — заорал студент. Велико было его разочарование, когда мои люди растолковали ему, что, во-первых, на этом этаже есть другой аппарат, а во-вторых, графиня к телефону не привыкла, очень редко им пользовалась.

На второе утро моего заключения, когда я еще лежала в постели, в спальню вошли несколько матросов, и унтер-офицер обратился ко мне с неожиданным предложением. Говорят, я хорошо играю в бильярд, так вот, они требуют, чтобы я сыграла с каждым по партии.

— Система выборов для вас уже не новость, господа. Предлагаю вам выбрать трех делегатов, с ними я и сыграю три партии. . .

Заседание их с громкими спорами продолжалось не менее часа — никак не могли прийти к соглашению. Несомненно, в них пробудился парламентский инстинкт. Наконец три депутата были выбраны, я оделась, и мы пошли в библиотеку. Я выиграла все три партии. «На сегодня довольно, завтра продолжим игру», — сказала я им. Но завтрашняя партия не состоялась: представитель морского флота, ухившийся последним, украл все шары.

Уныло тянулись томительные дни; самым мучительным была полная неизвестность. Газеты я получала, имея удовольствие нередко читать статьи, направленные против меня, с самыми чудовищными обвинениями. Матросы менялись ежедневно, опьяненные не столько водкой, сколько своей новой свободой и чувством собственной значимости.

Относились ко мне по-разному, были среди них и очень милые люди, абсолютно не понимавшие ситуации, создавшейся в стране. Целыми днями мои охранники бродили по комнатам, рассматривали картины, пускали граммофон, пели песни. Им очень нравилось, когда я рисовала их. Некоторые из них собирались свои портреты послать домой, в деревню. Эта спокойная, ленивая жизнь их вполне устраивала.

Как-то я спросила, не стыдно ли им, таким здоровым, высоченным парням караулить семидесятилетнюю старуху, когда они могли бы так пригодиться на полевых работах. «А старуха-то права», — заметил один. «А тебя никто не спрашивает, — буркнул унтер-офицер, — нас по-

тому так много, что Совет рабочих считает вас очень опасной преступницей».

Иногда они вполне миролюбиво обсуждали мое прошлое, удивлялись, как это я могла такими слабыми руками стрелять в народ из пулемета. И приходили к заключению, что это, пожалуй, невозможно. А однажды дух свободы до того разыгрался в них, что они даже усомнились, что я и в самом деле сигнализировала с крыши Вильгельму.

Очень характерен для их психологии такой пример: у молодого, симпатичного матроса я спросила, не знает ли он лейтенанта Воронова. Лицо его радостно осветилось:

— Как же не знать, это бывший мой начальник на царской яхте. Очень хороший человек, мы все его любили, ведь правда? — обратился он к товарищам.

— Еще бы, это был замечательный офицер, очень хороший и справедливый командир. Мы так счастливы, что он тогда как раз уехал в отпуск, а то бы пришлось убить его вместе с остальными.

— Как? — воскликнула я. — Вы убили бы его? Вы же только что рассказывали, какой это был хороший офицер и как вы его любили?

— Ах, да, мы очень любили его, но все равно бы расстреляли. Таков был приказ.

И тут славный юный матросик поведал мне (вдруг нежное лицо его вспыхнуло злобой), что у них было два сорта офицеров: одних они просто убивали, а другим сперва отрезали нос.

— Какой ужас, — воскликнула я, — зачем?!

— Ну, у нас была очень веская причина: некоторые офицеры на занятиях стрельбой перед выстрелом совали палец в дуло нашего ружья, а потом мазали этим пальцем нам под носом; если оставался грязный след, они нас наказывали. Вот мы и постановили: прежде чем застрелить, отрезать им нос.

— Неужели вы были до такой степени оскорблены, что решились на такой кошмарный поступок?

— Нет, — равнодушно сказал он, — тогда мы об этом и не думали. — Но потом, — весело добавил он, — мы поняли, как они унижали наше человеческое достоинство.

— Да, да, — повторили матросы, как заученный урок, — наше человеческое достоинство.

Вскоре выяснилось, что тридцати трех матросов слишком мало для моей охраны. Прислали еще пятнадцать солдат из Волынского полка.

Волынский полк — первый, сформированный из мятежников. Командир его, вольноопределяющийся Кирпичников, прослуживший всего один год, был награжден генералом Корниловым Георгиевским крестом за героический подвиг — он застрелил командира своего полка, не желавшего подчиниться повстанцам.

Новых пришельцев матросы встретили в штыки; завязалась драка, перешедшая в настоящий бой. Командиры обеих сторон установили нейтральную зону — мою спальню.

Интеллектуальный уровень Волынского полка оказался еще ниже матросского. Это были настоящие варвары. Они устраивали состязания в стрельбе на парадной лестнице, целью им служили фамильные портреты дома Романовых. В глаза императрицы Елизаветы они тыкали горящие окурки, у Екатерины Второй вырезали нос, немисливо изуродовали портрет Александра Первого, замечательный портрет кисти Штейбена, подаренный мне моим свекром.

Самое страшное наступало ночью. Моя комната находилась между флотом с правой стороны и армией — с левой. Я запиралась с мисс Плинке и двумя камеристками. Мы баррикадировали дверь столами и креслами, взгроможденными друг на друга. Время от времени вдруг

выключалось электричество, потом зажигалось вновь, мы слышали крадущиеся шаги в коридоре, приглушенный шепот, тупой звук штыка, как бы сверлившего что-то на лестнице. Меня охватывал ужас. «Ну, последний час настал», — думала я. Было решено, что, если они ворвутся, мы выпрыгнем в открытое окно, выходившее во двор. К счастью, у меня как *ultima ratio*<sup>1</sup> — хранился яд. Он служил мне жизненным эликсиром, успокаивал мое сознание: в случае чего я избавлюсь от невыносимых мук.

Однажды ночью меня схватил такой сильный припадок *angina pectoris*<sup>2</sup>, что даже матросы перепугались. Унтер-офицер позвонил министру юстиции Переверзеву, и мне прислали врача.

Во время моего заточения я неоднократно писала Керенскому, умоляя его только об одном — ускорить мой процесс, чтобы я могла предстать перед трибуналом, опровергнуть все нелепые слухи, насыщавшие воздух, оправдаться перед людьми. Мне все еще не предъявляли никакого официального обвинения.

Ни на одно из пяти отосланных мной писем я не получила ответа.

Приближалась Пасха, радостный, мирный праздник, а мы все еще сидели под замком.

От столь долгого заключения настроение моего служебного персонала заметно стало меняться. Сыграли свою роль и агитаторы, постоянно посещавшие мой бальный зал, оглашая его фанатическими речами. Вечно бдительное око караульных матросов и солдат тоже не могло не раздражать моих людей. Все они много лет были у меня на службе. Одних я женила, других крестила, третьих воспитывала. Все мы составляли дружную семью, неразрывно, прочно связанную.

Однако измученные длительным арестом, в котором, конечно, они считали меня повинной, слуги стали требовать немалого денежного возмещения своего ущерба. Грустно и смешно становилось, когда, подавая завтрак или ужин, нацепив на ливреи красные банты, они щеголяли своей ученостью, выкладывая азбучные истины, сдобренные перлами большевистского словаря.

В пасхальную ночь мы с мисс Плинке собирались уже ложиться спать, как вдруг два матроса внесли к нам гигантскую корзину белых роз с визитной карточкой польского посланника в Риме, господина Скирмунта, частого и желанного гостя в моем доме. Прекрасные, душистые розы безмерно обрадовали меня. Этот мужественный, рыцарский поступок в такое время вызвал в моей душе незабываемую благодарность.

Пасхальный праздник, украшенный куличами и жарким, приготовленными моим поваром для матросов, привел их в такое благодушное настроение, что они пропустили к нам Магги — маленькую очаровательную сестричку мисс Плинке. Эта прелестная девочка вместе со струей свежего воздуха принесла нам и новости: Магги навестила мою сестру, которая повидалась с Сазоновым; Сазонов в свою очередь встретился с Милюковым, а тот — с Керенским. Выяснилось, что невиновность моя установлена, арест мой был просто уступкой обезумевшей черни и, как только правительство твердо встанет на ноги, я сейчас же буду освобождена; разумеется, если меня до тех пор не убьют.

И вот, наконец, после семимесячного плена явился Рыбаков, социал-революционер, комиссар нашей городской части, объявил мне мою свободу и приказал охране покинуть свой пост. Они не слишком охотно подчинились — служба у меня им очень нравилась.

Спустя несколько часов я уже обнимала мою сестру и принимала многих друзей.

<sup>1</sup> Буквально: последний довод (*лат.*).

<sup>2</sup> Астма (*лат.*).

## СЕМЬ МЕСЯЦЕВ ПОД АРЕСТОМ В ЦАРСКОЙ СТАВКЕ

...Граф Бенкендорф, обер-гофмаршал Двора Его Величества, умер в 1921 году в карантине под Ревелем. Скончался один из преданнейших слуг монархии.

Если когда-нибудь русский трон будет восстановлен, новому монарху будет очень не хватать именно такой рыцарской поддержки, такого вернейшего хранителя и знатока монархических традиций, которые сейчас, день за днем, исчезают в России. Но я не думаю, что вообще царедворцы переведутся в этой стране. Верно говорят: «Короли исчезают, но царедворцы остаются». Это продажное племя выстоит, пока будет существовать мир и человечество.

С Бенкендорфом мы виделись почти ежедневно. Мы жили по соседству — после того как отобрали мой дом — в маленькой квартире графа Лобанова на углу Миллионной и Мойки. Бенкендорфы — в двух шагах от меня — занимали несколько комнат в доме Великого Князя Николая Михайловича. Их неотступно преследовали большевики. Чуть не каждую ночь под любым предлогом являлись с обыском, забирали одну за другой вещи: кресло, софу, стулья, даже одеяла, белье, платья. Я постоянно видела графиню в слезах. Граф же оставался спокойным, он страдал только за жену, предчувствуя, что сам недолго задержится на этом свете.

Младший сын графини, князь Василий был отправлен вместе с Государем в Сибирь. Другого сына — Александра, капитана морского флота, арестовали, но через шесть недель выпустили, а позже взяли снова, и больше он не вернулся.

Пока в Петрограде оставались нейтральные миссии, граф Бенкендорф мог бы еще спастись бегством, но гипертрофированное чувство собственного достоинства и чести удерживали его. Он не желал покидать Россию, куда сыновья его жены были в смертельной опасности, надеялся помочь хоть одному из них, Александру, узнику Петропавловской крепости.

Он частенько с трудом приплетался ко мне, нуждаясь в общении. Жажда поделиться какой-либо новостью, обменяться впечатлениями и хоть на мгновенье забыть муки голода, холода, утлого освещения была настолько сильна, что он преодолевал все трудности и опасности, связанные с этими посещениями. Наша неумная фантазия изобретала немислимые прежде лакомства. Мы готовили сухарики из кофейной гущи, картофельных очисток и шелухи, добавляя еще чуть-чуть муки, песка, тертой репы и завалывшихся прошлогодних орешков. Конечно, они не могли утолить наш волчий голод, но ненадолго притупляли его. Счастливыми считались владельцы какао или, скажем, твердых французских галет — их можно было размочить в воде и сварить кашу.

Нейтралы и союзники по мере сил — а иногда и свыше этих сил — делали для нас все, что могли, дабы помочь нам, но нас было слишком много, а их ресурсы были весьма ограничены. Я до сих пор благодарна молодому графу Руджиери, который в эти времена проявил к нам необыкновенную заботу. А как мы любили американского генерала Юдсона, как ценили его прямоту, справедливость и доброту!

Но вот военные делегации разъехались, и призрак голода охватил нас всех своими костлявыми руками. Наступили неопишуемые мучения.

Графа Бенкендорфа, любителя покушать, голод буквально истязал. Однажды, полумертвый, граф буквально приполз ко мне прямо из постели, услышав от кого-то накануне, что я утром получила из Дании

от Скавениусов шоколад. Очень запомнился мне один вечер. Мы все сидели за столом. Канделябр стиля Людовика XVI (по странной случайности еще не украденный у меня) освещал серебряное блюдо, в котором было несколько рябчиков, приколованных вождельные взоры гостей. Из бутылки пунша, подаренной мне морским атташе, капитаном Клаасеном, я приготовила чудесный напиток, добавив воды и два лимона. Лимоны мне добыл один из моих людей, заплатив сумму, равную покупке драгоценного камня. . . Почти все гости, сидевшие тогда за тем столом у канделябра, погибли насильственной смертью. Трепов, один из консервативных лидеров Государственной Думы, — расстрелян; Бутурлин — расстрелян; Суковкин, последний губернатор Киева, — тоже расстрелян; генерал Ванновский, напоследок командующий дивизией, — расстрелян; Николай Безак, человек редкого ума и высокого образования, — убит; князь Мингрельский умер в тюрьме в страшной нищете; Константин Хартонг, гофмаршал Великого Князя Кирилла, тоже скончался в тюремной камере. В ссылке погиб последний губернатор Риги — Звегинцев. Скавениусы, сделавшие всем бесконечно много добра в то время и спасшие множество людей от петли и насилия; генерал Брадштрот, которому я лично обязана жизнью и свободой, — и они разделили страшную участь остальных.

Часто, очень часто проводила и я вечера у Бенкендорфов в доме Великого Князя Николая Михайловича, слушая его рассказы. Фредерикс, с которым я тоже часто виделась, говорил мне, что все рассказы графа абсолютно точны и правдивы даже в самых мелких деталях. И если, как известно теперь, Фредерикс вынужден был покинуть Государя в день его отречения, то граф Бенкендорф с женой разделили неволю с Его Величеством до самого отъезда его в Тобольск. Вот один из рассказов графа:

«В течение семи долгих месяцев неволи я не слышал от Его Величества ни одной жалобы, ни единого слова упрека: он был учтив, приветлив со своими тюремщиками и постоянно выказывал благодарность нам всем, хотя мы просто выполняли свой служебный долг. Государыня же была настроена менее благодушно, но оставалась сдержанной, холодной, молчаливой, стараясь не показывать волновавшие ее чувства. Но иногда буря, бушевавшая у нее в груди, прорывалась наружу.

Каждое утро, после смены караула, царская семья вместе со свитой собиралась на поверку в одной из дворцовых зал. Государь значился по списку полковником Романовым, Государыня — просто Александрой Федоровной, женой полковника. После этих униженных формальностей Государь обычно подходил к офицерам, пожимал каждому руку, улыбался, радушно спрашивал о службе, приглашал к обеду. Как-то вместо особого караула для плененного монарха дежурить выпало молодому офицеру, капитану охраны. После обеда, на котором молодой офицер присутствовал стоя у дверей, Государь, проходя с семьей к себе, протянул ему руку. Офицер к ней не прикоснулся. «За что?» — дрожащим голосом спросил царь. Кровь бросилась ему в лицо. «Мои взгляды, полковник Романов, ни в чем не соответствуют вашим», — сухо ответил молодой человек. Государыня сжала губы и резко сказала мужу: «Сколько раз я говорила Вам, Ники: не пожимайте им руки».

С этого дня Николай II больше не подавал руки офицерам.

Первым комендантом в Царском был полковник фон Коцебу, из уланов Государыни. Когда Гучков после революции был назначен военным министром, он взял фон Коцебу себе в адъютанты. Это был весьма светский человек, великолепно воспитанный и, надо отдать ему справедливость, делал все, что было в его власти, чтобы облегчить быт

арестованной царской семьи. Государю же он всегда подчеркнуто выражал глубокое уважение и, несмотря на запрет, обращался к нему не иначе как «Ваше Величество».

Коцебу был хороший музыкант, принимал участие в наших маленьких собраниях у обергофмейстерши мадам Нарышкиной, такой же невольницы, как и мы, при Государе. Государь и Великие Княжны тоже всегда посещали вечера. Государыня бывала реже, часто болела. Иногда она играла с Коцебу в четыре руки. Он приносил книги для чтения, покупал по поручению Великих Княжон конфеты и фрукты, приносил игрушки наследнику. Однако вскоре Керенский заменил его другим офицером. После этого границы наших прогулок в Царскосельском парке сильно сузились. Особенно тяжело было бедным пленникам: им отвели небольшой двор, решетка которого выходила прямо на улицу, так что они все время находились на глазах у прохожих. Число же любопытных было неизмеримо, особенно по воскресеньям и праздникам. Поезда привозили из Петербурга целые толпы зевак, и столько же приходило из окрестностей. Сторожа парка пользовались любопытством публики, пуская ее за деньги посмотреть на царскую семью. Несчастные вынуждены были часами слушать хамские выкрики фанатичной, полной ненависти черни. И в самом доме иногда не удавалось укрыться от чужих глаз. Стоило Государыне или юным княжнам приблизиться к окнам, как часовые начинали гоготать и делать непристойные жесты.

Доктор Боткин направил меня к князю Долгорукову с просьбой позволить оснастить немного одну из лодок в Дворцовом пруду, чтобы маленький мальчик-наследник с сестрами, хорошо умевшими грести, могли немного покататься и поразмяться. Такая прогулка была Долгоруковым разрешена, и это очень обрадовало бедных детей. На следующий день эту лодку нашли запачканной, загаженной, исписанной непотребными надписями, и кататься уже в ней было совершенно невозможно. Зачинщиками этой подлости оказались привилегированные матросы царской яхты «Штандарт», на которой Государь прежде совершал с детьми морские путешествия, а ее команда, естественно, была очень обласкана и избалована царской семьей.

Шли месяцы. Мы были почти отрезаны от внешнего мира, только официальные листки революционного правительства, все еще находившегося у власти в России, приносили кое-какие новости. Мадам Нарышкина не выдержала такого образа жизни, заболела и попросила отправить ее на лечение домой, что и было сделано. Ее сын, товарищ детских лет Николая II, первый его адъютант, сразу после начала революции отказался от своей должности. Впрочем, он был не единственный. Большинство придворных, тесно окружавших Николая II, повели себя как крысы на тонущем корабле!

Замечательным событием, достойным рассказа и описания, был визит Керенского в Царское Село. Керенский воспользовался царским поездом в сопровождении блистательного штаба свиты. На вокзале в Царском его ожидал ролл-ройс, великолепный лимузин, привезенный Государем из Англии за несколько дней до начала войны. Лимузин доставил Керенского во дворец. Цель его визита состояла в том, чтобы убедиться, что все распоряжения нового правительства точно выполнены и что всякая возможность побега царя предотвращена.

Мелкий адвокат, предпочитавший маскироваться под фабричного рабочего — в кожанке, в рубашке, шитой из суровой ткани, — теперь предстал перед нами в английской форме: френч от первоклассного портного, желтой кожи бриджи и сапоги со шпорами. Держался он грубо, заносчиво, надменно.

Первым делом Керенский проверил все караулы, обошел все двор-

цовые залы, после чего крикнул солдатам: «Следите зорко, товарищи, следите зорко!» Потом повелительным тоном обратился ко мне: «Пойдите и скажите полковнику Романову, что я здесь и хочу говорить с ним». Через некоторое время я ввел Керенского к Государю. Войдя, Керенский первым протянул руку царю, Государь пожал ее. Он был спокоен, скромен, ничто в нем не выдавало ни волнения, ни дурного расположения духа.

Керенский сделал знак, чтобы я удалился. Я сделал вид, что не заметил этого жеста. «Оставьте нас с Александром Федоровичем вдвоем», — сказал тогда Государь. Я повинился. Через полчаса Государь позвонил своему камердинеру и попросил позвать к нему меня. «Александр Федорович хочет повидать Государыню. Пожалуйста, проводите его к ней». Я поклонился и последовал за Керенским. Он обернулся ко мне и сказал: «Да, мне необходимо встретиться с Александрой Федоровной. Для меня очень важно переговорить с ней наедине». Я ничего не ответил.

Керенский с добрый час находился у Государыни. Когда он вышел, я заметил в нем некоторую перемену: смягчился взгляд и несколько изменилась вся выправка, его фигура сделалась менее театральной. «Я представлял ее совершенно иначе. Она очень любезна и, кажется, безупречная мать. Какое мужество, какое достоинство, какой ум!» Он вернулся к Государю и пробыл у него еще с четверть часа.

После отъезда Керенского Государь, к моему глубокому удивлению, с очень довольным видом сказал мне и князю Долгорукову: «Знаете, Государыня произвела на Керенского превосходное впечатление. Он несколько раз повторил: «Какая она умная!» Мне показалось странным, что мнение Керенского могло обрадовать Государя.

Государь много читал, главным образом о Французской революции. Он мало знал об этой эпохе и буквально с головой углубился в «Историю жирондистов» Ламартина. Иногда он порывался прочитать некоторые страницы Государыне, но нервы ее были настолько напряжены, что она не могла переносить рассказы о Марии Антуанетте. Царь сравнивал себя с Людовиком XVI и находил себя более счастливым, чем король Франции: с ним оставили его семью.

После визита Керенского Временное правительство сократило обеденный рацион царской семьи с пяти блюд до трех, что вызвало некоторое неудовольствие княжон. Государь в назидание прочитал им отрывки из книги Ламартина и добавил: «Не жалуйтесь, дети, все могло быть гораздо хуже».

В конце августа Керенский явился снова. Он сообщил Государю, что Временное правительство постановило для обеспечения полнейшей безопасности переменить место жительства царской семьи и отъезд должен последовать безотлагательно.

«Куда нас посылают?» — воскликнул Государь. «Об этом вы узнаете по дороге», — прозвучал ответ Керенского.

Николай II обладал непоколебимым оптимизмом. Дружелюбный тон Керенского вселил в него уверенность, что их отправят в Крым, куда ему очень хотелось.

На сборы Керенский дал нам всего несколько часов. Я, конечно, был готов следовать за Государем, но Николай II ласково сказал: «Об этом и речи быть не может, дорогой Бенкендорф, ваша жена больна, как же можно ее оставить! Я возьму вашего пасынка Василия Долгорукова, генерала Татищева, доктора Боткина и м-сье Жильяра. На первое время довольно. Когда ваша жена поправится, вы сможете присоединиться к нам».

Очень взволнованы были дворцовые слуги. Надо сказать, что люди, непосредственно обслуживающие всю царскую семью, оказались на

высоте. Никто из них не отказался от своих обязанностей. Остальной персонал, уже раньше проявивший себя не с лучшей стороны, разбежался, увлеченный ложно понятым патриотизмом и либеральными идеями.

Отъезд Керенский назначил на три часа утра. В половине третьего все отъезжающие и другие обитатели дома собрались в Дворцовом зале. Пробыло три часа, затем три с четвертью, половина четвертого, четыре... Все продолжали ждать, Керенский не появлялся. Наконец Государь послал офицера выяснить, где же диктатор. Вернувшись, офицер доложил: диктатор спит, никто не смеет его будить. Все были совершенно готовы к отъезду. Наше напряжение дошло до предела, но все мы склонялись перед безропотностью того, кто совсем недавно был всемогущим властителем всей России. Домовый священник уже прочитал молитву. Особенно радовались предстоящей перемене дети, больше всех — веселый и оживленный цесаревич. Все верили, что едут в крымскую Ливадию.

Наконец, через два часа ожидания, явился Керенский в высоких сапогах, свежий, отдохнувший. Не извинившись, он обрадовал всех собравшихся вестью: «Отлично выспался, теперь можно и в путь».

И в руках такого человека находилась судьба России».

## БОЛЬШЕВИКИ И ЖЕНСКИЙ БАТАЛЬОН

Весной 1917 года Генеральный Штаб Германии отправил через Финляндию в Россию в запломбированном вагоне будущего главу большевистского правительства. Наши враги, немцы, посылали нам большевиков с той же целью, с какой слали на нас танки и ядовитые газы. Все враждебные нам воюющие нации поддерживали этот шаг, финансируя Германию крупными суммами.

Масса народа с воодушевлением приняла в Петрограде приехавших большевиков. Ленин немедленно завладел особняком балерины Кшесинской (будущей жены Великого Князя Андрея Владимировича), стоящим напротив Петропавловской крепости, и великолепной виллой Дурново на берегу Невы. В доме Кшесинской он расположил свой штаб; здесь развивалась и зрела под снисходительным, хоть и не очень благосклонным оком Керенского и таких же слепых, как их бессильный властитель, гибельная пропаганда. Кшесинская и Дурново перевернули все вверх дном, чтобы при помощи опытейших и умнейших адвокатов отстоять свои владения. Удалось добиться положительного ответа тогдашнего министра юстиции Переверзева, доказав ему, что, так как частная собственность еще не отменена, нельзя, забегая вперед, отнимать ее у хозяев. Все это привело к тому, что Ленина, вопреки закону, не выселили, а Переверзева убрали в отставку.

Как видно, буржуазное Временное правительство 17-го года не могло уже воспрепятствовать вставшей на ноги большевистской идее.

Благодаря приказу № 1, подписанному Стекловым и Чхеидзе, а главным образом благодаря распространению публикации «Права солдата», составленной и обработанной предателем Поливановым, бывшим военным министром, — большевизм проник в армию, угнездился там и продолжал свою подрывную работу.

Никогда не забуду ночь 25 октября 1917 года. Сестра, очень тревожась обо мне, попросила графа Руджиери, военного атташе итальянского посольства, разузнать что-нибудь обо мне.

Поручение это могло ему стоить жизни: он бежал по улице буквально под градом пуль. Я жила в моей временной квартире на углу Мойки, в двух шагах от Зимнего Дворца. Непрерывная ружейная пальба, бе-

шенный треск пулеметов, грохот канонады — этот адский концерт сотрясал стены, стекла в окнах дребезжали и со звоном лопались. Мои слуги, онемев от страха, забились в погреб.

Защиту Зимнего Дворца и своей собственной персоны Керенский поручил юнкерам, воспитанникам военного училища, и женскому батальону, сформированному в основном из слушательниц высших курсов, то есть мальчикам и девочкам. Я знала знаменосца женского батальона — дочь адмирала Скрыдлова, героя 1877 года, которая была необыкновенно хороша собой.

Юнкера не выказывали особого усердия, радуясь любой отлучке или подмене, вступали в препирательства, занимались жеребьевкой, а затем с полной готовностью выкидывали белый флаг и сдавались большевикам.

Девушки (их было несколько сот), наоборот, почти все погибли на своем посту, убитые сразу или смертельно раненные; красные орды, ворвавшись в Зимний Дворец, растащили отбивающийся женский корпус по казармам, чтобы насиловать и убивать.

В то время, когда эти девочки, как львицы, сражались за Керенского, сам диктатор, не внемля этим бессмысленным жертвам, был уже далеко. На мой взгляд, это самые темные страницы его жизни. Хочу добавить, что в женском батальоне до последнего часа царила безупречная дисциплина, непримиримый дух и отчаянная отвага.

## МОЕ БЕГСТВО ЗА ГРАНИЦУ

В конце восемнадцатого года жизнь в Петрограде стала настолько невыносимой, что я надумала покинуть «Совдепию». Выпуская отъезжающих, советское правительство ставило им определенные условия. Я решила покорно выполнить все распоряжения и формальности, чтобы легально получить паспорт. Сперва я должна была обратиться в «Комитет Бедноты», недавно организованное ведомство гражданского надзора, затем в рабочий Совет и потом уже получить разрешение от матроско-солдатского Совета. Все это потребовало немало времени и сильно истощило мой кошелек — извозчики, очень редкие тогда, брали сто рублей за проезд в один конец. Домой я возвращалась совершенно измученная, с тем чтобы завтра с утра начать все сначала.

Бесконечно странствуя от одного комиссариата к другому, я везде встречала резкий, грубый прием — не только у всемогущих комиссаров, но и у секретарш, как правило, молодых, хамоватых девиц с высокомерием министерских чиновников старого режима, еще более важных, чем сам председатель Думы.

Наконец подошло последнее испытание — медицинский осмотр. Все получавшие разрешение на выезд за рубеж подвергались в обязательном порядке обследованию большевистских врачей. Заключений и свидетельств крупнейших специалистов и профессоров было недостаточно. Безуспешно ходила я пять дней подряд в этот новый комиссариат, не имея возможности даже встать в очередь. Нас, желающих избежать порабощения «новой, свободной эрой», было такое несметное множество, что следовало запастись величайшим терпением. Небольшие комнаты ожидания, невыносимая духота, спертый воздух... Некоторые пришедшие с легким недомоганием покидали помещение чуть ли не смертельно больными. На любой, самый простой вопрос большевистские бюрократы отвечали базарной руганью. Когда долгожданная дверь открылась и нас, пятерых женщин, впустили, я была совершенно обессилена. Мы предстали пред очи ареопага, состоявшего из пяти советских врачей. «Товарищ» в очках с длинными грязными волосами, сидевший за от-

дельным столом, очевидно, комиссар, грубо рявкнул: «Раздевайтесь!», как будто нас собрали для набора в рекруты. Путаясь в застежках, помогая друг другу, мы расстегнули наши платья, и каждая попала в лапы отдельного врача. «Мой» пощупал пульс, выслушал сердце, проделал все обычные процедуры. Должна отдать справедливость всей пятерке — врачи оказались на высоте. Они были далеко не в восторге от вынужденного задания, но старались как можно осторожнее и мягче обращаться с нами. Комиссар злобно и язвительно покрикивал на них, чтобы побыстрее пошевеливались. Доктор обнаружил у меня самые разнообразные болезни, о которых я и не подозревала, и выдал мне замечательную справку. Я была очень довольна: кажется, приближение к свободе забрезжило.

На следующий день я отправилась в комитет по иностранным делам. Как всегда после долгого ожидания, со всех сторон сдавленная толпой, я была принята комиссаром — молодым, атлетического вида грузином Лордкипанидзе, сухо заявившим, что он просмотрит мои бумаги. Несколько дней назад, как мне рассказывали, он ударил кулаком в грудь княгиню Палей, жену Великого Князя Павла. Эти новые формы большевистской дипломатии взамен столь часто критикуемого лукавого лицемерия, по крайней мере, были просты и понятны: дал кулаком — и все ясно.

Через несколько дней красногвардеец принес мне приказ: завтра в полдень явиться к Урицкому на Гороховую улицу для получения паспорта. Урицкий был председателем чего-то вроде *Comité du Salut public*<sup>1</sup>. Его имя вызывало такую же дрожь, как в давние времена *Fouquier-Tinville*<sup>2</sup> — у французских аристократов. Тем не менее я страшно обрадовалась этому приглашению: там было ясно сказано — «для получения паспорта».

Утром, гораздо раньше назначенного часа, я подошла к Гороховой. Вся улица была запружена народом; бывшая полицейская префектура, где обретался Урицкий, оцеплена войсками.

Убили Урицкого! . . . Никто не жалел об этом так, как я. Теперь террор усилится во всю мощь, мой отъезд, скорее всего, сорвется.

Арестовали князя и княгиню Меликовых — убийца, молодой социал-революционер Каннегисер, входил в тот дом, где они жили. На улице я встретила взвод солдат, сопровождавших кучку арестованных женщин; княгиня Меликова с маленьким свертком белья шла с ними. Пройдя несколько шагов, я увидела и другую группу захваченных, заметила в ней князя Лорис-Меликова, постоянного нашего партнера по игре в бридж, и графа Татищева. Его жена, дочь обер-гофмейстерины Нарышкиной, всхлипывая, поспешно семенила за этим печальным шествием. Проходящие пленные, узнав меня, крикнули: «Нас ведут в крепость!» — «Вот, сейчас и меня туда заберут», — подумала я, но солдаты очень то-ропились и только пригрозили мне прикладом.

Все это происходило на Миллионной, рядом с моим домом. Я сейчас же побежала в датское посольство, расположенное поблизости. Там жил посол — господин Скавениус, истинный ангел-хранитель. Сколько добра сделали они с женой, сколько помогали людям — перечислить невозможно! И тут он немедленно начал действовать, чтобы выволить несчастных пленников.

Через неделю я отважилась зайти в префектуру, чтобы хоть что-нибудь узнать о моей судьбе. После бесконечных трудностей и преград я получила наконец разрешение присоединиться к другим просителям,

<sup>1</sup> Комитет общественного спасения (фр.).

<sup>2</sup> Фулье-Тенвилль (фр.). Председатель революционного трибунала в 1793—1794 г., фанатик-садист.

стоящим в очереди на прием к Иоссилиевичу, помощнику Урицкого. Меня ввели в большую столовую, где я, бывало, обедала у княгини Оболенской, жены последнего петербургского градоначальника царского режима. Этот эlegantный зал, принимавший цвет петербургского высшего общества, превратился в клоаку. Разломанный паркет, так что ногу некуда поставить, жалкие останки мебели под толстым слоем пыли — характерная картина сегодняшней России. Единственный свидетель погубленной роскоши — старый, грустный, изголодавшийся курьер, узнав меня, прошептал: «Что за время, Господи, что за время!»

Пока тянулись часы ожидания, ни с кем не решаясь заговорить, я наблюдала, как сотни арестованных, подгоняемых и подталкиваемых солдатскими прикладами и кулаками, проходили через зал; я думала: откуда они, куда их ведут? Удивительно: почти ни одного интеллигентного лица — кухарки, мелкие лавочники, крестьяне... Они громко галдели, орала каждый свое, никого не слушая, огрызались на пинки и толчки солдат, раздражались несусветными проклятиями. Такой массовый арест простых людей я, пожалуй, могла бы объяснить только доношением, столь любимым и поощряемым советскими властями. Им мог окончиться спор двух извозчиков, двух базарных торговок, когда-то чем-то оскорбленных. Взаимные доносы совершались и двумя враждебными компаниями, и обе попадали под замок. Бывали случаи, что кого-то осаждали или, наоборот, расстреливали, — все зависело от случая, от того, как кому повезет.

Наконец ко мне подошел дежурный со словами: «Теперь ваша очередь. Товарищ Иоссилиевич вас примет». Об Иоссилиевиче я слышала, что у него на совести тысячи смертных приговоров, им подписанных. Признаюсь, не могла не содрогнуться при мысли, что сейчас увижу это чудовище.

Я вошла в хорошо знакомый мне прежний кабинет князя Оболенского. За столом увидела тонкий силуэт юноши в синей шелковой рубашке, подпоясанной кожаным кушаком. Сидя ко мне спиной, юноша что-то искал на столе. Он взял мои бумаги, повернул ко мне свое красивое, умное, циничное лицо и, развалившись в мягком кресле, величественным жестом указал мне на стул.

— Вы бывшая графиня Клейнмихель? — спросил он.

— Да, — ответила я, — а вы кто?

— Я товарищ Иоссилиевич. Почему вы хотите ехать за границу?

— Все мои основания изложены в бумагах, которые вы держите в руках. С 1913 года я не имела возможности подлечиться, но теперь в этом настала необходимость.

— Сколько вам лет?

— Вы можете справиться в моем метрическом свидетельстве. Мне семьдесят два года.

Он вдруг расхохотался.

— Как? Вам семьдесят два года и вы еще хотите жить? Вы и так прожили два лишних года на этой земле. Женщине неприлично жить более семидесяти лет!

Я ничего не ответила, встала и направилась к двери.

— Подождите, присядьте на минутку. Я хочу предложить вам одну вещь. Это позволит вам получить паспорт, который вам так необходим.

— Что предложить? Кажется, я выполнила все условия вашего правительства.

— Принесите мне адрес госпожи Вырубовой, подруги царицы. Нам известно, что она скрывается где-то в Петрограде... И я обещаю: паспорт будет вам выдан немедленно. Но имейте в виду — это единственная возможность для вас выехать из Петрограда.

— И не подумаю покупать паспорт ценой подлости, — я снова поднялась и направилась к двери.

— Громкое слово — «подлость», — иронически заметил он, — да будет вам известно, многие ваши знакомые именно так и расплачивались за возможность уехать куда им заблагорассудится.

— Не хочу верить этому. Но, как бы там ни было, торговаться не намерена.

— Как желаете. Вырубову найдем и без вас. Но если у вас будут неприятности, пеняйте только на себя. Место для вас у нас найдется. Я вас предупредил.

Его угрожающий голос до сих пор скрежещет у меня в ушах.

Покинув эту «обитель слез», я отправилась в шведское посольство, чтобы рассказать исполняющему обязанности отсутствующего в данное время посла о моем разговоре с Иосилиевичем и предупредить об опасности мадам Вырубову. Вскоре и генерал Брандшторм вернулся из Швеции, пообещав выцарапать меня из большевистских лап. Через две недели его хлопоты увенчались успехом, и господин Лундберг, секретарь, вручил мне паспорт, подписанный страшным Иосилиевичем. В тот же день на маленьком шведском пароходе я навсегда покинула Россию.



---

---

Евгений Рейн  
ТРИ ВОСКРЕСЕНЬЯ

*Т. Венцлове,  
П. Моркусу,  
В. Чапайтису,  
а также памяти  
А. А. Штейнберга*

*«Христос воскрес из мертвых,  
Смертию смерть поправ,  
И сущим во гробе живот даровав»  
Православный молитвослов*

*«В будущем году в Ершалаиме!»  
Еврейское пасхальное присловие*

*«К чему, скажите мне, хранительная  
стража?  
Или распятие казенная поклажа,  
И вы боитесь воров или мышей?—  
Иль мните важности придать Царю  
царей?»  
А. С. Пушкин*

Командировку выписали утром,  
билет на понедельник. Значит, нынче  
гуляй от пуза. Плюнем на дела.  
Не ранее восьмого часа я заехал  
к Зисканду. Огромная овчарка  
по прозвищу Руслан — добрейший зверь —  
толкнула меня грудью в коридоре,  
едва не сбила с ног. Пардон, Руслан.  
Добрейший зверь, умерь свои порывы.  
Четыре кошки вышли за Русланом.  
Одна из них нубийская, она  
родоначальница в Москве нубийских кошек,  
ей двадцать лет, и все еще жива.  
На то она нубийская. А Зисканд  
рад был моему визиту. Он, Зисканд,  
умнейший человек, громадный тип.  
Лет семьдесят, к тому же переводчик  
поэзии и прозы и чего угодно, и  
поэт отменный, книг не издававший.  
А жизнь сложилась странно, он дружил  
с Багрицким, Маяковским, Мандельштамом,  
переводил стихи, потом сидел,  
сидел и воевал. . . Полковник,  
комендант Софии, какие-то трофейные дела  
с валютой, драгоценностями. . . Он снова  
на десяток лет садится, выходит  
снова подбирать катрены, терцины,  
триолеты и октавы для «ИЛа» и «Гослита».  
И еще он был женат на девочке Агафье,

на сорок ровно старше был ее.  
 И я клянусь, из мне известных браков  
 Зиновий Зисканд и его Агафья  
 составили весьма счастливый брак.  
 Что было главное в Зиновии? Не знаю.  
 Но жизнь хотел бы я прожить, как он,  
 не в лагерях и не в Багрицком дело,  
 не в орденах, не в переводах даже...  
 И вот я за столом. И, Боже мой,  
 что происходит — я не понимаю.  
 Гостей четыре человека, пятый я,  
 хозяйева уселись на подушки,  
 разложенные на корявых стульях.  
 Хрен, редька на столе, и Зисканд сам  
 их называет почему-то «мóрер»,  
 а рядом на тарелке смесь корицы  
 с толченым сахаром — Агафья говорит,  
 что это «хоросес», — впервые слышу;  
 оказывается, это символ глины,  
 которую евреи некогда в Египте размесили.  
 Нас семеро, но на столе восьмой до половины  
 налит стакан. Агафья говорит, что это  
 для пророка Илии. И дверь открыта,  
 чтобы он зашел. По пятикнижию Зиновий  
 читает что-то. Спрашивает нас:  
 Что означает эта ночь?  
 Зачем сидим мы на подушках?  
 И почему горчайшие едим на свете травы —  
 редьку, хрен, чеснок?  
 Хотите верьте, а хотите — нет:  
 дверь распахнулась — и вошел Илья,  
 и сел за свой стаканчик. Помолчали.  
 А радостный Зиновий Зисканд вдруг,  
 откинув скобку пегой волосни, сказал:  
 «Итак, друзья, в Ершалаиме в году  
 грядущем!» Я стакан допил до дна,  
 еще налил и выпил. Нынче сейдер!  
 А я еврей. Не знал совсем об этом.  
 Но ничего — я все-таки еврей и потому:  
 на следующий год в Ершалаиме!

. . . . .  
 А в понедельник летная погода,  
 «Ту-104» полтора часа летит  
 и приземляется в Литве.  
 Друзья меня встречают, и на «Волге»,  
 на старой «Волге» М-21 мы едем в Вильно.  
 Что же, здравствуй, Вильно.  
 Я восемь лет здесь ровно не бывал,  
 до этого же четверть жизни прожил  
 я в городочке Вильно у друзей.  
 Я поселяюсь в маленьком отеле,  
 где жил когда-то.  
 Уютный номер и окно во двор,  
 умеренный комфорт, вполне удобно.  
 На стенке модернистский натюрморт  
 художника Цирюлиса. Гальян и ванна,  
 даже холодильник и телевизор.  
 А в общем, ничего на свете мне не нужно,

кроме того, что собрано под кровом  
гостеприимной «Неринги», — и вот  
литвины в номерочке у меня.

Один поэт, хитрец, безумец — личность  
запутанная; я его люблю, наследник  
миллионов, однажды пошутивший так:  
«Алкоголизм, хоть слово дико,  
но мне ласкает слух оно».

Другой — хозяин лучшего из лучших  
приютов нашей юности. Его обширный  
дом на улице Леиклос служил для нас  
убежищем тогда, в старинное исчезнувшее время,  
когда мы были вместе. Но, увы, дом этот  
так же разорен, как наши души.

Тот человек историк и — хороший,  
когда теперь закончит он трактат?

Он мрачно пиво пьет — бутылок десять  
сразу и сумрачно грызет сухой миндаль.

А третий весельчак и бонвиван,  
толстяк в английском дорогом костюме,  
работает себе на кинониве,

сценарий за сценарием строчит —  
и все успешно, все в большом порядке.

Он умница, тончайший человек,  
поклонник де Кюстина и де Сада,  
любитель сала, семги, маринада,  
предпочитает в Вильнюсе районы  
конца восьмидесятых—девяностых,  
начала века, говорит: одни они  
доносят дух времен, а прочее — все липа.

Он умница, тончайший человек,  
предпочитает белую головку.

И так проходит ровно шесть днейков.

И вот над Вильнюсом стоит пасхальный вечер —  
с поэтом и безумцем мы идем к известной  
всем «двуглавой Катарине», прекраснейшему  
из костелов мира, что в письмах отмечал  
Наполеон. Заходим внутрь — там тихо и не тесно.  
Костелов много, места хватит всем.

Ни музыки, ни пенья — в этот вечер  
католики лишь бодрствуют, они проходят Духом  
до своей Голгофы. А в боковом притворе что?  
Макет наивный: Христос, фанерная пещера и гора.

Поэт, мой спутник, сразу  
на колена, шепчет заклинанья.

А я стою в углу. Я тоже, тоже связан со  
Христом, но все не так-то просто.

Что тут делать? Ум величайший  
русского народа все это изложил  
примерно так: «К чему инстанции,  
бюрократия, служба, казна и  
государственный чиновник (или церковный —  
это все равно), когда пред нами  
царь царей, когда венец терновый  
без административного начала приял он на себя,  
и можно ли прибавить что-нибудь тому,  
кто добровольно расстался с жизнью  
за род людской?»

Я понимаю пушкинское слово примерно так, но это я. Мое я никому не втискиваю мнение. Пятнацати минут вполне довольно, мой друг встает с колен, и мы выходим. Прекрасный вечер — холодно и ясно, свежо и восхитительно. Идем в косые улочки еврейского квартала.

Выходим к Стиклю. «Мы куда идем?» — «К одной красотке», — отвечает спутник. «Которой именно?» — «Сейчас увидишь сам!» — «Ну, объясни». — «Осталось две минуты, увидишь сам!» — «Ну, хорошо».

Заходим мы во дворик, деревянная терраса, крутая лестница, на ней зачем-то мрамор и деревянные чурбаны (все скоро объяснится). Мой дружок стучит. Дверь отворяют. Входим.

Стоит красавица пред нами. Хочется заплакать. Мне за сорок, я видел трех красавиц за сорок лет. Она одна из них.

Вот на столе пасхальная закуска; а рядом «Столичная», банановый ликер, сок апельсиновый, кагор «Чумай» (он лучший из кагоров СССР).

Мы первые. Другие гости будут позже, они еще в костелах.

Мой друг, поэт, важнейший из литовцев, фанатик, но фанатик с чувством меры, заводит светский чинный разговор о сплетнях, модах, о Москве безумной, кому на Западе везет и не везет.

Хозяйка отправляется на кухню, горячее готовится. И вдруг мой друг мне говорит: «А знаешь ты, хозяйка наша Анненскому внучка».

Был Иннокентий Анненский последним из царскосельских лебедей, и это внучка? Да не может быть!

«Нет, это правда! Это всем известно».

Да у нее полным-полно портретов, и писем, и бумаг. Ты что, не знал? ..»

Приходят гости. Милый мой толстяк, уже в другом костюме, полосатом, историк бородатый, что никак не может дописать «Разделы Польши», приходит бывшая жена его литовка.

И еще, еще. Литовцы из Канады и евреи из Уругвая... Вот сидит она.

Хозяйка наша! Я ее люблю.

Она рассказывает о своей семье, о дедушке — инспекторе гимназий, что славы ждал и славы не дождался, о том, что после башни Вячеслава Иванова поехал он в Село к себе и на ступенях Царскосельского вокзала, что ныне Витебским зовется, он упал и умер, славы не дождался.

И вот уходим мы с приятелем-поэтом.

Он говорит, она была женой  
известного литовца, живописца  
и скульптора, и ровно год назад  
с приятелями в деревянном доме  
в глуши за Каунасом (она была  
с детьми в своей квартире) этот муж  
довольно сильно ночью выпивал.  
И дача загорелась, все спаслись,  
а он зачем-то выскочил на крышу,  
чердак обрушился. И он сгорел.

. . . . .  
Вот пробегает новая неделя,  
я в Ленинграде. С раннего утра  
графитный дождь под перламутром света!  
А я с утра брожу по Ленинграду,  
суббота черная, и дел полно.  
Но вечер обеспечен, ровно в девять  
на Пасху ждут меня в одну семью,  
два старика, они живут неподалеку  
от Преображенского собора,  
в квартире есть балкон,  
второй этаж, и все отменно видно.  
Но это в девять, а сейчас шестого  
три четверти. Куда деваться мне?  
Припоминаю, где-то на Литейном  
открылась выставка подпольных живописцев.  
О, сколько этих выставок я видел.  
И эта так похожа на другие.  
Художник Семушкин меня по залам водит  
и говорит: «У нас здесь свой подход,  
в манере «сюрчика», — он называет так  
сюрреализм, великое явление.  
Ну, Бог с ним, с Семушкиным.  
Бедный человек, мечтает он о новых джинсах,  
о пиджаке, о водке с мясом — нормальные желания.  
Пусть все ему отпустит Провиденье.  
Но скоро восемь, надо уходить.  
Закрыта выставка отверженных до завтра.  
Я надеваю плащ уже в передней,  
дверь открывается (она не заперта),  
и входит женщина. Люминесцентный свет  
наяривает, словно в павильоне  
на киносъемке. Лет шесть не видел  
эту даму. Но я узнал ее немедленно, узнал,  
как узнают старинный сон безумный.  
Ее нельзя мне не узнать, она когда-то  
в старой нашей жизни  
произвела такие разрушенья. . .  
Наш общий друг, по мнению российских  
известных наилучших стихотворцев,  
возможно, самый лучший стихотворец.  
Уехал он давно на дальний Запад,—  
Вот этот человек любил ее.  
На всех своих стихах, на всех поэмах  
он написал Н. П. — инициалы вот этой дамы.  
Когда сидел он в сумасшедшем доме,  
она ушла к приятелю поэта.  
Тут-то и возник меж нас

тот идиотский раскардаш.  
Мы вышли вместе — дождь еще летел,  
графитный дождь под перламутром света.  
Зашли в кафе по прозвищу «Сайгон»,  
где можно кофе взять или ватрушку,  
а можно анаши на три рубля.  
Мы что-то пьем, потом еще и кофе,  
стоим там до закрытия, и я ее  
сажаю на автобус. Я понимаю вдруг,  
зачем они, соперники, устроили резню  
по поводу Н. П. Как я-то проморгал,  
не оценил, не врезался в нее?  
А к девяти я подхожу к подъезду,  
в который приглашен, — вот старики,  
родители опального поэта, того,  
что укатил на дальний Запад.  
У них сидят друзья уехавшего.  
Еще американка цвета хаки из  
Мичиганского университета —  
причапала узнать, как жил поэт, чего желал  
на завтрак и на ужин, какие покупал себе  
носки, сорочки, галстуки, ботинки и пижамы.  
Припоминаю, что в начале этой  
достойной удивления карьеры  
был у него один пиджак венгерский  
табачный в рубчик, восемь лет один  
и тот же. Больше ничего.  
Была еще армейская сорочка.  
А первый галстук, итальянский синий  
в диагональную полоску, я ему,  
как помню, подарил на день рождения.  
Американка, чудный человек, приперла  
виски, джин и «Кэмел», который  
оценил поэт еще тогда в России.  
Итак, привет тебе, американка!  
Твоим верблюдам пламенный привет!  
Мы за столом о том о сем болтаем.  
И вдруг отец поэта говорит: пора,  
осталось ровно пять минут.  
Балконные распахивая двери,  
он предлагает нам  
десятикратный цейсовский бинокль,  
и мы выходим. Боже, что я вижу!  
От самого Литейного толпа!  
Дождь все еще идет, графитным блеском  
сияет черный мокрый Ленинград.  
Почти у всех в руках зонты и свечи,  
и свечи светят сквозь зонты,  
и это китайские фонарики как будто.  
И крестный ход. И очередь моя держать бинокль.  
Настраиваю линзы. Я вижу, как идут они в дожде.  
Идут! Христос Воскрес! Воистину!  
И бьют куранты полночь!

1976 г.

---

---

# Роберт Штильмарк

## ГОРСТЬ СВЕТА

*Роман-хроника*

Глава пятая

1.

... В знакомом подъезде стольниковского дома (стиль «модерн», узорные балконные решетки, цветная облицовка по фасаду) у разноцветного витража, изображающего лягушек среди лилий-кувшинок, папа переглянулся с мамой, оба вздохнули. . . А тут уж горничная Люба открыла дверь, обрадовалась, побежала в комнаты.

Одна дверь из передней вела в охотничий кабинет Павла Васильевича. Сбоку, как всегда, стояла вертушка для тростей и зонтов, а под вертушкой по-прежнему лежало лисье чучело, клубочком. Левая дверь вела из прихожей в гостиную и смежную с ней столовую.

Приезжие стали раздеваться в холодной прихожей, размотали шарфы, стащили с детских ног отсыревшие ботики, достали сухую обувь, причесывались долго — а из хозяев дома все еще никто не появлялся. Потом первым из семейства Стольниковых дал узреть себя кузен Макс, по-прежнему красивый и ухоженный, похожий на андерсеновского принца с вьющимися по плечи локонами а ля лорд Фаунтлерой. Ольга Юльевна расцеловала Макса, но он еще некоторое время оставался каким-то нерастаянным, сдержанным и очень серьезным. Улыбнулся он только маленькой Вике, а Роне суховато подал руку.

В гостиной заметны стали перемены. Появилась высокая чугунная печка с никелированным орлом на чугунной крышке. Роня помнил эту нарядную печку в охотничьем имении Стольниковых на станции Мамонтовка. Значит, теперь ее перевезли сюда, обогревать гостиную. А из прежней столовой сюда же переставили обеденный стол со стульями — значит, гостиная превращена теперь в столовую, по совместительству? Оказалось, что в столовой поселился женатый старший кузен, Володя Стольников, со своей худой и хрупкой Эллочкой, будто бы увезенной им из родительского дома на гоночном мотоцикле.

В квартире ощущался холод — большие голландские печи топить было нечем. Как все москвичи, Стольниковы обогревались только печками-буржуйками, а их на все комнаты не хватало.

В конце коридора, ведущего в глубь квартиры, приезжие увидели наконец тетю Аделаиду. В ее строгом домашнем наряде, прическе, движениях как будто ничего не переменилось. Все те же сдержанность, достоинство, приветливость, спокойные манеры. Она двинулась навстречу гостям, но как только папа обнял сестру, в ней будто что-то надломилось, и выдержка ей изменила. Тетя прижалась к папе, плечи ее стали вздрагивать, из последних сил старалась она не зарыдать, не испортить встречи с близкими. . .

Вышел и дядя Паша в теплом суконном френче. Детям Вальдек показалось, что тетя и дядя за два года разлуки стали ниже ростом и лет на двадцать старше.

— Полно, мать! — сказал дядя Паша. — Дай им с дороги в себя прийти. Мы вас неделю дожидаемся, беспокоиться начали.

Вальдекам отвели хорошо знакомую им Сашину комнату. Некогда стоял у него тут человеческий скелет, с университетских времен. Мрачноватое учебное пособие пугало и Роню, и Вику. Теперь скелет был убран. По соседству находилась комната Жоржа, чемпиона по теннису, отбывающего ныне воинскую повинность в 8-й армии где-то на Кавказе, поэтому Жоржеву комнату тоже предоставили Вальдекам. По соседству с ними, в бывшей детской, спал Макс.

От него Роня узнал, что семье Стольниковых грозит уплотнение. Надо сдать государству десять процентов жилой площади, то есть практически уступить две комнаты под заселение по ордерам Московского Совета. Заселяют обычно рабочими семьями, до тех пор обитавшими в бараках или подвалах, либо командированными из провинции. Роня уже слышал, что рвущиеся в Москву еврейские семьи тоже массами поселяются на конфискованной у буржуазии жилой площади. При этом часто оказывается, что эти еврейские семьи стремятся в Москву вовсе не от убожества прежних провинциальных условий. Напротив, они нередко оставляют на родине хорошее жилье, выгодную привычную работу, близких родственников и даже бросают кое-какое имущество, мигрируют в Москве с теснотой, неудобствами и вселением в чужую, часто враждебную им среду — только ради того, чтобы не опоздать в столицу, заявить себя в ней кандидатами на новomosковское, советское, еврейское счастье! . .

Это были новости от Макса. А Роня поведал Максу самую главную тайну о папиной судьбе, о случившемся с папой совсем, совсем недавно.

Папа вернулся с фронта после расформирования бригады с наилучшими документами от ревкома: «отец солдатам», «верен делу революционного народа», «решительный и волевой командир». Кое-что все-таки значили и пять боевых орденов, полученных хотя и от царского режима, но все же за храбрость в сражениях с немцами. Конечно, теперь немцы уже не считаются главными врагами Советской России. Врагами стали прежние союзники — англичане и французы. Это они снабжают оружием и снаряжением белые армии, наступающие с юга, востока и запада, правда, с переменным успехом. . . Впрочем, в Прибалтике и сегодня, по слухам, воюют против Советов еще какие-то немецкие части вместе с белогвардейскими. Словом, Красной Армии позарез нужны надежные командиры. . .

Вот поэтому-то в Иваново-Вознесенске Рониного папу сразу вызвали к товарищу Фрунзе и поначалу, как говорится, проверили на делах мирных — избрали в руководство профсоюза текстильщиков, облекли доверием, убедились в его крупных инженерных знаниях. Вскоре губернский военный комиссариат снова потребовал бывшего полковника Вальдека в свое распоряжение. . .

— Понимаешь, Макс, — рассказывал Роня своему кузену, — папа до того времени не участвовал ни в каком саботаже, работал не покладая рук, и все его любили. А тут ему говорят: берите под свое командование стрелковую дивизию против Колчака. . . Папа им и отвечает: «Посылайте против любого внешнего врага России — но против русского человека, в этой вашей гражданской войне, я с пулеметами и пушками не двинусь! Там, у того же Колчака — мои сибиряки-гренадеры встретятся, офицеры его — мои боевые товарищи. В братоубийственном самоистреблении народа я участвовать не могу».

Всех подробностей этого разговора папы в губвоенкомате Роня, конечно, не знал и передать Максу не мог, но папа тогда исчез на три недели из дому, а в квартире последовал обыск. Нашли старый револьвер. Верно, папа о нем просто забыл, потому что оружие свое он, по приказу властей, давно сдал, даже наградное, холодное.

На матери в те ноябрьские—декабрьские дни 18-го лица не было. Похоже было, что папу судили и приговорили к смерти как злостного дезертира и классового врага. Приговор послали на утверждение Военного комиссара округа товарища Фрунзе. Выяснив подробности дела, товарищ Фрунзе перед самым своим отъездом в 4-ю армию потребовал отмены приговора, а затем вызвал папу к себе.

— Какой же я дезертир? — удивлялся Алексей Вальдек. — Не отказываюсь ни от военной, ни от гражданской службы своей родине. Только честно предупредил, на что способен, а на что нет.

— А если мы используем вас на военно-хозяйственной работе? — спросил Фрунзе. — Мы знаем вас как сильного командира и организатора.

— Готов служить где прикажут и положить все силы на пользу доверенного мне дела, — ответил Ронин папа по-военному.

— Надо обеспечить топливом Москву. Создать военизированные лесозаготовительные дружины из мобилизованных нестроевиков. В лесах поныне скрываются массы дезертиров, их необходимо побуждать к явке с повинной и тоже брать на работу в дружины. Ну, а вместе с тем придется налаживать подсобные производства, так необходимые Москве. От дегтя и смолы до кирпича и теса... Как бы вы отнеслись к такому предложению?

— Думаю, что все это мне посильно.

— Тогда помаленьку собирайтесь в путь-дорогу. Здешние дела сдайте комиссии. Командируем вас в город Богородск под Москвою. Ведь вы, помнится, коренной москвич? Вас уже ждут. Скажите, а инженер Благов как специалист гражданский подойдет там для такой работы? . .

. . . Вот так-то обе семьи, Благовы и Вальдеки, оказались в Москве.

Предварительно папа успел списаться со Стольниковыми, чтобы московские жилищные органы разрешили Павлу Васильевичу «самоуплотниться» командированным военспецом Вальдеком, сдав обязательную 10-процентную норму жилой площади членам семьи вышеупомянутого командированного лица. Разрешение Московского Совета было получено — и вот семейство Стольниковых теперь смогло наконец самоуплотниться семейством Вальдек, притом по самым строгим нынешним правилам!

## 2.

К месту Леликова назначения под городком Богородском Ольга Юльевна с детьми отправилась в первые послепасхальные дни. Папа выехал туда раньше и обещал жене подать к ее приезду лошадку на станцию.

На площади у Курского вокзала, в низком сером здании справа, работала железнодорожная электростанция. Отчетливо и громко чухал дизель-моторный двигатель, вращавший динамо-машину. Синеватые дымки, похожие на выстрелы, вылетали в небо из толстой железной трубы после каждого вдоха дизель-мотора.

Сразу же за этой электростанцией, вправо от вокзального здания с обеими его башенками и двумя тоннелями, начинались тупики Нижегородской железной дороги, одной из старейших в Подмосковье. У этих тупиков не было ни перронов, ни платформ, и пригородные пассажиры забирались в вагоны с междупутий. По замыслу строителей предполагалось отправлять пригородные поезда нижегородского направления тоже с главной курской платформы под навесом, однако она бывала постоянно занята поездами курской линии, и для посадки «нижегород-

цев» служили боковые тупиковые пути. Весной 1919-го ходили между Москвою и Богородском главным образом теплушки — в пассажирских возили граждан поважнее. В теплушку едущий не садился, а влезал. Мужики подсаживали баб, а потом помогали друг другу взобраться с междупутья на без малого саженную высоту в двухосный красный товарняк.

Сопроводять Ольгу Юльевну и детей к папе поручено было Никите Урбану. Бывший папин денщик прижился в семье и обещал не покидать ее до полного устройства на новом месте. Он тоже был зачислен в штат лесозаготовительной дружины и считался военнотружеником. Хотел потом вернуться в родную Черниговщину, откуда, впрочем, получал не очень утешительные вести. Его родным не только не прирезали помещичьей пахотной земли, но, напротив, грозили убавить и собственную, якобы избыточную для семьи Никиты, которую сам он называл «справной».

На этот раз поезд до станции Богородск состоял из товарных вагонов безо всякого отопления. Отойти он должен был в 8 утра, но наступил уже десятый, паровоза же все не было. Ольга Юльевна с детьми и Никитой, тепло одетые, сидели на чемоданах и портпледе у открытой вагонной двери. Прочие пассажиры были крестьяне с обильной кладью, бидонами, узлами, мешками. Все дремали, покорные судьбе и властям. Никто не возмущался, не протестовал, не удивлялся. Пойдет поезд — хорошо, не пойдет — стало быть, начальству так сподручнее. Наше дело маленькое — сиди, дождайся.

... Ехать предстояло не до самого города Богородска, а поближе, до станции «38-я верста» того же Богородского уезда Московской губернии. Дети Вальдек слышали, что будут жить до осени в одиноком имении Корнеево, среди обширных лесов и торфяных болот, несомненно столь же загадочных, как Гримпенская тряпина в «Баскервильской собаке».

... По виду глухой провинциальной станции трудно было и поверить, что до Москвы нет и четырех десятков верст. В стороне поднимались закопченные трубы кирпичного завода и еще какие-то грязные, обшарпанные корпуса кирпичной кладки. Напротив убогого станционного строения с пакгаузом серел не совсем еще оттаявший пруд. Рядом — маленькая школа и длинная придорожная коновязь. Только обещанной папиной лошади тут не оказалось, и у Ольги Юльевны стало портиться настроение. Пошел мелкий сеяный дождичек, будто осенний.

Ольга Юльевна послала Никиту в село нанять крестьянскую лошадь, раскрыла зонтик, а детей заслонила с помощью портпледа. Когда же расторопный Никита явился с мужичкой клячонкой, вдали показалась парная упряжка, и через минуту папа лихо подкатил на служебной бричке. Кучер сдержал ее возле горки сложенных у дороги вещей. Мужичка с клячей отпустили и тронулись в пятиверстный путь.

Проехали торговое в прошлом село с белой церковью, березовой рощей и круглым прудом. За селом пошли строения и службы крупного, прежде хорошо налаженного поместья, теперь превращенного в госхоз. Тут в красивой двухэтажной даче помещался и штаб папиной военнизированной лесозаготовительной дружины Москвитопа.

Дальше, за поместьем-госхозом, мощный булыжником большак завернул в красивое старолесье. Лес был смешанный, явно грибной, манящий!

Придорожным соснам и раkitам с грациными гнездами можно было дать на вид лет по триста, и никакая порча не коснулась этих деревьев — сюда не доходили промышленные стоки и газы. Снегу у корней оставалось мало, земля дышала и слегка парила; после легкого

весеннего дождика запахло прелью и хвоей. Полторы версты по этой лесной дороге несколько утешили Ольгу Юльевну, а тут уж кучер свернул с булыжника влево, на подъездную аллею к имению Корнеево. По грунту колеса пошли мягко. Осталась позади одинокая сторожка с палисадником и хлевом. Показались службы: погреб, хлев, конюшня, дровяной навес, колодец-журавль. Заднее крыльцо небольшого уютного дома с теплым мезонином. Приехали!

Дети усмотрели, что большой участок разделен на одичавшую парковую часть со старыми хвойными великанами и на собственно сад, где бросались в глаза избыточные, хотя пока и голые фруктовые деревья, цветочные клумбы и целые заросли кустарников-ягодников. Изгородь из колючего барбариса отделяла сад от огорода, граничащего с лесом.

В доме детям понравилось.

Из сеней они попали в большую прихожую с железной печуркой (на всякий случай — что-нибудь согреть или просушить на скорую руку), дальше шла обширная столовая в три окна и с висячей люстрой, а из столовой вела дверь в детскую. Там стояли две застеленные кровати, а главное — уютное огромное кресло, куда можно было обоим забираться с ногами и слушать Конан-Дойля на русском или Карла Майя на немецком.

Другая дверь из прихожей вела в спальню родителей с окнами в парковую часть сада. Главными примечательностями дома были: пианино хорошей немецкой марки в столовой и красивая изразцовая печь, обогревавшая сразу все три покоя и топившаяся из прихожей. И еще очень радовала огромная застекленная терраса, примыкавшая к столовой. Дверь на террасу была еще по-зимнему заклеена, но, конечно, там, на такой великолепной террасе, и пойдет вся летняя домашняя жизнь Рони и Вики! Кухня отделена от комнат сенями. Нанята из соседней деревни, что в трех верстах, приходящая прислуга Дуня. Она сразу же показала хозяйке большую кухонную плиту, огромную деревянную лохань о трех ножках и обильную утварь, расставленную и развешенную по стенам. Кухню, оказывается, легко превращать и в баню, и в прачечную.

Все это было просто прекрасно! Но...

Чем больше радовались дети новому жизнеустройству, тем горше думалось о... прежних обитателях. Тут ведь тоже жили дети, а с ними кися, собака, может, и какие-нибудь комнатные пичуги... Лошадка у них тоже была, своя, любимая... Кажется, они были землевладельцами и заводчиками? Должно быть, мелкими: дом-то невелик и нероскошен, вещи уютные, ухоженные, но небогатые. Верно, люди любили свой дом, и террасу, и печь... Где они теперь?

Папа рассказал, что по приезде не застал уже никого — прежних владельцев успели «забрать и выселить». Так выразился по дороге кучер, человек тоже новый. Теперь здесь все новые: и начальник дружины Москвотопа военспец Вальдек, и его «помощник по рабочей части» Соловьев, занимающий верхний теплый мезонин, и сторож Корней Иванович Дрозд, поселившийся в домике-сторожке у подъездной аллеи, все — пришлые, чужие.

Семья Вальдек наскоро отобедала за чужим столом, под чужой люстрой (своя осталась в Иванове). После первой трапезы на новом месте дети пошли обживать свое кресло. По следам заметили, что и в той семье это кресло служило именно детям и залезали они на него тоже с ногами.

Дети глядели на знакомые домашние одеяла и на свои подушки в изголовьях чужих кроватей. Вдруг Вика сказала:

— У нас ведь потом все это тоже отберут, правда?

Роня подтвердил:

— Конечно! И наши ивановские вещи, тоже, наверное, отберут...

Это требовала успокоения детская совесть! Слишком тревожили ее следы чужого загубленного благополучия. Еще у Рони на языке вертелись слова: «и выселят нас отсюда тоже, как тех», но вслух произнести такое он не решился, чтобы и в самом деле не накликать беды. Он помнил немецкую поговорку бабушки Агнессы: «Ду золст ден тойфель ниht ан дер ванд мален» — не малюй черта на стене, а то он явится в дом.

И когда из родительской спальни дошел до детской истерический мамин плач, Роня и Вика сперва было тоже приписали его родительскому сочувствию чужому несчастью. Ибо сквозило оно изо всех углов этого уютного дома! Наверное, и маму терзают муки жалости и неясного чувства стыда как невольной соучастницы большой общей вины...

Но плач Ольги Юльевны был непривычного тембра, сначала какой-то басистый, перешедший потом в капризный визг, не совсем даже натуральный.

Рыдания чередовались с возгласами:

— Как ты мог меня сюда?.. Как ты посмел?.. Что мне тут делать? Ведь я думала о Москве, о родных... А здесь даже вонючее Иваново вспоминается как Санкт-Петербург!..

Такая реакция была непостижимой! Среди всей этой прелести, отравленной лишь ощущением соучастия в грабеже добрых людей...

Первый раз за всю свою одиннадцатилетнюю жизнь Роня ощутил неприязненное, недоброе чувство к матери. Ведь папины старания просто трогательны. Его нежные заботы ощутимы здесь в любой мелочи!

Роня не выдержал. За руку он привел Вику в спальню, к злобно рыдавшей матери. Тонем взрослого очень серьезно произнес:

— Если тебе, мама, здесь не понравилось, можешь уезжать назад, к Стольниковым, в твою Москву. А мы с Викой остаемся здесь и будем помогать папе. Здесь так хорошо, как мы и не думали!

У Ольги Юльевны явилось сильнейшее желание избить сына до синяков за непочтительность.

Но материнский инстинкт подсказал ей, сколь глубока детская обида за папу. Мама перестала всхлипывать и вытерла глаза. Хмурый папа чуть-чуть улыбнулся непрошеным адвокатам.

\* \* \*

Три летних сезона и все зимние каникулы в имении Корнеево были, пожалуй, лучшим временем всей Рониной жизни.

Привыкла к Корнееву и Ольга Юльевна. Нашлись поблизости партнеры для преферанса зимой, а летом наезжало столько родственников, что порою Корнеево напоминало светский пансион прежних времен или патриархальное поместье в тургеневском духе.

Вальдек-младший по-настоящему увлекся здесь чтением в тишине зимних покоев или под ровный шум июльской листвы. Поэзия ему открылась — Тютчев, Пушкин, акмеисты и Блок. У него появился вкус к историческому прошлому России. Но вот к истории, творимой сегодня, он никакого «вкуса» не ощущал, хотя рано понял, в какие роковые минуты довелось ему посетить сей мир...

Он и сам тоже полагал себя поздним путником, застигнутым на дороге «ночью Рима», Рима Третьего, российского. Но среди бурь гражданских и тревоги он не ощущал высокой воли богов, а, напротив, скорее видел в этих бурях проявление демонов зла. Героическими казались ему отнюдь не оголтелые матросы и пролетарии, якобы бравшие штурмом совершенно незащищенный Зимний дворец, а та горсточка отчаянных женщин из стрелкового «бабьего» батальона и те юнцы из юн-

керского училища, что до последних минут, по чувству долга, пытались противостоять потоку раскаленной докрасна человеческой лавы...

Лето проходило в играх со сверстниками — Максом Стольниковым, Толей Благовым и Мишкой Дроздом. Вдвоем с Максом они наловчились ездить верхом — это стало любимейшим занятием мальчиков. Сперва они уходили по соседству в госхоз и помогали выгонять в ночное чесоточных госхозных кляч (до того бывших отличными выездными, хозяйскими лошадьми). В итоге этих ночных поездок Роня схватил-таки чесотку, хотя врачи уверяли, будто лошадиная к человеку не пристаёт. Пристала, да еще как!

Алексей Александрович часто брал сына в интересные деловые поездки по окрестным селам, торфоразработкам, фабрикам. Ездили даже на узкоколейном паровозе, а еще несколько лет спустя Роня устроился работать на этом паровозе помощником машиниста. В декабре 1920 года при служебной поездке оба они, Вальдеки, старший и младший, очутились по стечению обстоятельств в одном вагоне с Лениным.

Однажды Алексей Александрович приказал снарядить в путь железнодорожную дрезину для служебной поездки на Октябрьскую, бывшую Николаевскую, железную дорогу, до станции Поварово. Роню папа взял с собой, потому что была у него тайная надежда добраться до Клина и навестить дом Чайковского, где он в юности бывал и даже брал аккорды на шредеровском рояле Петра Ильича.

До Поварова доехали на дрезине, но тут она и отказала. Механик остался чинить ее, а папа, управивши дела служебные, решил ехать в Клин поездом.

Дом Чайковского встретил их сумрачно, еле протоптанными в снегу сада тропками. Родственники Петра Ильича, обитавшие тут, бедствовали, как и все простые смертные, мерзли в очередях, спали всегда тревожно. Их особенно не притесняли, но и не баловали заботой. В кабинете композитора царил могильный холод, казалось, на роялях вот-вот проступит изморозь... Обратного шагал на станцию, опустив голову.

Вечер наступил. Стемнело. Папа предъявил военный мандат, узнал насчет okazji до Поварова, где моторист все еще возился с двигателем, как выяснилось по телефону. Вот-вот ожидался товарный состав на Москву из Твери.

Состав подошел, папе указали на служебный вагон в середине поезда. Он пропустил Роню вперед на узкую лесенку в тамбур, и оба вошли в вагон, где все было привычно Роне, как и в других таких служебных вагонах, с печуркой, скамьями, слезящимися маленькими окошками под самым потолком и висячей лампой «молния», всегда тусклой и закопченной. В тепле они расстегнулись, от печки отсели чуть в сторону, чтобы не теснить хозяев и не вспотеть перед выходом из вагона. Роня стал было дремать, не обращая внимания на разговоры старших. Состав был транзитный, шел, как сказали, прямо из Финляндии, что в ту пору было диковиной, и вез лекарства и аптекарские товары. Дали поезду отправление.

Но перед самым свистком в вагоне произошло какое-то движение. Начальника эшелона вызвали из вагона. Затем через минуту он вернулся, пятясь, а следом за ним вошли в вагон три хорошо, очень тепло одетых человека. Оказалось, что эти трое — высшие руководители революционной России: Председатель Центротекстиля Ян Рудзутак, управделами Совнаркома Владимир Бонч-Бруевич и сам Предсовнаркома Владимир Ильич Ленин. Они заехали на аэросанях в окрестности Клина, чтобы поохотиться, застряли в трех верстах от него, дошли пешком до станции, где отказались вызвать особый поезд и сели в служебную теплушку первого попавшегося состава на Москву.

Ленин уселся против печки и молчал чуть-чуть смущенно. Спутники его, быстро оценив взглядом всех сидящих на скамьях, по-видимому, успокоились и тоже присели к огню.

Верно, в вагоне не сразу узнали Ленина в лицо, но папа, слышавший Рудзутака на совещаниях, шепнул Роне:

— Это вожди! Ленин, Рудзук и секретарь Ленина. Ты подвинься!

Потом и всем прочим в вагоне стало ясно, кто сел на станции Клин. Укутанные в шали женщины стали разматывать платки, чтобы лучше видеть и слышать. Мало-помалу завязался тихий разговор, и начальник эшелона стал жаловаться на беззакония в пути, на станциях. Оказалось, у эшелона где-то отцепили два вагона с грузом лекарств, оплаченных золотой валютой. Отнявшие сослались на то, что фронт там ближе, чем к Москве. Ленин исподлобья вскидывал на говоривших пронизательные глаза и, казалось, знал наперед лучше всех то, что ему скажут. Но верил он сказанному или нет, было трудно понять. Роне показалось, что главная его черта — усмешливое недоверие.

— Когда государство поручает вам такой ценный груз, — картавя сказал он начальнику поезда, — надо быть решительнее с теми, кто под шумок готов урвать народное добро. Прошу Вас, Ян Эрнестович и Владимир Дмитриевич, возьмите это происшествие на заметочку. Вагоны надо найти!

Роне будто по какому-то внутреннему проводу передавалось папино волнение. Сколько зависит от этих людей, на вид столь обыкновенных, не более строгих, чем гимназические учителя. Как много можно бы через них добиться! Но папа, как он потом сам сознавался сыну, считал слишком маловажными вопросы лесозаготовительные, чтобы на них отвлекать внимание главы государства. О научных же проблемах, о судьбах русской химии он не взялся бы сейчас говорить ответственно и компетентно.

Тем временем разговоры с Лениным все больше отклонялись на транспортные происшествия, вмешиваться папе в них было бы неловко. Так до самой станции Поварово двое Вальдеков только пристально гляделись в лицо Ленина.

Когда они вышли на станции, целая гурьба рабочих — сцепщиков, смазчиков, машинистов и кочегаров, отработавшая смену, ринулась безо всякого приглашения прямо в служебный вагон. Оказалось, рабочие из селекторных переговоров Клина с Москвой поняли, что в вагоне должен проехать Ленин, и кинулись к нему с наболевшим. Да, эти были решительнее Рониного папы!

Папа для поездок обычно пользовался служебными лошадьми, но считал, что возить собственную семью на казенных лошадях неприлично. Потому для надобностей личных Алексей Александрович приобрел собственную лошадь по кличке Надька и заграничный шарабан. Лакированный, с иголки новенький и несколько вычурный экипаж этот папе с охотой продал мужичок-среднячок, которому шарабан достался при грабеже какого-то барина.

Еще удили рыбу на торфяных карьерах, плавали на лодке по реке Клязьме, тогда — кристально чистой, богатой сомами и налимами. Только питались уже не по-старинному!

В 20-м году лакомствами считались супы из солонины, предварительно отмоченной и отмытой от дурных запахов и налетов, картошка на рыбьем жире, конские котлеты, кашница из пайкового пшена, уха из воблы. Вместо чая или кофе пили морковный напиток, сдобренный сахарином, а коровье масло считали такой редкостью, что Роня признавался: «Будь я царем, мазал бы каждый кусок белого хлеба сливочным маслом со всех сторон — сверху, снизу и с боков тоже!»

Впрочем, о яствах и разносолах особенно и не думалось. Любое ва-рево уплетали быстро, чтобы снова бежать в лес, строить индейские вигвамы, плавать на речке, читать в гамаке книжки.

Были, конечно, и трудности, и беды.

Случались страшные лесные пожары совсем рядом с Корнеевом, так что однажды ночью пришлось выносить на большак вещи из дому и выводить из конюшни лошадей, напуганных дымом и близким заре-вом.

Имение отстояли от огня мужики из окрестных деревень; командо-вали мужиками два весьма необычных здесь человека, оба — из папи-ной лесозаготовительной дружины. Приходились они друг другу дво-родными братьями.

Одного, постарше, высокого, худого и жилистого, звали Илья Сау-лович, другого, пониже и потолще, Гилярий Соломонович. Первый был потомком одесских дельцов, избежал фронта тем, что сумел затесаться трубачом в какой-то тыловой караульный полк, а после революции в общем еврейском потоке перебрался в Москву и устроился в папиной дружине. Ведал он в ней продовольственным снабжением — с большой для себя пользой.

Гилярий же Соломонович был человеком иного склада, любил рас-суждать о материях высоких, например, об экономическом учении Кар-ла Маркса. Он читал Захер-Мазоха и Шолом-Алейхема, привез на дачу госхоза чужую жену — бледную полячку с толстым мальчиком и энер-гично ухаживал еще за двумя другими дамами. Занимался он в госхозе какими-то финансовыми вопросами, папа его в грош не ставил и считал самым бесполезным бездельником во всей округе. Выгнать его мешал Илья Саулович, которым папа все-таки несколько дорожил.

И вдруг на пожаре этот финансист проявил себя с самой неожидан-ной стороны, перешеголяв в лихости даже своего кузена, Илью Сауло-вича.

Гилярий прискакал на пожар верхом, как и Илья Саулович, непло-хо сидевший в седле, но отличавшийся такой жестокостью к лошадям, что уже успел загубить лучшего коня в госхозе, серого в яблоках Аула.

Руководил тушением пожара сам Алексей Александрович.

Илью Сауловича он послал на более опасный участок, а Гилярия Соломоновича оставил наблюдать за рытьем канавы, от которой особого проку не ждал.

На рытье канавы работали крестьяне из деревни Марфинки, извест-ные в округе как ловкие конские барышники, хорошие пильщики леса, но неважные хлебопашцы и уж тем более плохие землекопы! Рытье ка-навы они тоже полагали делом бесполезным и не слишком усердствова-ли даже на глазах начальства.

Роня и Вика находились тут, поблизости, вместе с прислугой Дуней, потому что место казалось самым безопасным. Ольга Юльевна сидела на вещах, у дороги, ближе к дому, откуда еще носили разные пожитки.

И вдруг, то ли от перемены ветра, то ли от случайной искры, то ли по чьему-то недосмотру или умыслу, огонь, обойдя было границы корнеевского сада и парка, прорвался во фланг имению, приблизился к неоконченной канаве и запылал совсем близко. Если перемахнет че-рез недокопанный ров — тут как раз частый ельник с сухим ярусом ниж-них веток, а дальше — вот они, парк и дом! Марфинские мужики и бабы побросали лопаты, топоры и заступы, повалили толпой поглядеть, отку-да же это огонь прорвал кольцо обороны и обманул защитников имения.

И когда толпа марфинцев уже хлынула назад, спасаясь от огня, на нее обрушился как буря Гилярий Соломонович.

С наганом в левой руке (вместе с поводьями) и с нагайкой в пра-вой, он налетел на мужиков и принялся полосовать их с коня ременной плетью.

— Назад! К лопатам, туды-растуды вашу мать... Копать, сволочи! Ни один живым не уйдет, если пропустите огонь! Вот вам, вот вам, дезертиры, негодяи!

Надо было видеть, как дружно и слаженно закипела работа!

Еще дня три вспыхивали очаги пожара в лесу, вокруг имения, люди дежурили поблизости, а Гилярий Соломонович даже не возвращался на дачу госхоза, а ночевал в лесу. Злые языки утверждали, будто для каждой ночи он выбирал себе новую спутницу, из самых молодых и крепких. Избранницам он, вероятно, внушал несколько суеверное чувство, ибо все его зубы были искусственными, притом сплошь золотыми, и этот вот пугающе-таинственный золотой оскал и был, как утверждали, главной причиной мужицкой покладистости на пожаре и бабьей покорности на ночлегах...

\* \* \*

Необычайное даже для России 1921 года происшествие надолго смутило Рональда Вальдека. Случилось это на рождественских каникулах, дня за два перед сочельником. Роня возвращался домой в Корнеево из Москвы в одних санях со своей учительницей: папин вестовой Никита уговорился с мужиком Еремеем, что тот высадит Роню по дороге, у подъездной корнеевской аллеи, не заезжая к Вальдекам, а сам, вдвоем с учительницей, продолжит привычный путь до их деревни.

На повороте к Корнееву Роня простился с учительницей и ее возницей. Больше он уж никогда не видел Нади Смирновой.

Перед рассветом следующего утра кто-то постучал в окно корнеевской спальни. Роня разобрал разговор старших о каком-то несчастье на дороге, в полутора верстах от Корнеева. Обо всех местных происшествиях сразу сообщали папе, начальнику дружины. Никакого другого начальства поблизости не было — только в пристанционном поселке жил милиционер.

Папа сразу оделся, послал Никиту за сторожем Корнеем Ивановичем, и через несколько минут запрягли в санки папину служебную лошадку Передовую. Корней Иванович сходил за ружьем, папа вынул из кобуры и сунул в карман револьвер, а Роня так ловко пристроился в санях, что на него и внимания не обратили. Это было большой ошибкой взрослых!

Уже по дороге Роня из разговора понял, что несчастье произошло с учительницей. Будто за переездом через узкоколейку, на крутом косогоре с поворотом влево, целая стая волков напала на одинокую упряжку. Лошадь рванула, девушка не удержалась в санях и выпала... Мужик Еремей удержать лошадь не смог, и та донесла его карьером до деревенской околицы, где и грохнулась оземь замертво. Кучер же без памяти вбежал в свою избу и голосил невнятное, пока его не отпоили холодным квасом.

... Крупные волчьи следы стали видны даже издали. Опытный волчатник, Корней Иванович смог определить, что зверей было не менее семи-восьми. Роня тоже глядел из задка саней на следы. Они вели к придорожной канаве, а дальше — прямо к дороге.

Роня хорошо знал косогор с поворотом влево. Сколько раз сиживала вся семья, летней порой, на этом косогоре! И тут-то, на этом знакомом месте, еще даже не присыпанном снежной пылью, открылись следы ночного побоища.

Казалось, снег старательно, будто сквозь сито, кропили-осеивали мелкими брызгами кровавой росы. Кругом валялись обрывки светлой овчинной шубки, белые, чисто обглоданные кости и длинная, почти нерасплетенная коса. С затылочной костью.

...Надин возница, мужик Еремей, уже отбывший наложенное на него священником церковное покаяние за оставление ближней безо всякой помощи, вдруг взял да и повесился на чердаке своей избы. Нечаянно ли выпала из его саней учительница Надя Смирнова? Кто знает? Бог ему судья!

### 3.

*В начале жизни школу помню я.  
А. С. Пушкин*

Для мужской Петропавловской гимназии Октябрьская революция совершилась не в 1917 году, а значительно позже, и притом далеко не сразу — так крепка была старинная кукуйская закваска этой школы.

Потрясая Россию война с Германией, падение царизма, большевистский переворот, голод, блокада, террор — ничто не смогло сразу взорвать железобетонный уклад московско-немецкой педагогической твердыни.

Для постепенного ее разрушения потребовались длительные подкопы, бурение шурфов, бомбардировка извне, сокрушение директората, разложение учительского состава, разбавление его инородной средой, смена педагогов и программ, разрыв прочных нитей между школой и немецкой церковью.

В первом своем московском школьном сезоне, в 1919 году, Роня застал самое начало этой войны властей с упорной гимназией. Власти закрыли Петрипаули-мэдхеншуле, т. е. женскую гимназию, а ее учениц распределили по группам мужской. Красное здание женской гимназии в углу церковного двора отобрали для новых государственных нужд. Впрочем, отобрали и большую половину мужского гимназического корпуса в Петроверигском. Этот огромный красивый учебный корпус выстроен был в основном на деньги миллионера Кнопа (чью контору на Варварской площади отобрали под здание ВСНХ). А возглавлял строительный комитет Ронин дедушка, Александр Вальдек, дипломат и юрист. Так как одних кноповских денег на постройку и оборудование гимназии не хватало, дед и сам внес крупную сумму и призвал москвичей-немцев жертвовать на школу. Пожертвований поступило много, и пошли они на оборудование новейших кабинетов и лабораторий, гимнастических залов в особой пристройке, на устройство обсерватории с телескопом и вращающейся вышкой. Гимназия считалась одной из лучших школ Москвы, отдавали туда и русских детей, чьи родители дорожили знанием иностранных языков. Учителя в Петропавловке были первоклассные, как водится, несколько либеральные.

После того как большая и лучшая половина мужского гимназического корпуса была передана другому, вполне взрослому учебному заведению (получившему необычное наименование КУНМЗ!), а бывшие петропавловские гимназистки переведены в урезанный корпус к мальчикам, директором новой «Единой Советской Трудовой школы № 36 Первой и Второй ступени» осталась прежняя директриса женской гимназии фрейлейн Рётген. Это была старая, серьезная и неуступчивая фрейлейн!

Однако переименованная, стесненная в трех полуэтажах бывшая Петропавловка под управлением фрейлейн и не подумала сдавать свои привычные позиции из-за какой-то там большевистской революции! В классах все осталось по-старому, хотя их и называли группами. Преподавание продолжалось на немецком языке в Первой ступени и частично, для некоторых предметов, сохранялось и во Второй. Там лишь

добавляли еще один обязательный иностранный язык — французский. Учителя остались прежними (исключая, разумеется, тех, кто угодил в Чрезвычайку или не перенес голода). Обращались к учителям по-прежнему: фрейлейн Рётген, герр Зайц, месье Понс, фрау Вайс...

Ронин классный наставник герр Зайц был в конце прошлого столетия классным наставником еще у Вальдека-старшего.

Математику в Первой ступени на немецком языке вела мамина одноклассница, фрейлейн Соня Фрайфельд. Историю всеобщую и русскую преподавал — притом смело, изящно, остроумно — месье Понс, одаренный лектор, романтически любивший страну своих предков — Францию. Он уже начинал полнеть, «занимал» височные пряди волос, чтобы прикрывать ими стратегическое отступление шевелюры на темени, но тем не менее ученицы толпами влюблялись в интересного француза, и он втайне не оставался равнодушен к девическим вздохам. Месье Понс ухитрялся совмещать педагогику с искусством фехтования. Холодным оружием он владел столь мастерски, что многие московские театры поручали ему режиссуру всех фехтовальных сцен в пьесах Кальдерона, Лопе де Вега или Шекспира. От него Роня впервые услышал о подготовке «Гамлет а» великим актером Михаилом Чеховым во Второй Студии МХАТ, будто с одобрения и под идейным руководством йогов Дорнаха...

Самой же выдающейся учительницей в Ронькином классе была прелестная Вера Александровна Ляпунова, пришедшая в школу неполных двадцати лет от роду. Учила она Роньку и его сверстников русской литературе, работала увлеченно, меньше всего считалась с официальными программами или одобренной методикой, и оставила глубокий след не в одной Рониной душе! Ольга Юльевна Вальдек, наслушавшись рассказов сына, пригласила Веру Александровну в Корнеево, и та два лета прожила у Вальдеков, расцвела на свежем воздухе, успела поддержать в сердце своего ученика священную страсть к поэзии и... скончалась от скоротечной чахотки после неожиданного для всех брака с пожилым, избалованным женщинами сыном знаменитого адвоката Плевако.

Еще один педагог гимназии имел к Вальдекам весьма близкое родственное отношение — преподаватель географии, Ронин дядюшка, муж тети Эммы, герр Густав Моргентау. Сюда, в мужской корпус, он перешел вместе со своими учениками после закрытия женской гимназии.

Зимой школу отапливали плохо. Немного пособлял Ронин папа — отгружал, вопреки разнарядке, то по одному, то по два тяжелых санных веза березового швырка, и даже пильщиков присылал, но это грозило служебными осложнениями, да и выручало школу ненадолго. Дети сидели по классам в шубах и валенках, герр Зайц в морозы укрывал лысину вязаным шарфом.

И все-таки школа работала, и дисциплина в ней держалась особая, какая-то тоже прежняя, основанная на почтительности к старшим и уважении к младшим. Все будто признавали друг в друге единоверцев и единомышленников, носителей одной традиции, от директора до последнего двоечника.

Если же случались дисциплинарные нарушения и особые происшествия, то теперь они стали совсем иными, чем прежде. Само время вторгалось в детские жизни, развлечения и занятия. То появится в классе револьвер, а то и выстрел грянет. Однажды учитель истории месье Понс вовремя заметил у мальчиков ржавую «лимонку» — ее притащили с чердака и уже принялись было ковырять... Случались прямо в школе голодные обмороки — у детей и педагогов.

Дома же ученики делали уроки при коптилках и свечах, и нельзя сказать, что учителя смягчали строгость требований. Роньке не раз сни-

жали оценку за пятно копоти на чертеже или за неудачное слово в сочинении.

Так и шли школьные дни и дела в 20-м, 21-м и в начале 22-го . . .

Сильно постаревшую и ослабевшую фрейлейн Рётген сменил на посту директора герр Густав Моргентау, Ронин дядя, но и при нем существенных перемен в устоях и традициях школы не произошло, несмотря на все усилия Бауманского РОНО, партийных органов и Наркомпроса.

Однажды нарком Луначарский на совещании «шкрабов» прямо заявил, что в обеих бывших немецких гимназиях, Петропавловской и Реформатской, по сей день, мол, воспитываются «змееныши наших классовых врагов». На другой день это стало известно самим «змеенышам», и многие гордились своей опасной славой . . . Иные же понимали, что дни петропавловских традиций сочтены . . .

Входило, кстати, в эти традиции и участие в церковной жизни. По твердо установленному правилу запрещенные в школе уроки Закона Божьего преподавались в церкви. Прямо в класс приходила помощница органиста и вводила всех детей-лютеран в ризницу-сакристию на занятия Законом Божьим. Ходили, правда, на эти занятия не все Ронькины сверстники, потому что в классе стало уже немало детей иудейской веры и учеников из семейств православных. Занимались у пастора каждый раз человек по сорок-пятьдесят — около половины общего состава двух-трех параллельных групп.

Еще не вовсе развеялось в детской среде влияние запрещенных, прекративших официальное существование скаутских организаций. Пытались было сохранить отряд «красных скаутов», но слишком несоместимы были моральные требования скаутизма с тем, чего требовала от детей сегодняшняя революционная действительность. Скаутские правила были благородны и требовали силы характера. Руководители скаутов учили своих питомцев таким вещам, как презрение к доносу, взаимопомощь до самопожертвования, выносливость, вежливость друг с другом, развитие особой чуткости и настороженности при опасности (например, скаут должен уметь просыпаться от взгляда товарища), тренировка воли, умение противостоять соблазнам вроде курения или ругани. Как раз в 19-м году Роне пришлось пробыть недели три в юношеском лагере, организованном еще по скаутскому образцу. Он участвовал в походах, ночлегах в лесу, «индейских» играх с вигвамами и стрельбой из лука. Однажды скауты-индейцы соблазнились плакатом с изображением наркома Луначарского, нарисовали на обороте плаката нечто среднее между крокодилом и удавом с разинутой пастью и, поразив его с приличной дистанции, удалились по гонгу на обед. Снять с подставки свою мишень они забыли, и один бдительный воспитатель, приставленный к ребятам некими шефами, доложил выше о своеобразном использовании портрета. И хотя было видно, что стрелы вонзались в дракона, а не в наркома, красных скаутов немедленно разогнали, а их родителей «взяли на учет», т. е. просто записали их фамилии . . . В те годы путь в места отдаленные обычно и начинался эдакой первоначальной записью на дрянной бумажонке.

Весной 1923 года Вальдеки проводили семью Стольниковых в Ригу, откуда потом они поехали дальше, на запад. Семейство Вальдеков осталось в Москве, глава ее оказался безработным.

Семья жила впроголодь, хотя витрины магазинов уже блистали и ломились от товаров. Огорока и балыки, шелка и шевро, афишки с оголенными красотками и автомобильные клаксоны заполнили, озарили, оглушили московские улицы, где еще так недавно гуляли одни ветры и исчезали в метелях за заборами таинственные грабители-попрыгунчики . . .

Ольга Юльевна впадала в отчаяние и жарким шепотом (чтобы не подслушали стены) твердила мужу изо дня в день:

— Лелик! Долго ли нам еще так мучиться? Почему ты ничего не делаешь, чтобы тоже оказаться там, где все порядочные люди, чуть не все родные, Стольниковы, Донатовичи, Любомирские, Вогау, Ливены, ну, все, кто еще на что-то в жизни пригоден... Ты же инженер, Лелик! Нечего тебе тут делать!

— Знаешь, Оленька, боюсь, что я уже отстал от настоящего дела. Девять лет сплошной паузы... Жил как будто в антракте. А спектакль-то шел! Не знаю, кому я там нужен. Да и без России... Что за жизнь?

— Сентименты! Уби бене — иби патриа... Когда ты понесешь, наконец, прошение, чтобы выпустили?

И через несколько дней Роня догадался, что прошение папа понес. Запахло отъездом в Неизвестное. Ведь если очень хотеть чего-либо, человек добивается! Так всегда утверждал папа. И добавлял: ну, а коли человек чего-то не добился, значит, просто не очень хотел!

От тети — Аделаиды Стольниковой — приходили время от времени письма. Нельзя сказать, чтобы она прямо приглашала Вальдеков на Запад или горячо советовала бросать все и рваться за рубеж. Она знала привязанность брата ко всему русскому, к природе, народу и языку. Там свои трудности, писала она, и немалые, особенно для эмигрантов. Есть и безработица, и волнения рабочих, и разорение фермеров, и презрение богатого к бедным, и национальная рознь, и угнетение слабого сильным. Все это когда-нибудь тоже может привести к взрывам и бедам. Может, то, что у России уже позади, здесь еще только предстоит? Переживать все заново? Революцию и террор?

Заколебалась в душе и сама Ольга Юльевна. С мужем она говорила по-прежнему решительно, с Роней позволяла себе и сомнения. Не угодишь ли, чего доброго, из кулька в рогожку?

В скором времени для Алексея Александровича подвернулась выгодная работа. Три состоятельных нэпмана-еврея решили создать кондитерское производство и открыть роскошное кафе. Фирму нарекли «Флоркос». Компаньоны арендовали бывшую шоколадную фабрику Флей на Цветном бульваре и пригласили химика Вальдека переоборудовать ее под кондитерское производство. Папа и его товарищ, инженер Витте, которого компаньоны тоже согласились привлечь, обложились справочниками и... фирма «Флоркос» скоро прославилась на всю Москву. Кафе этой фирмы с помпой открыли в Кузнецком переулке, рядом с фотоателье Свищова-Паоло. Заручились владельцы еще одним уникальным сотрудником — личным кондитером царя Александра Третьего. Кондитер-старик был сух, жилист, свиреп и неутомим. Его потрясающие торты скоро стали украшать столы правительственных банкетов, вызывая восторг дипломатов.

Прошло еще какое-то время, и папу вызвали в приемную ВЦИК. Говорил с ним секретарь «всесоюзного старосты» Калинина.

— Так вот, уважаемый Алексей Александрович, в вашем ходатайстве насчет выезда на Запад вам... отк а з а н о! Мотивы: вы — военно-обязанный, красный командир и крупный технический специалист, очень для нас ценный.

— Позвольте! Мне никто не дает работы по специальности, а из армии я уволен.

— Не уволены, а переведены в зап а с. И все это — лишь временно, поверьте! Вам и у нас будет совсем не плохо! Да я вижу, вы и не очень огорчены!..

Правда! Коли человек чего-либо не достиг, значит, видно, он и не очень хотел!

## Глава шестая

## В МИРАХ ЛЮБВИ НЕВЕРНЫЕ КОМЕТЫ

## 1.

Это было в двадцать втором году.

Его станут называть потом героическим (как, впрочем, и любой другой революционный год), неповторимым, победным, переломным, пятым ленинским. Станут величать годом ленинского торжества — политического, военного, хозяйственного... Но в живой памяти Рональда Вальдека год этот, а вместе с ним и следующий, тоже еще целиком ленинский, сохранится как фантазмагория, доходившая в иррациональном своем неправдоподобии до дьяволиады. Именно так оценил эту начальную полосу российского нэпа Михаил Булгаков.

Москва еще голодала, и Москва уже пировала, развлекалась, оголялась, пьяноватая от вина и расправ. И для того, и для другого служили московские подвалы, подчас даже одни и те же. Кстати, огромная система подвалов лубянских, где ходы XVII века соединялись с коридорами XVIII и тоннелями XX, служила не только местом тайных казней. Тут не только расстреливали людей, тут убивали и саму память о них, запечатленную в их книгах и трудах. Через люки сбрасывались в подвалы под Лубянской площадью и соседними дворами, переулками и строениями многие сотни тысяч изъятых книг неугодного содержания — церковных, философских, богословских, юридических, исторических, часто весьма редкостных и ценных. По недосмотру или умыслу в эти книжные склады проникла сточная вода.

Над Кремлем, маковицей Руси, еще возносились двуглавые византийские орлы. Они венчали надвратные и угловые башни Кремля. Москва — Третий Рим — унаследовала этих державных птиц в XV веке при государе Иване Третьем, символически породнившемся с царственным родом византийских Палеологов. В ту пору искусство греческое и итальянское наваяло нашему Кремлю его архитектурные формы. Но душа московского Кремля, воплощенная в этих по-своему воспринятых чужеродных формах, оставалась глубоко русской душой. Вероятно, это острее других ощущал зодчий Казаков, возводя близ Спасских ворот ордерное, во вкусе екатерининского классицизма, Сенатское здание, уже как бы предвосхищавшее знаменитый московский, александровский ампир. Особенно удался зодчему купол, вознесенный над красной кремлевской стеной с ее гибеллиновскими зубцами...

Именно в этом здании выбрал себе квартиру Ленин.

Говорят, он сам распорядился водрузить над казаковским куполом красное знамя и осветить его лучом софита. Свиваясь алыми шелковыми складками в прожекторном луче, это знамя революции пламенело над куполом, как бы противостоя коронованным орлам низверженной империи.

... С обшарпанных московских стен иступленно взывал: «ПОМОГИ!» человек-призрак в рубахе, похожей на саван. Этот помголовский плакат снабжался еще дополнительной наклейкой: «Всякий, кто срывает или заклеивает настоящий плакат, творит контрреволюционное дело!»

Но Рональду Вальдеку запомнилось, как отечный, в струпях и чирьях расклейщик со злостью замазал клейстером и человека в саване, и наклейку, чтобы через миг заботливо разглядить на этом месте веселую афишу с голыми красотками — объявление о новом кабаре с шансонетками. Постепенно, сперва робко, потом все нахальнее и откровеннее, возрождались старомосковские рестораны — «Ампир», «Са-

вой», «Метрополь», «Прага», «Гранд-Отель», «Яр». Любители сильных ощущений ждали, что вот-вот откроется казино с «золотым» рулеточным столом. На улицах прибавился электрический свет и появились рисованные афиши-объявления частных кинотеатров, зазывавшие москвичей на сеансы «Ню — женщина гостиных», «Индийской гробницы» и жутковатого фильма «Кабинет доктора Калигари», где Конрад Вейдт создал мистический образ Божества Чумы. Картина шла с подзаголовком «Безмолвный ужас», и москвичи со стесненным сердцем шли на эти сеансы, воспринимая конрадвейдтовскую символику как нечто близкое тому, что творилось дома. Воскресли на афишах и русские имена — Иван Мозжухин, Владимир Максимов, Вера Холодная, студия Ханжонкова.

Возвращались из западных столиц первые русские реэмигранты, клявшие Париж и Берлин, лобызавшие фонарные столбы любезной московской отчины и остерегавшие ближних от напрасных надежд на зарубежную планиду, коли нет у вас в наличии ни банковского чека, ни американского дядюшки.

Они возвращались, считая преувеличенными страшные слухи о голоде в Поволжье, на Украине, на Дону, да почитай, по всей матушке-России, обескровленной свирепыми комбедовскими изъятиями хлеба у крестьян. Теперь, в 1922-м, «изъятие излишков» приняло другую форму и перешло в другую сферу — церковную. С самой весны под флагом помощи голодающим шло форменное ограбление церковного имущества, наиболее ценного. Только из одного Исаакиевского собора изъято было, по официальным данным, около тонны золота, серебра — 2,2 тонны и 980 драгоценных камней (правда, эти изъятия из собора будут обнародованы лишь в 1927 году). Официальная статистика этих реквизиций просто смехотворна: будто бы из церкви изъято ценностей на семь миллионов золотых рублей. Сколько получили отсюда голодающие — Ты, Господи, веси! . . .

По дороге из Суздалья в Иваново-Вознесенск запомнилась Роне одна высокая колокольня, в селе Афанасьеве. С этой колокольни кинулся прямо на булыжник шоссеиной дороги батюшка — настоятель Афанасьевской церкви сразу после изъятия ее святынь и ценностей.

. . . В Страстную субботу этого уникального 22-го, перед полуночью, Алексей Александрович Вальдек шел с сыном по Красной площади мимо погруженного во мрак Кремля. Они вышли Александровским садом к Большому Каменному мосту.

Тяжелый купол храма Христа Спасителя венчал город, служил Москве золотой шапкой. Крест его, некогда поразивший Льва Толстого своим размером, плыл среди звезд в глубокой полуночной синеве среди разорванных облаков. Шла предпасхальная служба при настежь распахнутых воротах собора. Звучали оттуда голоса певчих и протодьяконский бас.

На площади же перед белокаменным собором, у самых стен, происходил безбожный комсомольский шабаш. Обряженные попами и монахами, ангелами и чертями, ведьмами и русалками, комсомольцы изо всех сил кривлялись, свистели, визжали, скоморошничали с площадок агитавтомобилей и прямо в саду, на спуске к реке и на широкой дорожке к уцелевшему постаменту от памятника Александру III.

Охальнее других вел себя здоровенный детина, изображавший Бога Саваофа с электронимбом вокруг низкого лба. Детина кощунствовал грубо, изрыгал в рупор похабные угрозы ведьмам и даже пытался достать посохом молодых прихожанок на паперти.

А служил в храме Патриарх всея Руси Тихон, уже оклеветанный, подвергнутый злым гонениям и травле в печати и со стороны так называемых церковных обновленцев. Самые разные московские люди сейчас, в Страстную субботу, будто в последней надежде теснились

ближе к главному алтарю, похожему на высокую беломраморную часовню. Десяти лет не пройдет, как и алтарь этот, и самый храм, стоявший русскому народу сорокалетних стараний, по сталинскому приказу взлетят в небеса посредством тщательно дозированного взрывпромовского аммонала. Эта обреченность и храма, и самого Патриарха, вскоре подвергнутого аресту, право же, будто уже предчувствовалась и тогда, в последние минуты Страстной... Вдали ударили полночь куранты Спасской, и крестный ход с пением пасхальной стихир «Воскресенье Твое, Христос Спасе» двинулся с иконами и хоругвями из храма. Почти на пороге шествие было встречено дикой свистопляской антирелигиозников. Впечатление получилось такое, будто в мирное течение чистой луговой реки вдруг прорвалась откуда-то грязевая лавина.

Кое-кто из верующих рванулся было в сторону — за кирпичиной, палкой, булыжником. Но вышел вперед облаченный в золотую ризу священнослужитель. Высокая митра делала его скромную фигуру крупнее и величавее. Повелительным жестом он потребовал тишины и произнес с четкой ораторской дикцией:

— Конституция Российской Советской Федеративной Социалистической Республики гарантировала трудящимся-верующим свободу совести, то есть беспрепятственного отправления религиозных культов в местах, указанных властью. Сегодня у нас самый большой и светлый христианский праздник, и никто не давал вам права мешать богослужению и оскорблять чувства верующих. Освободите проход! Удалитесь от храма!

В эту минуту детина с нимбом на лбу оскользнулся на платформе грузовика и слетел вниз. Нимб его погас. Раздались смешки, и чей-то неуверенный подголосок пискнул:

— Нам тоже разрешено нашу красную пасху праздновать. Даешь песню, ребята!

Но в настроении активистов что-то сломалось, их крики сделались глуше, и они уступили дорогу крестному ходу. Машины их отъехали в сторону к улицам Волхонке и Ленивке, где молодежь снова сгрудилась в поредевшую кучку, чтобы продолжить кривляние. Крестный же ход уже без помех проследовал мимо затейливого строения Цветковской галереи на берег Москвы-реки и по каменной лестнице с шарами, минуя царский постамент, снова поднялся к соборной паперти, медленно втек в храм и растворился там среди тех, кто оставался внутри слушать чтение у алтарей...

... 22-й год был для Алексея и Ольги Вальдек годом их медной свадьбы. Празднование это супруги решили отложить до зимы и тогда отметить сразу две даты: 15-летие супружества и 40-летний юбилей главы семьи — Алексея.

Стали готовить стольниковскую квартиру к большому приему, как жется, первому после революции.

Квартира, правда, уже потеряла и блеск, и даже прежнее тепло, но все еще оставалась просторной. Ибо трех стольниковских прислуг — кухарку Аннушку, горничную Любу и молодую прачку Анфису домком числил полноправными жилищами трех хозяйских комнат. На самом же деле они по-прежнему обитали втроем в полуподвальных «людских» каморках между кухней и прачечной.

Это таинственное полуподвальное царство темных кладовых, начищенных кастрюль и медных тазов, пылающей плиты, жгутов мокрого белья в хлопьях белопенного приборя и заповедных дверей к Анфисиной каморке с канарейкой и взбитыми подушками в ситцевых наволочках — все это царство обозначалось одним кратким словом: в н и з у.

И вот этот семейный праздник, к которому долго готовились и вверху, и внизу, наконец наступил. В самый разгар его стало

казаться Роне, будто никакой революции и не бывало в России. По-прежнему сервирован стол, прежние гости в прежних нарядах неприужденно и весело, как прежде, беседуют за бокалами прежних вин. . .

Среди гостей именитых была величественно спокойная Ольга Леонардовна Книппер-Чехова, изредка навещавшая с давних пор семейства Стольниковых и Вальдек. Была за столом и еще одна начинающая артистка, очаровательная Лиза Марлич, занимавшаяся в студии при Театре Мейерхольда. С великолепно разыгранным профессиональным интересом Ольга Леонардовна расспрашивала Лизу об актерских занятиях биомеханикой, которую Мейерхольд противопоставлял системе Станиславского. Лиза сдала свои мейерхольдовские позиции без боя. С обезоруживающей улыбкой молодая актриса так предательски тонко высмеяла и принципы, и надежды, и репетиционную практику своего режиссера, приправив рассказ и несколькими пикантными персональными деталями, что сострадательная вначале улыбка Ольги Леонардовны быстро превратилась в поощрительную.

Общество за столом с суеверным почтением прислушивалось к жрицам сценического искусства. Поваяло тенями великих. . . Беседа сама собою соскользнула на драматургию Блока, на футуристов, Маяковского, имажинистов, Есенина. «От всего этого слишком явно припахивает серой!» — вынесла приговор госпожа Алма Шварц, певица из «Лидертафель» и солистка церковного хора. . . Лишь для есенинской лирики нашлось несколько сочувственных реплик.

Морщился и кривил лицо от неприкрытого отвращения «ко всему этому бедламу» военный инженер Владимир Эдмундович Вальдек, папин двоюродный брат. Сперва он нехотя рассказал, как ему удалось уберечь свою квартиру от вселения посторонних, — пожалуй, самая модная тема у старомосковских интеллигентов в 22-м. . . Оказывается, вместо того чтобы уплотниться, как было приказано, Владимир Эдмундович просто отрезал капитальной стеной отнятые у него комнаты и благодаря военным охранительным грамотам получил разрешение превратить бывшую свою прихожую в кухню и ванную с прочими удобствами. Эти детали никого не смутили за ужином, напротив, вызвали одобрение и острую зависть: как же, инженер не стоит по утрам в очереди к коммунальной уборной!

Этот родственник, лишь недавно возобновивший дружбу с Рониным отцом, заглошную было в военные и первые революционные годы, поразил даже бывалого Роню своей открытой, непримиримой ненавистью ко всем нововведениям Октября, без разбору! Даже в застольном тосте он расценил российский Февраль как освободительную революцию во имя чести и процветания нации и государства Российского. Октябрь же он определил как жесточайшую контрреволюцию, чьи вожди, кучка авантюристов, играя на развале страны и усталости народа, разогнав Учредительное собрание в Таврическом, создали демагогическую олигархию типа джеклондонской Железной Пяты. И ни одно уважающее себя западное правительство никогда не признает юридическую законность этой олигархической власти, за исключением немцев, поскольку они, мол, сами и суть главные закулисные режиссеры большевистской победы, которую потом и помогли упрочить миллионными тайными субсидиями исключительно в собственных эгоистических интересах. . . Бокал свой инженер осушил со словами: «За лучшие времена, за Россию!»

В заключение вечера гости слушали музыку и чтение. Папа пел Шуберта, Листа и Рахманинова, Ольгу Леонардовну уговорили прочитать «Соловьиный сад», что и было исполнено с истинным блеском. Борис Васильевич Холмерс, старый поклонник Ольги Вальдек, показал несколько эстрадных номеров, столь острых, беспощадно злых и сугубо сегодняшних, что гости опять было испугались. Тогда с величайшим

спокойствием Борис Васильевич заметил, что всего год назад выступал с этой программой... в Кремле, перед вождями, как он выразился. На вопрос: кто же это слушал? — он спокойно ответил: все! И добавил, что взамен гонорара привез домой на легковом автомобиле целый багажник дорогой и вкусной снеди, о какой давно и думать забыл!

И все-таки для Рони все эти впечатления были второстепенны, потому что внимание его все время привлекал один, сейчас главный для него человек. Он казался Роне самым примечательным среди гостей и уже был любимейшим из них. Звали его Заурбек. Пожалуй, ни в одной человеческой судьбе не воплощался так символически русский иррациональный двадцатый век!

\* \* \*

...Московский полицмейстер Дмитрий Федорович Трепов, сын петербургского градоначальника, некогда раненного пулей революционерки Веры Засулич, счел необходимым заблаговременно приехать на званый ужин в Купеческом клубе, да еще и принять особые меры — для охраны самого клуба и наблюдения за порядком по всей Большой Дмитровке<sup>1</sup>. Ибо цвет губернской промышленности, торговли и науки вкупе с военными чинами занимали места за длинными банкетными столами в клубе. Деятели Москвы и губернии устраивали неофициальный прием генерал-инспектору кавалерии, Великому Князю Николаю Николаевичу по случаю его кратковременного пребывания в древней столице: он возвращался с Кавказа, где отдыхал и охотился в царских и соседних угодьях.

Среди его свиты интерес дам вызвал атлетического сложения кавказец в черкеске. В росте он почти не уступал Великому Князю, но двигался с мягкой легкостью горца. Широкий в плечах, узкий в талии, он, казалось, был создан для лезгинки. Издали одежда его выглядела подчеркнута скромной, и лишь вблизи можно было рассмотреть, что отделка газырей, пояса и кинжала стоила кубачинским мастерам загадочного Дагестана многих недель безупречной работы.

Застольной своей соседке, супруге московского профессора Сергея Муромцева, он успел отрекомендоваться Николаем Николаевичем Тепириным. Было замечено, что Великий Князь обращался с ним дружески-покровительственно и называл либо тезкой, либо Заурбеком. Соседке он пояснил, что одно имя — национальное, осетинское, а другое — на русский лад, полученное при православном крещении. У отца, осетинского князя Заурбека, тоже было русское имя Николай.

Дамы заметили, что кавказец слегка прихрамывает, и волновались, станет ли танцевать — уж очень завидным казался он кавалером. Чуть подвыпивший Трепов с несколько излишней фамильярностью, явно не понравившейся гостю, заявил, что тот, мол, «исправно спляшет». Эта реплика чуть не испортила все дело, но в конце концов под дружным дамским напором Заурбек смилоствовался, в танцевальной зале блеснул в мазурке, краковяке и венгерке, а в полонезе был просто величествен.

Покидая общество, Великий Князь любезно предложил младшим своим спутникам не уезжать с бала и дожидаться ужина, сам же отправился с адъютантом и остатком свиты на Николаевский вокзал. Заурбеку он ласково улыбнулся и шутливо погрозил пальцем: смотри, мол, не переусердствуй, чтобы не разбередить недавнюю рану!

В разгар бала Трепов, проводив князя до вагона, вернулся в клуб.

<sup>1</sup> Старое здание Купеческого клуба находилось на Б. Дмитровке, 17. Новое — с 1911 г. — на М. Дмитровке, 6.

Дама его упоенно вальсировала с Заурбеком. Когда же шеф полиции ангажировал другую даму, оказалось, что и тут Заурбек перешел ему дорогу — она обещала следующий тур преуспевающему осетинскому беку! За ужином Дмитрий Федорович выразил довольно грубо свое неодобрение в адрес неожиданного соперника.

— Вы бы полегче, Дмитрий Федорович! Великий Князь на его землях охотился! Осетинский бек. Князь, как-никак! . .

— Подумаешь, князек! У них там кто десяток баранов имеет, тот и князек!

Дальнейшее не сразу успели понять даже сидящие за ужином.

Громко упал стул, а через длинный банкетный стол перемахнула, будто подброшенная пружиной, фигура Заурбека. Совершая этот почти цирковой прыжок, он лишь на миг оперся рукою о стол, а в следующее мгновение вырос перед полицмейстером и нанес ему пощечину. Потом грозно завертел кинжалом и, не подпуская к себе никого, проложил путь к выходу. Никем не задержанный, он покинул клуб.

Однако на вешалке остался его плащ, а на банкетном столе нечто куда более ценное — выпавший из черески во время прыжка золотой портсигар с великокняжеским вензелем и надписью: «Николаю Николаевичу Тепирову-Заурбеку на добрую память от его гостя. Николай Николаевич Романов». По визитной карточке, врученной за ужином соседке, было нетрудно установить московский адрес владельца плаща и портсигара. Оказалось, он недавно снял или купил квартиру в Камергерском переулке.

Трепов счел за благо отправить с полицейским чином и плащ, и дарственный портсигар по этому адресу, вместе с письмом, в коем требовал удовлетворения. Заурбек велел устно передать, что давать удовлетворение полицмейстеру не собирается.

Этот ответ кое-где не очень понравился, и, хотя историю замаяли, Заурбеку настойчиво посоветовали оставить Москву и коммерческие дела, начатые им в древней столице. Заурбек решил совершенно изменить и среду, и образ жизни. Вопреки воле отца пошел учиться на паровозного механика и довольно скоро, к недоумению близких, надел железнодорожную форму и стал за реверс зеленого пассажирского локомотива «СУ» на линии Баку — Тифлис. По вине службы пути он попал в аварию, был оштрафован и понижен в должности, чуть не угодил под суд. Глубоко возмущенный произволом и фальсификацией, Заурбек оставил службу на железной дороге, записался добровольцем в кавалерийский полк и был отправлен на театр русско-японской войны. Получил ранение и Георгиевский крест. Из Владивостока подался в Канаду и там за несколько лет сумел удвоить унаследованные от отца средства какими-то поставками для русского военного ведомства через порт Ванкувер. . .

Прошло несколько лет, и Заурбек вернулся в Россию, приобрел тихое имение под Москвой и вступил в брак с девицей Масленниковой, встреченной на деловом ужине в «Славянском базаре», куда Масленников-папа, компаньон Заурбека по делам коммерческим, привел и дочку Анну Александровну. Полюбить ее или просто привыкнуть к ней Заурбеку было решительно некогда — он вел крупные дела с военными поставщиками и промышленниками. Оставив жену хозяйничать в имении, он по горло увяз в так называемом Земгоре, то есть Союзе земств и городов. Участвовал в перестройке фабрик и заводских предприятий на военное производство, тратил много сил на контроль железнодорожных перевозок, стараясь ускорять движение военных грузов, ибо чувствовал, что война начинает грозить основам империи.

У него происходили споры со знакомым революционером, который упрекал Заурбека в том, что его деятельность лишь продлевает агонию обреченного царского режима. Однако как политик революционер

ценил, что Заурбек держит его в курсе крупных военно-промышленных, транспортных и снабженческих операций: эта осведомленность была выгодна деятелю большевистской партии. Впрочем, после отставки Главнокомандующего, Великого Князя Николая Николаевича, поощрявшего деятельность Заурбека в Земгоре, Заурбек и сам стал склоняться к мнению, что царь Николай Второй безнадежно проигрывает и трон, и войну, и не столь на внешнем фронте, как на внутреннем.

Только после Февральской революции Заурбек нашел время навестить жену в подмосковном имении Сереброво, по Нижегородской дороге, на станции «38-я верста». Имение Сереброво отстояло от железнодорожной линии на таком же пятиверстном расстоянии, как и имение Корнеево, только по другую сторону. Мимоходом Заурбек-Тепилов арендовал еще одно имение, ближе к станции, на краю села Каменка и на берегу большого пруда с каменной плотиной. Называлось оно Белая дача.

Большой двухэтажный каменный дом с классическим фасадом, круглыми окнами в мезонине и обширными подвалами он, опять-таки мимоходом, приспособил под ремонтную мастерскую, привез сюда станки, моторы и локомобиль, протянул к зданию силовую линию от ближайшего сажевого заводика, построил котельную и к концу 1917 года открыл небольшое предприятие для починки железнодорожных механизмов, аппаратуры и оборудования. Назначил заведующим своего двоюродного брата Мишу, довольно сумрачную личность, до тех пор изнывавшую от безделья в московской квартире, а затем в имении старшего своего кузена Заурбека.

В этих хозяйственных хлопотах и застала Заурбека Октябрьская революция. Конфисковали имущество и банковский вклад Заурбека — не сразу и не все. Некоторое время за ним сохранялась квартира в Камергерском, имение Сереброво, Белая дача и ремонтные мастерские в ее подвалах.

Какие-то таинственные обстоятельства привели Заурбека, точнее, гр-на Тепирова Ник. Ник. (по национальности — осетин, имущественное положение — госслужащий, недвижимости не имеет, происхождение — из нацменьшинств!) к должности, ныне уже трудно вообразимой, еще труднее произносимой — уполномоченный ОРТОЧЕКА Курской желдороги.

... Весной 1922 года Ольга Юльевна Вальдек познакомилась с ним на берегу высохшего Каменского озера, под стеной Белой дачи. Ее арендатор, руководитель мастерских, владелец соседнего Сереброва (там пообрезали пахотные земли, а парк и усадьбу с барским домом оставили во владении «товарища уполномоченного»...) и деятель транспортного ЧК, в прошлом — князь и паровозный машинист, задумчиво ковырял тросточкой (набалдашник в виде головы борзой) щебень и прах свежевзорванной крестьянами озерной плотины.

Ольга Юльевна, ахнув при виде сухого бассейна на месте некогда живописной водной глади, подступавшей к парку Белой дачи, спросила, зачем было взрывать такую хорошую плотину?

На что товарищ уполномоченный дал вразумительный ответ:

— А зачем было взрывать такую хорошую Россию?

Разговор заинтересовал обе стороны, продолжался уже в парке Белой дачи, а затем последовал визит Ник. Ник. Тепирова в скромную чердачную резиденцию семьи Вальдек в селе Каменка. Оказалось, что имя Алексея Вальдека, недавнего руководителя москвотопской дружины, Ник. Ник. Тепилову отлично известно, а Ольга Юльевна вспомнила, что «товарищ уполномоченный» в свое время оказывал помощь противопожарным мерам Алексея Александровича в бытность того здешним лесным начальством.

С той поры завязалась дружба семейная, и больше всех членов

семейства Вальдек привязался к загадочному Заурбеку ученик Петропавловской бывшей гимназии Рональд Вальдек.

Дело в том, что, уже сблизившись, подружившись, даже чуть не породнившись с этим человеком, взрослая часть семьи Вальдек более чем скептически относилась к поразительным рассказам Заурбека об ингушах под Кизляром и индейцах под Ванкувером (с одними он дрался, с другими — «кунаковал»), о великокняжеских охотах на собственной земле и укрытии там же политического деятеля, за которым гнались жандармы, о взрыве паровозного котла при крушении и чудом спасенном машинисте Тепирове, и о чаепитии в обществе Великой Княжны Ольги в стенах Ипатьевского монастыря, о любовной связи со знаменитой балериной и кавалерийской атаке под Мукденом. . . Память Заурбека сохраняла краски, детали, имена, но он передавал эти эпизоды и факты протокольно и даже скучновато, их надо было уметь извлекать. Кроме того, он начал показывать Роне и предметы, которыми дорожил и втайне гордился, однако же никогда не показывал их скептикам. Их было очень много и все — уникальные по использованию и стоимости. Среди них очень запомнился тот самый. золотой портсигар с надписью от Великого Князя, подаренная Заурбеку самим Николаем Вторым огромная декоративная курительная трубка из цельного слоновьего бивня, с крышкой в виде серебряного орла и с богатейшей резьбой: на трубке были исполнены все гербы российских городов и губерний; в центре же красовался наибольший — московский — Егорий на коне, с копьем и драконом. Были уникальные часы с репетициями, огромный аквариум для тропических рыб более крупного размера, чем их держат простые любители (он был разбит при переезде из Камергерского), были картины, статуэтки, мундштуки, трубки, стаканы из серебра и золота, сервизы, бинокли, ружья — словом, целые коллекции раритетов, и большая их часть была подарена знатными особами или историческими личностями либо самому Заурбеку, либо его отцу.

Горячо привязавшись к Рональду, Заурбек передал мальчику сотни своих диковин. Стал хлопотать о форменной передаче имения Серебров (дом и «сад», как значилось по документам, на самом деле — дом и парк размером в шесть десятин, остаток серебрянской усадьбы с тремя прудами и вековыми елями) Рональду Вальдеку как «моему наследнику и приемному сыну».хлопоты эти почти увенчались успехом, и, верно, привели они к желаемому для Заурбека результату, судьба Рональда Вальдека стала бы на полсотни лет короче и завершилась, как и для всех таких «кулаков», где-нибудь в лагерях Кузнецкстроя или Магнитки. . .

Но тогда, в начале, а тем более потом, в разгар нэпа, люди как-то верили ленинским утверждениям, будто нэп введен всерьез и надолго, для экономического соревнования двух главных укладов в стране: частнособственнического и государственного. И казалось тогда, что, унаследовав имение, Рональд еще успеет приложить руки к серебрянским садам и прудам и что они отблагодарят молодого хозяина сторицей. Рональда тянуло «к земле», к ниве, и он никогда не сочувствовал неграмотным чеховским героям.

Однажды, почти на вечерней заре, в зимний день Заурбек, уже принятый в семье как родной ее член, с натугой снимал в московской квартире Вальдеков левый сапог. Роня сидел у письменного стола, и вдруг рядом ударила почти черная струя — это хлынула внезапно кровь Заурбека из раны, которая открылась, как позже выяснилось, от нервного перенапряжения.

Скупой на слова Заурбек, перевязанный Рональдом, ибо никого из старших в тот момент в квартире не оказалось, сознался, что все последние полгода жил как бы под дамокловым мечом: его жена поме-

шалась. У нее мания преследования в какой-то особенно агрессивной форме. Она должна защищаться от тайных сил, ее подстерегающих. К этим тайным силам стал, видимо, относиться и сам Заурбек.

Он давно перевез ее в Белую дачу (в Сереброве несколько лет подряд проводили все летние месяцы Вальдеки и их друзья). На Белой даче преимущественно жил и сам Заурбек, наблюдая работу мастеровских.

В последнее время он не раз пробуждался там от того, что жена с ножом в руках подкрадывалась к нему, чтобы перерезать ему горло... Дело шло к отправке жены в заведение для умалишенных, а это — несовместимо с обычаями старины у осетина! И он... воротил назад уже пристланную за большой специальной подводу.

Кончилось дело плачевно: большая отравилась. От волнений, связанных со следствием, открылась Заурбекова рана. Тогда Роня и понял, отчего в доме ощущалась уже несколько дней такая угнетающая, тяжелая атмосфера. Но и родители знали, оказывается, не все!

Лестница Заурбековой судьбы с тех недель повела вниз. Началась полоса его нисхождения по ступеням нынешней советской жизни. В 1930 году он угодил под раскулачивание. Кинулся поначалу за поддержкой к высокопоставленному большевистскому деятелю, которого некогда выручал из злых бедствий, а потом держал в курсе государственных событий. Пока Заурбек обивал кремлевские пороги, он остался нищим и бездомным. Жилье его в Сереброве было разграблено, дом сожжен, а Белая дача просто взята в казну.

Роня звал его переселиться к себе, но Москва угнетала Заурбека: тоскуя по сгоревшему дому, он искал приюта в соседних деревнях. Эти дни безрадостного угасания, нищеты и скитания по чужим углам чуть-чуть скрасили те подарки, что Рональд свято хранил до черного дня!.. Крест над могилой Заурбека Роня Вальдек соорудил осанистый. Отпевали новопреставленного в каменной церкви, тоже вскоре взорванной, как и каменная плотина.

Как и страна Россия!

## 2.

До 30-х годов всю Москву, в любом направлении, можно было пересечь на лыжах, из конца в конец: дворникам предписывалось оставлять на мостовых слой снега и наледи толщиной сантиметров в двадцать.

Рональд Вальдек с другом своим и соседом по парте Германом Мозжухиным, или попросту Геркой, после уроков и домашней обеденной трапезы становились на лыжи, спускались на лед Москвы-реки и скоро оказывались среди зарослей Нескучного сада, а то и еще дальше, в Ноевом саду, на задах и огородах деревни Потылихи. Затаивая дух, слетали с высоких обрывов, рискованно лавировали между деревьями, вовсе не подозревая, что упражняются в слаломе (так мольеровский герой не подозревал, что разговаривает прозой)...

Мальчики любили навещать в Нескучном заброшенные гроты, ротонды, павильоны и почерневшие статуи, будто всеми позабытые среди сугробов и кустарника. Сиротливые остатки старомосковского паркового зодчества, сильно пострадавшие от превратностей последних лет, трогали мальчиков своей грустью, загадочностью, беззащитностью. На их стройных колоннах, классически покатых плечах или в павильонных окнах медленно гасли отсветы малиновых закатов. Потом статуи и ротонды одевались в прозрачно-синие шелка сумеречных теней, зябко в них кутались, как старомодные дамы в нетопленных гостиных... Легкий снежок и зимняя мгла глушили лишние звуки и убирала из

парка немногочисленных попутчиков, пока мальчики не оставались одни, наедине друг с другом.

Две пары лыж шуршали согласно, ни души не было вокруг, и наступал для Рони и Геры час мужской беседы о тайном, задушевном: кто чем дышит, у кого что в памяти, какие родительские или семейные секреты надлежит уберечь от всего мира, паче же — кому отдано сердце и каковы виды на ответ! Тут уж обсуждалось все! Тончайшему анализу подвергался каждый шаг, слово или поступок избранницы, взвешивались шансы и готовились встречные шаги, слова и поступки. Обсуждались приемы тактики наступательной, а то и оборонительной, коли возникала угроза соперничества с каким-нибудь видным старшеклассником за сердце избранницы!

В этих деликатных делах друзья отнюдь не считали себя новичками. Недаром (правда, уже заканчивая девятилетку) Роня Вальдек посвятил другу стихи с такими трагическими строчками:

И на лбу, на свидетеле белом,  
Загорается новый след:  
Потому, что забыть не сумел я  
Ни одной за шестнадцать лет!

Бросая со школьного порога этот горестный взгляд назад, Роня припоминал голубенькие, карие и серые очи в летних сумерках, завитки рыжеватых, каштановых и льняных волос, но — увы! — даже укеры совести не помогали уверенно вспомнить имена... Зато уже возникало в нем самом властное, безумно тревожное предощущение тех космически бездонных омутов острейшего счастья, какие, пока еще бессознательно и робко, сулили ему улыбчивые, сладостно-солоноватые девичьи губы...

Уже на полпути школьного бытия, на пороге возраста любви оба друга решили внести в эту тонкую область элементы порядка и классификации.

Весь прекрасный пол планеты сам собою, чисто эмпирически, распался на две категории: значащих и незначащих. Естественно, что в обиходе мальчишеском последние играли ту же роль, что азот в атмосфере. Категория же значащих делилась на знакомых и незнакомых. Из всего обилия знакомых девочек путем таинственного отбора, по прихоти судьбы и вкуса, обособлялись этуали, и из этой элиты надлежало высматривать себе избранниц, главных и запасных, как у игроков в футбол. В целях джентльменской конспирации друзья-лыжники обозначали девочек-избранниц только в мужском роде, например, «южанин», «непир», «Монте-Кристо», «именинник», а то уж и вовсе кратко: «твой» и «мой». Вычитанное Геркой слово «этуаль» показалось друзьям нарядным, не для всех понятным и в обиходе удобным.

Тот же Герка решительно противился выбору этуали (тем более главной!) среди одноклассниц. Нельзя, чтобы при ней какой-нибудь замухрышка-педагог ставил тебе двойки или шпынял за грязь в тетради. Куда лучше, мол, обращать взоры в сторону знакомых, а еще вернее, отдаленно-родственных семей. Ибо родство, хотя бы почти теоретическое («нашему забору двоюродный плетень!»), все-таки помогало Герке преодолевать природную застенчивость. А сама обстановка семейных праздничных встреч, даже и скромнейших, придавала известную приподнятость знакомству с негаданной родственницей. Именно в кокетном хвосте дальних сородичей знаменитого кинематографического актера, Геркиного дядюшки, племянник обрел свою главную этуаль, сероглазую Лизочку Турову, будто сбежавшую с английского рекламного проспекта: «Блондинки! Требуйте мыло Раллей!»

Роня же стремился держать свою «главную», что называется, всегда на глазах. Влюблялся он ревниво, пламенно и, конечно, всякий раз на всю жизнь. День, когда ОНА бывала вне его поля зрения, Роня

считал безнадежно потерянным. Поэтому избранницей его могла стать либо соседка по дому, либо соученица. Он и отдал свое сердце Клерочке Орловой, самой красивой однокласснице. Застенчиво-нежное чувство к ней он сохранял потом в чистоте на протяжении долгих лет, как Петрарка после замужества Лауры.

Кстати, и для Рониного кузена Макса Стольниково, как случайно выяснилось спустя годы, Клера Орлова тоже была «главной», сама того и не подозревая. Может быть, если бы семья Стольниковых не покинула Москву, Роне предстояла немалая сердечная скорбь, ибо шансы Макса были, пожалуй, серьезнее Рониных!

В классе ученица Клера Орлова с двумя подружками — Олей Переведенцевой и Таней Пантелеевой занимали камчатские парты в дальнем от окон ряду. О борьбе районных и наркомпросовских властей с с либерально-буржуазными традициями бывшей Петропавловской гимназии ученики знали не хуже учителей и держались сплоченно, как мальчишки, так и девочки. Начало 20-х годов ознаменовалось в советской школе знаменитыми педагогическими опытами над кроликами-учениками. В этом смысле упрямая фрейлейн Рётген, равно и сменивший ее герр Густав Моргентау не отставали от модных западных веяний своего прогрессивного педагогического века! В бывшей гимназии насаждались и педология, и эвристика, и дальтон-план, и евгеника, и бригадный учебный метод.

Ученикам предлагались тесты и всевозможные психологические испытания, например, на внушаемость (в старой Петропавловке о таком и слыхом не слыхать было!). Роня Вальдек оказался в числе трех или четырех мальчиков, не подверженных внушению. Им заинтересовались и назначили ему дополнительные испытания в психофизической лаборатории, помещавшейся в Б. Златоустинском переулке (впрочем, уже переименованном в Б. Комсомольский). В лаборатории результат испытания на внушаемость вновь подтвердился — на Роню будто бы почти или вовсе не действовали обычные приемы рекламы, пропаганды, агитации и прочих видов современного массового или индивидуального внушения. . .

Впоследствии войдет в обиход понятие «массовая информация» — во времена Рониной юности она только зарождалась в виде ленинской монументальной пропаганды, агитплакатов РОСТА, однобоких газет, унифицированных журналов, кинофильмов, чуть позднее — общедоступного радио. Позже к этим средствам «массовой информации» прибавились столь могучие рычаги психической обработки, как телевидение, круглосуточные радиопрограммы на всех волнах и диапазонах, потрясающие тиражи газет и иллюстрированных изданий, работа издательских концернов и ораторские выступления политических деятелей.

В те уже далекие 20-е годы ленинская партия, впервые в истории мирового тоталитаризма, еще только училась приемам «информации», то есть массовой и обязательной лжи, возведенной в систему, в государственную догму. Замалчивание всего «неудобного», невыгодного или стыдного, превозношение и раздувание малейшего успеха и, наконец, грубая подтасовка фактов, извращение событий, наглейшая прямая ложь стали законом советской прессы. Вот эту ложь, внедряемую в массовое сознание методами ежедневного и ежечасного внушения, Роня Вальдек органически принять не мог. Бесчисленное множество «голых королей» буквально мельтешило перед его глазами, но никаких мантий, никакого нового платья Роня на этих голых королях не видел.

Ежедневных примеров было столько, что трудно их и привести.

Скажем, на диспуте между наркомом Луначарским и митрополитом Введенским красноречие и логика митрополита явно одерживали верх над наркомовской, и аудитория награждала рукоплесканиями находчивость архиерея. Газеты же непременно напишут, что победил

в споре нарком, осыпанный цветами и аплодисментами. Где-нибудь закрывали церковь под стоны и слезы верующих — газеты уже рассказывали, как единодушно народ потребовал ликвидации очага мракобесия. Производились выборы в какой-нибудь комитет или совет — выступал представитель партийного губкома или ячейки и прочитывал список «рекомендуемых» кандидатов. Разумеется, кандидат избирался поднятием рук единогласно, и газеты всерьез писали об энтузиазме и восторге избирателей, отдавших голоса (точнее, руки) за верных ленинцев. А уж про загнивание и маразм буржуазной демократии писали так, что оставалось ждать падения западных буржуазных порядков буквально на следующей неделе.

При новой серии педологических проверок у Рони нашли некоторую замедленность реакций, устойчивость вкусов и черт характера, правдивость и еще: слабую подверженность панике и «психозу толпы» (прежде это качество называли хладнокровием, но, вероятно, такие элементарные термины не отвечали современному уровню психо- и педологии). Еще у него констатировали «вышесреднюю» память и фантазию, склонность командовать и — увы! — резко выраженное тяготение к «отвлеченной», а это значит — страшно сказать! — **внеклассовой** справедливости. . .

Все это не помешало педологам Рониной школы после «комплексного обследования» признать Роню Вальдека лишенным прилежания, трудолюбия, целеустремленности, внимания и почти всех видов способностей и дарований.

— Просто не ученик, а почти законченный идиот! — недоумевал дома папа, Вальдек-старший, рассматривая сложный график педологической проверки.

После введения бригадного метода и дальтон-плана Роню, несмотря на неутешительные выводы педагогов, назначили бригадиром сразу по нескольким учебным дисциплинам. Практически это означало некоторую личную ответственность за общбригадные грехи. Как раз тогда Роня узнал, что в древней Иудее существовал праздник очищения от грехов, — оказывается, все грехи всего народа возлагались на выбранного для этой ноши козла. После возложения первосвященником всеиудейских грехов на рогатого избранника носитель грехов изгонялся в пустыню под улюлюканье всей толпы. Когда на Рональда Вальдека возложили бригадирство по литературе, немецкому, французскому, физике, обществоведению и политграмоте (две последние дисциплины, с присовокуплением к ним еще особого курса советской конституции, долженствовали заменить упраздненный курс истории), Роня понял, что пустыни ему не миновать!

Числилось в бригаде десять-двенадцать человек, они могли мирно бездельничать, пока бригадир потел над очередным отчетом. Это называлось коллективно-индивидуальной подготовкой. Отчет же заключался в том, что бригадир прочитывал доклад на заданную по данному предмету тему, а учитель потом задавал еще несколько дополнительных вопросов бригадникам. Искусство бригадира в том и состояло, чтобы спрошенные сумели ответить!

Учителя, более дальновидные, да и просто более добросовестные и честные, только притворялись, будто придерживаются прогрессивной методики. На деле же они учили по старинке и спрашивали строго. Так было с математикой и естествознанием. Прочие терялись в новшествах и испытывали прямо-таки симпатию к тем ученикам, кто выходил из проверок с клеймом отсталости либо неспособности. По загадочной аномалии именно эти неспособные заканчивали школьный курс наиболее благополучно!

Перед экзаменом по русскому языку новый учитель Добролюбов, уже третий после Веры Александровны (ни тот, ни другой, «сменив, не

заменяли ее» в ученических сердцах!), подверг учеников очередному тесту. Он пояснил, что должен проверить остроту обоняния у всех учеников класса. Достал из портфеля три флакона с разноцветными жидкостями, пояснил, что это духи из весенних цветов, всем известных. Потом по очереди открывал каждый флакон, подносил флаконы близко к испытуемым, спрашивал, какие запахи. Почти единодушно 38 учеников и учениц признали в первом флаконе ландыш, во втором — сирень, в третьем — фиалки. Роня не почувствовал ничего.

Его сосед и друг, Герка Мозжухин, посмотрел на Роню презрительно, через плечо, и фыркнул:

— Ну и нос у тебя! Сиренью за версту несет, а он не слышит!

Опыт оказался вовсе не на обоняние, а на внушаемость. Во флаконе была обыкновенная вода из водопровода, чуть подвеченная чернилами. Учитель глянул на Роню как-то странно и сказал:

— Вам, Вальдек, предстоит в жизни нелегкая судьба!

... Нелегкая судьба настигла Роню уже на школьном пороге: по математическим дисциплинам он почти не готовился, понадеясь на свою роль бригадира. Однако учитель назначил не бригадные, а самые настоящие испытания и легко установил, что ни за 8-й, ни за 9-й классы Роня математики не знает. Класс закончил программу, а Роне и Герке назначили переэкзаменовки через месяц. И тут выручил неожиданный благодетель!

В самый год окончания школы (1924-й) Ронины родители твердо решили вернуть Роню хотя бы формально в лоно лютеранской церкви. Зарубежные планы не были еще окончательно оставлены, а ведь там обязательно потребуют «конфирмационшайн» — свидетельство о конфирмации! Роня не очень ясно понимал смысла конфирмации, и ему пояснили, что это — торжественный обряд первого причастия, совершаемый у лютеран на пороге сознательной, самостоятельной жизни. Он требует сознательного отношения к вопросам веры и хотя бы элементарных знаний самых основ христианства. Поэтому обряду конфирмации должны предшествовать учебные занятия.

Между тем советские власти официально запретили все виды религиозной подготовки детей и подростков, в том числе школьные, или церковные, уроки Закона Божьего. В бывшей Петропавловской гимназии совершилась наконец в 1923 году столь давно подготавливавшаяся пролетарская революция. Появился в ней «красный директор», а Ронин класс, за год до окончания, вообще расформировали, разбросали учеников по классам параллельным. Главное же, школу слили с другой, разбавив прежний состав учащихся пополам и убрав половину учителей, разумеется, лучших.

Бывшие петропавловцы сидели теперь в новых классах с незнакомыми ребятами, не знавшими немецкого языка. Сам Роня оказался на одной парте с беленькой худенькой девочкой, Шурочкой Есениной. Девочка трогала своей скромностью, ясной голубишной очей, незлобивостью души, крестьянскими словечками в разговоре и наивной преданностью учебным заботам. Была в этой девочке доброта и чистота. И приходил изредка за нею в школу красивый, белокурый, элегантно одетый молодой человек, похожий на Шурочку чертами лица. Шурочка, стесняясь, показывала ему в коридоре, на подоконнике, свои не слишком безупречные тетрадки. Автором только что подписанного ее фамилией немецкого сочинения был сосед по парте и Шурин бригадир Роня Вальдек. Он однажды проходил мимо сидящей в коридоре пары и заметил Шурины затруднения. Соседка познакомила его со своим собеседником:

— Это — мой старший брат, Сергей Александрович Есенин. Может, слышал?

Да, Роня слышал. И читал. И любил. С того дня началось это знакомство, но о нем — попозже.

Разумеется, в обновленной, точнее, в умерщвленной Петропавловской гимназии, ставшей рядовой совтрудшколой, прекратились и преподавание на немецком («забота о нацменьшинствах!»), и связи с соседней Петропавловской церковью («забота о воспитании юношества»). Водить детей-лютеран в сакристию на уроки строго запретили.

Желающих же конфирмироваться тою весной оказалось более полусотни юных отпрысков хороших немецких фамилий старомосковского происхождения. В двух других московских лютеранских церквях — Реформирте-кирхе в Трехсвятительском и Михаэлис-кирхе на Немецкой улице — происходило примерно то же самое.

Выход нашел епископ Майер, глава всероссийской лютеранской епархии и Петропавловского прихода в Москве. Он строго обязал будущих конфирмантов посещать церковь в течение всей зимы во все дни службы. Пастырские проповеди будут посвящаться программе для конфирмантов. Перед Рождеством и накануне Вербного воскресенья («Пальмзоннтаг») состоятся проверочные испытания, насколько конфирманты усвоили курс духовных наук из проповедей.

Роню Вальдека, как и других конфирмантов, записали еще с осени. Он был этим немало смущен. Ведь десяток раз он уже причащался Святых Тайн в русских храмах, у русских священников, испытывал очищающую радость исповеди. Он считал себя принадлежащим к апостольской православной церкви. Посещение пасторских проповедей требовало очень много времени, что грозило еще больше осложнить неважные дела с математическими предметами в школе. Уже чувствовалось, что к старым петропавловцам комиссии будут особенно придирчивы. И наконец, сам конфирмационный праздник в церкви и дома сулил крупные осложнения в школе и на будущих испытаниях в вузе. Роня прекрасно знал, какая слежка ведется за всеми, кто как-то связан с церковью и священнослужителями. Ведь власти только кое-как терпели в стране деятельность церквей, уже сокращенных, казалось бы, до минимума. Не навлечь бы новые бедствия на семью, и без того сомнительную по классовому и национальному признакам!

Эти колебания помог пресечь папа.

— Доверься нам с мамой, мальчик! — сказал он сыну, — и все будет хорошо! Пойми: то, что ты узнаешь на уроках-проповедях, ты больше нигде изучить не сможешь. А не будешь этого знать — навек для тебя останется непонятным и мировое искусство скульптуры, и вся высокая классика, и вся христианская мысль. Ты станешь богаче духовно, о последствиях же не думай! Бог поможет!

Так и выпала Роне Вальдеку судьба слушать весной 24-го года сразу пять учебных программ: школьную — в бывшей Петропавловской гимназии; химическую — в кружке при техникуме «Физохим», по настоянию папы; литературную — в семинаре при Высшем Литературном институте имени Брюсова в качестве вольнослушателя; музыкальную — дома, у пианистки Александры Сергеевны Малиновской, приглашенной давать Роне и Вике уроки рояля по курсу музыкального училища; и, наконец, духовную — у епископа Майера, в Петропавловской лютеранской кирхе.

При таком грузе школьных и дополнительных учебных забот Роня убедился, что в одни сутки можно, при желании, утрамбовать уйму полезного, если не давать минутам утекать впустую. Интересовали его одинаково химия и литература, а чему отдать предпочтение, он не знал. Отец склонял выбрать профессию химика, на литературу же взирать как на гуманитарное развлечение или разновидность побочного заработка.

— Музам служить — не мужское дело, — говорил папа. — Музы са-

ми должны служить настоящему мужчине! К тому же, Роня, по моим наблюдениям, может быть, поверхностным, литераторы всех жанров, от переводчиков до драматургов, — самые голодные ныне кустари, беднее холодных сапожников и татар-старьевщиков. Их жалкие гроши малы даже для приработка, уж не говоря об основах существования. Их труд — подчас подвижничество, но ты-то сам, Роня, готов ли на подвиг? При том под крики: «Смотрите, как он наг и беден, как презирают все его!» . . .

Ронины впечатления в Брюсовском институте скорее подтверждали папины наблюдения, нежели опровергали их. Вникая пока что со стороны в литературно-учебные будни, Роня поражался наглядной, трудно скрываемой бедности известных профессоров-словесников, поэтов, романистов, критиков. Стоптаные, чиненые-перечиненые башмаки профессора-классика Сергея Ивановича Соболевского, сложная мозаика заплат на штанах Виктора Борисовича Шкловского, фантастические обличия Ивана Сергеевича Рукавишника или профессора Голосовкера — первого с кавалерийски-цирковым пошибом (сапоги и галифе), второго — в несколько театрализованном франк-масонском, розенкрейцерском стиле верхней одежды (старый черный плащ, звезда-застежка вместо пуговиц, шляпа астролога) неопровержимо свидетельствовали, что папины опасения насчет тернистого пути, ожидающего литературного неопита, отнюдь не беспочвенны.

Но не эти меркантильные соображения заставили Роню призадуматься, музы ли должны служить мужчине или мужчина музам. Папин довод о нелитературных профессиях таких писателей, как Гарин-Михайловский (инженер путей сообщения), Станюкович (морской офицер), Куприн (офицер пехотный), Джек Лондон (старатель на золотых приисках и фермер), А. Н. Островский (юрист в суде), — как будто прямо свидетельствовал о пользе химического пути для Рони. Однако жизнь решила иначе.

. . . Выпускник-школьник впал было в уныние, когда обрушилась на него переэкзаменовка по всему курсу математики. Представились ему зыбкие болота давно забытых арифметических правил, неодолимые джунгли алгебры, безмолвие формул в ледяной пустыне бегущих куда-то линий, громоздящихся кубов, цилиндров и прочих стереометрических абстракций, далеких от реалий жизни. В ушах звучало двустигшие:

. . .И вызывают мой испуг  
Скелет, машина и паук.

Впоследствии выяснилось, что это — ранний Волошин.

Думать же о продолжении образования без школьного аттестата вообще не приходилось. Его отсутствие стало бы поперек любым путям в высшую школу.

Ронин душевный упадок заметил один наблюдательный человек, будто посланный самим провидением!

Его звали герр Гамберг и был он помощником епископа Майера. Именно ему епископ поручил время от времени проверять, как слушатели проповедей усваивают этот элементарный богословский курс. Ибо сам герр Гамберг был ученым-богословом протестантом, а к тому же и крупным математиком. Курс математики он читал одно время в частнопэповском институте Каган-Шабшай, куда за невысокую плату мог поступить чуть ли не любой желающий, чтобы получить специальность электрика и усовершенствоваться в практической физике.

Его глаза, темно-карие, чуть близорукие, светились доброю к людям и строгостью к самому себе. Конфирмантам он прощал все, кроме плохих знаний пройденного из Евангелия и Ветхого Завета. Он так располагал к доверию, что Роня после первых же расспросов о причине уныния рассказал ему о всех своих школьных заботах.

— Что же вы намерены предпринять за пять недель до переэкзаменовки? — так четко был сформулирован последний вопрос Гамберга.

— Надобно бы подзаняться, — неуверенно ответил завтрашний выпускник. Он все еще мысленно не оставлял надежд как-то выкрутиться за счет своих бригадирских заслуг. К счастью, Гамберг решительно эти надежды пресек.

— У вас на счету каждый час, — сказал он. — Сейчас вам надо забыть все прочее — и семинар в Литературном институте, и химический кружок, и музыку, и даже конфирмационные занятия — их вы догоните с моей помощью после переэкзаменовки. Помогу вам и с нею, если вы решитесь заниматься серьезно. За пять недель — повторить или пройти девятилетний курс. Это трудно, но мыслимо. Дорогу осилит идущий.

Роня решил.

Впоследствии в его жизни выпадали еще две или три полосы такой же безудержной, запойной математической переподготовки. И все-таки первая, гамбергская, была самой трудной. Потому что он не сразу отважился поверить, будто постичь биномы и синусы ему вполне по силам. Под конец курса у Гамберга он уже дивился собственному недавнему страху перед математической логикой. Оказалась она, эта школьная математика, плебейски элементарной.

На переэкзаменовку он пришел совершенно спокойным. Письменную работу выполнил быстро и без помарок. Учительница Смирнова, обозленная двухлетним Рониным бездельем в классе, села на экзамене рядом с ним и не сводила глаз с испытуемого. У доски Роня отвечал сразу по курсу алгебры, геометрии и тригонометрии. Экзамен затянулся на два с половиной часа. Держали его четверо, Роня оказался лучшим. Член комиссии Успенский под конец спросил:

— Вальдек, почему вы так долго валяли дурака в классе и притворялись математическим кретином? У вас не только приличные способности, но и приличные знания. Извольте объяснить ваше поведение!

— Я считал, что человеку не следует отвлекаться от главного своего пути. Математика представляется мне... излишней дисциплиной для литературоведа. Я занялся ею, когда доводы мои были отвергнуты. И убежден, что мог бы потратить время на вещи более мне полезные.

— Например?

— Скажем, на изучение греческого или латыни, старославянского или любого современного языка. Это дало бы мне гораздо больше.

— А мне кажется, — говорила учительница, — Вальдек вообразил, будто математическая одаренность вредит гуманитарной, скажем, лингвистической одаренности или несовместима с нею. Вот он и кривлялся. А мог бы...

— Что же, вы отняли немало времени впустую у себя и у других, Вальдек, — заявил, вставая, председатель комиссии. — Неужели за девять лет вам не встретился умный человек, чтобы разуверить вас в этих несовременных и жалких теориях? Будто математик глух к поэзии, а поэт — к математике?.. Впрочем, экзамен вы выдержали. Аттестат получите вместе со всеми.

Роня уехал на Волгу готовиться к вступительным экзаменам в институт и уж только после зачисления в студенты навестил глубокой осенью своего педагога. Шел он со смутным предчувствием недоброго.

Заплаканная мать Гамберга сообщила, что сына взяли три недели назад. Судили его потом за религиозную проповедь среди детей и молодежи. Он погиб медленной смертью на лесоразработках в Карелии, в том самом 1931 году, когда газета «Правда» с негодованием отвергала буржуазную клевету насчет принудительного труда в советской лесной промышленности, на лесосеках. Смерть Гамберга в лагерях произошла на седьмом году его срока наказания за порчу молодежных умов, в том числе и Рониного.

... Во время экзаменов Роня сразу подружился с Арсением Тарковским, Володей Крейниным, Сергеем Морозовым, Виталием Головачевым, Володей Браилко, Жоржем Кофманом, Юлечкой Нейман; в группах старших студентов, чем-то помогавших испытуемым, он узнал Юрия Гаецкого, хромого Леонида Тимофеева, Илью Марголина, Макса Кюнера, многих товарищей по своему семинару. Успокаивал волнующихся Н. Н. Захаров-Менский, экзаменовали по разным предметам Г. А. Рачинский, И. П. Лысков, К. С. Локс, И. С. Рукавишников, поэт Николай Минаев, проф. Г. Г. Шпет. Участвовали в коллоквиуме такие светила, как А. А. Грушка, С. И. Соболевский, М. П. Неведомский (Миклашевский), Н. Д. Каринский, С. С. Мстиславский, С. А. Поляков. Атмосфера приемных испытаний была волнующей, торжественной, многозначительной и глубоко символической. Именно во время этих испытаний проф. Г. Г. Шпет (известный ранее родителям Рональда, в том числе и по Петропавловскому церковному приходу) представил совсем растерявшегося Рональда Вальдека Сергею Александровичу Полякову, «старому Скорпиону», как его ласково называли в глаза и за глаза. Голова кружилась от мысли, скольким блистательным талантам Поляков открыл дорогу в литературу, скольких поддержал, с кем дружил и сотрудничал, — от Брюсова и Бальмонта до Чехова и Толстого!

К испытаниям «у Брюсова» Рональд был уже морально подготовлен, ибо держал их, правда, в менее торжественной обстановке, но почти в том же объеме годом раньше, когда записывался вольнослушателем в литсеминар. Тогда проф. Рачинский благожелательно потолковал с неопитом о Мильтоне, Захаров-Менский потребовал обрисовать черты Дюка Степановича из былин Новгородского цикла, а проф. Лысков экзаменовал нового семинариста по синтаксису. Ответ же по русской литературе пришлось держать тогда перед самим Валерием Брюсовым.

Выглядел он больным. Лишь за две недели до начала занятий в институте приехал он из Восточного Крыма, где гостил у Макса Волошина, простудился и никак не мог поправиться от какого-то новомодного зловредного гриппа, который еще не называли вирусным, но уже знали его коварство и приравнивали даже к испанке, легкой форме бубонной чумы, как характеризовал ее доктор Бонч-Бруевич. Эта испанка скосила в революционной России сотни тысяч людей всех возрастов, соперничая с тифом и холерой, — с той, как говорят, бороться было даже проще.

Брюсова уговаривали идти домой, но он упрямылся. Когда листок с пометками Рачинского, Лыскова и Захарова-Менского очутился у него в руках, он сурово глянул на испытуемого и вдруг задал Роне неожиданный вопрос:

— Ну-с, молодой человек, из нашего семинара вы, верно, думаете перейти в студенты. Литературой, стало быть, увлечены... А вот Пушкина вы читали?

Роня решил, что его ожидает некий опасный подвох. Сказать, что Пушкин — для него божество? Смело ответить: да, читал! А вдруг экзаменатор выкопает такой вопрос, что поставит в тупик троих мудрецов? Ведь задает-то вопрос не кто иной, как редактор пушкинского собрания... Или скромно заявить, будто читал плохо, урывками? Чего доброго, Брюсов тогда и разговор прекратит? И Роня пустился в дипломатию:

— Кабы мне кто другой вопрос этот задал, я бы знал, что сказать! А что ответить Вам, Валерий Яковлевич, просто не знаю!

Брюсов насупил брови еще строже. На свои портреты он похож в точности!

— Говорите что есть. Не в дипломаты поступаете, а в будущие

литераторы... Ну, как звали, к примеру, по бабушке Татьяну Ларину?

Господи! Сейчас, сейчас! «Смиранный грешник, Дмитрий Ларин, господний раб и бригадир...» — Роня прочитал эту строфу на память.

— Дмитриевна, стало быть, — подтвердил Брюсов. — Скажите-ка, дорогой коллега, как называется речка в Михайловском? Помните?

Какие-то обрывки бессильно кружились в голове. Речка не вспоминалась, а ведь Роня ее даже видел, был с отцом в этом имении, помнил карету Пушкина, его бильярд, смутный облик его родного старшего сына — 82-летнего Александра Александровича, приехавшего тогда в родительское гнездо из Москвы. Дело было в июне или июле 1914-го, перед маминым отъездом на Кавказ. Однако имя речки будто провалилось на самое дно памяти...

Подсказал тихо Захаров-Менский:

— Ну, как же, припомните: «И берег...»

— «Сороти высокий!» — дополнил Роня с огромным облегчением. Ему все это показалось шуткой тогда. А от исхода шутки зависела судьба.

— Пушкина юноша сей читал. В семинар, по-видимому, подходит! — сказал тогда Брюсов, приподнимаясь со стула. Все это продоллось минуты полторы, не более!..

... Теперь, на коллоквиуме, экзаменовал академик А. С. Орлов. Рональд получил от него пятерку. Сергей Александрович Поляков и поэт Тимофеев, есенинской школы, повели абитуриента выпить кофе. Из всех стихов поэта Тимофеева Рональд потом сохранил в памяти одну строфу:

А там, за дощатой стенкой,  
Жутко скрипит кровать:  
Это в поганом застенке  
Из девушки делают мать.

Поэт Тимофеев терпеливо дожидался, пока Роня Вальдек поглотит свой стакан кофе со сливками и поверит, наконец, что он — студент! Когда оба эти внутренних процесса завершились, поэт и студент вышли на Тверской бульвар, представлявший в те годы довольно яркий иллюстративный материал к стихам Тимофеева в духе вышеприведенной строфы. Оказалось, что Тимофеев самоотверженно решил посвятить все свое творчество, весь запас жизненных и поэтических сил одной-единственной цели — проповеди целомудрия и безбрачия среди молодежи. Он доказывал, что рождение каждого нового человека есть наивысшее преступление перед всем миром живого на планете, ибо человек рождается только для умножения в этом мире скорби, боли и смерти. Если земное население увеличивается на одну человеческую единицу, значит, неизбежен рост новых несчастий, пороков и бедствий, предначертанных ему непреложной судьбой. Спасти обреченное человечество можно лишь одним средством — прекращением деторождения. Если молодежь перестанет заключать браки и вершить греховную любовь — человечество безболезненно и постепенно вымрет, что и спасет его от многоликого социального зла, классовой борьбы, войн, убийств, жестокого кровопролития, ужасов насильственных смертей, страданий и мучений. Не рожать, не воспроизводить себе подобных несчастных — и нынешнее зло мира само собой прекратится. Как просто! Этой философии он был предан до фанатизма, обдумал давно все возражения и отметал их с полемическим блеском.

Эту свою философию он развивал в звучных и довольно убедительных стихах и даже целых поэмах. Иные удавалось ему печатать в каких-то небольших сборниках, большинство же читал устно, в том числе и на публичных вечерах. Как потом узнал Роня, его хорошо знали в литературной Москве, он был членом ВСП (Всероссийский Союз Поэ-

тов), председателем коего был Н. Н. Захаров-Менский, а секретарем — Евг. Григ. Сокол. Эти поэтические руководители уважали Тимофеева и посылали выступать в составе поэтических бригад...

Но в тот осенний вечер на Тверском бульваре, когда Роня Вальдек под напором доводов собеседника уже почти окончательно убедился в абсолютной спасительности безбрачия и воздержания, поэт-философ вдруг будто весь просиял. На его лице появилось выражение просительное и улыбочивое. Роня не сразу понял, что поэт узрел знакомых! Тимофеев резво устремился к двум девицам, сидевшим на скамье в довольно свободных позах.

— Лидочка! Что же ты меня вчера обманула? Так и прождал тебя напрасно до самого утра. Сегодня-то придешь?

Та снисходительно кивнула, и обе резко захохотали. Поэт, будто вовсе и позабыв о Ронином присутствии, присел рядом с Лидой, пошептался с нею, что-то ей передал — не то записку с адресом, не то горстку мелких монет, как-то неуклюже боднул ее лбом в плечико и, несколько успокоенный, воротился к Роне, на середку аллеи. Гадать о целях приглашения не приходилось!

На недоуменный Ронин вопрос поэт пояснил:

— Видите ли, вся проблема в том, чтобы это дело не начинать! Если попробуешь — перестать трудно. Надо не пробовать!

— Значит, сами вы... практически... не следуете своему учению?

— Куда там! Я-то сам уж втянулся, привык... А вот вам, юным, начинать ни в коем случае нельзя! Иначе... не отстать, а тогда — человечество погибнет от катастроф и катаклизмов, неизбежных, коли оно не перестанет плодиться!

Так в первый же вечер знакомства поэт-философ несколько подорвал эффект собственной проповеди своим же примером! И если, выслушав стихи, Роня заколебался, следует ли ему самому вкусить от плода познания добра и зла, то, прощаясь с Тимофеевым, явно уже торопившимся на свидание, он подумал, что едва ли предпочтет тимофеевскую теорию тимофеевской же практике! Разве что будет выбирать требовательнее объект для грехопадения!

### 3.

В советской Москве двадцатых годов жизнь людская текла так, как текут в одном русле, еще не перемешавшись, воды двух сливающихся рек. Кто видел в старину, еще до плотин и электростанций, слияние Камы с Волгой, наверное, помнит, коли наблюдал в ясный день, как быстрая темная камская вода, ударившись о желтоватую толщу волжской, поначалу бежала рядом с той, будто отделенная незримой стенкой. Так старомосковский быт еще на протяжении доброго десятка лет после революции не смешивался с новым советским, а шел сам по себе, как бы в разных социальных плоскостях.

Пережила Москва террор, холод и голод военного коммунизма, все виды кощунства над святынями старой России, но не могли пионерские барабаны и горны заглушить колокольного благовеста к заутрене. Когда Пасха совпала с Первым Мая, заводские колонны бедновато одетых рабочих шествовали в сторону Красной площади, а навстречу им попадались на рысаках молодые люди в расстегнутых пальто, черных костюмах и крахмальных сорочках, торопившиеся отдать как можно больше праздничных визитов старшим родственникам и добрым знакомым.

Были гостеприимные, интеллигентные дома, где никогда не произносились советские неологизмы, никто не желал знать слов «ЦУМ»

или «Мосторг», а говорил с аппетитом: «У Елисеева» или «У Мюр-и-Мерилиза». Фамилии советских вождей неизменно заменялись насмешливыми кличками, вроде «лысый», «очкастый», «бороденка», «кепочка», «пенсне». Под неписанным, но железным запретом находились все переименования, и назвать в застольной беседе Варварку «улицей Разина» или Николаевскую дорогу — «Октябрьской» означало бы политическое, эстетическое и моральное предательство дома сего и всей России вообще, с ее мучениками, традициями и заветами.

Три таких московских дома стали для Рони почти родными: большая семья Орловых на Таганке, семейство одноклассника Герки Мозжухина на Остоженке и еще один дом в Басманном переулке, где чудом сохранилась от разгрома семья Эрвина Брунса, друга Рониных родителей.

Семья эта свято блюла кастовую честь и клановые устои русского инженерства, а происхождение свое вела издалека, чуть не от бельгийского королевского дома, правда, не по мужской линии, а со стороны Лидии Георгиевны Брунс, супруги инженера. За их единственной дочерью Антониной, слегка болезненной, изнеженной и воспитанной в правилах прошлого века (ее, например, вовсе не отдавали в совтудшколу), Роня Вальдек принялся было влюбленно ухаживать, но ему четко объяснила сама Толя — такое сокращение своего имени девушка Брунс предпочитала общепринятому, — что родители уже просватали ее за инженера путей сообщения, очень представительного, надменного и родовитого. Инженер нарочно ходил на службу пешком мимо Толиного дома, чтобы раскланяться в окне с Толиной матерью, а заодно поймать и шутливый воздушный поцелуй невесты.

В доме Брунс общались либо на французском, либо на чистейшем и строгом, как в Малом театре, старомосковском наречии, певучем, протажном, акающем, «штокающем» и «сердешном». После долгих трапез здесь много музицировали — у Толи был голос, у Лидии Георгиевны хорошая фортепианная техника, а гостями бывали тогдашние инженеры, люди воспитанные и многосторонние. Инженер-путеец Эрвин Брунс нес в НКПС столь солидную ответственность за состояние отечественного транспорта, что его жалования доставало кормить жену и дочь, не жертвуя их досугом ради совслужбы. Вечерами у Брунсов всегда читали Фета, Мея и Бунина, играли Сен-Санса, пели романсы Кюи, выражали презрение к декадентам (начиная от Брюсова и Блока), показывали младшим гостям старинные фигуры в вальсе и составляли гороскопы для гостей по французскому изданию «Мануэль астроложик». Дамы перед праздниками говели, гадали под Крещение, ездили на кладбище в Родительские субботы, на Пасху христосовались, перед Троицыным днем убирали дом березками и посыпали полы травкою, а справляя именины, раздвигали столетний дубовый стол персон на тридцать-сорок.

Толина свадьба была назначена на июнь 1928 года.

Однако по таинственному охранительному закону или Божьему промыслу Толя Брунс, слегка простыв перед свадьбой, сгорела в трое-четверо суток от молниеносной чахотки. В гробу казалась спящей и несказанно прекрасной. Мать повторила Рональду последнюю Толину фразу: «Муттер, их штербе найн». Так она заключила свою 26-летнюю жизнь словами на немецком языке, хотя прежде не очень его жаловала. . .

Ни отец, ни более сильная духом мать не смогли вынести этой потери, и в том же году последовали за дочерью на Введенские Горы. Было в те годы нечто поистине мистическое в уходе целых семей на протяжении коротких месяцев. Побывайте на российских кладбищах, присмотритесь к могилам тех, двадцатых годов, накануне третьей, са-

мой роковой и кровавой революции в России — так называемой коллективизации!..

И жених Толин, носитель традиций фон Мекков и Пальчинских, вскоре встретил невесту в нежданных кущах, ибо разделил судьбу всех больших российских инженеров: был расстрелян по одному из неоглашенных процессов. Так и развеялась бесследно еще одна молекула России — семья Брунс.

В те же примерно времена, за год до Толиной смерти, Роня Вальдек, частенько забегая в Басманный переулок, мимоходом наблюдал постепенные этапы сноса Красных ворот, бывших для всех Вальдеков неким эталоном благородной талантливой московской старины.

У самого Рони, его близких, да, верно, у всех чутких к роковой символике коренных москвичей именно снос Красных ворот — первое в условиях нэпа беспощадное жертвоприношение социалистическому молоху, первая большая архитектурная казнь в древней столице, — вызвала тревожное предчувствие худших надвигающихся потрясений. Будто вынесла чужая тайная воля смертный приговор всему, что составляло духовную сущность и духовную ценность российского народа. Будто и в самом деле уже начало сбываться мистическое пророчество о Грядущем и Торжествующем Хаме.

В доме Брунсов Рональду Вальдеку дали прочесть статью Мережковского, написанную перед войной, в неясном ощущении великих катаклизмов, грозящих религиозной основе русской души. По статье выходило, что писатель ожидал пришествие Хама на Святую Русь не извне и не снизу! Его, Торжествующего, Грядущего, должна была родить российская буржуазия. Та, что уже была так звучно проклята Блоком, кое в чем осмеяна, а в иных отношениях принята и ободрена Чеховым, выходящем из ее низов, поэтически романтизирована Гумилевым... Та, что так жадна была до чужой экзотики и так равнодушна к подлинным национальным сокровищам, этическим, эстетическим и потенциальным, сокрытым в неиспользованных талантах народа.

Пророчество оказалось, однако, ложным!

Правильно угадав приближение опасности для духовных основ нации, писатель ждал ее не с той стороны, откуда она и впрямь явилась. А масштабы реальной угрозы превзошли все предвидения поэтов и философов!

..Место казни, как водилось исстари, огородили дощатым забором. За ним сняли Ворота, лишь недавно красиво реставрированные. Их стали медленно опоясывать ярусами деревянных лесов. Они с каждым днем тянулись все ближе к трубящему Ангелу. Все москвичи заметили тогда, что золотая фигура Ангела будто выросла, сделалась крупнее и ближе. Поражала небывалая красота этой привычной окрыленной фигуры. Человеческого страдания в ней было больше, чем ангельского терпения! Обреченный Ангел выглядел живым в своем долгом единоборстве со взломщиками, и в прохаживаемом чувстве покорности соседствовало с желанием поспешить ему на помощь. Но помощи Ангелу не было ниоткуда, и, лишь свалив его на помост, палачи смогли приступить к рассечению и четвертованию самих Ворот, начиная с прочного арочного замка... Когда забор разобрали, на месте казни еще долго таяла уродливая груда развалин.

Как-то незаметно для молодого Вальдека, видимо, уже после Толиной смерти, исчезла, следом за Красными воротами, и соседняя с ними, выходившая абсидами на площадь, старинная церковь Трех Святителей. Но оба эти сноса, вопреки расчетам планировщиков, не только не расширили красноворотскую площадь, а, напротив, полностью ее уничтожили: вместе с обоими архитектурными «дирижерами» ансамбля площади исчезла и она сама, ставши неудобным и уродливым пере-

крестком. Еще лет через шесть по сталинскому приказу исчезла и Сухарева башня. Так был расчищен асфальто-автомобильный путь для Грядущего и Торжествующего здесь, на отрезке Садового кольца Москвы!

\* \* \*

Другой, тоже очень близкий Роне Вальдеку дом был еще с конца прошлого столетия хорошо знаком Москве ученой и Москве художественной. Находился он на Таганке, в приходе Мартына Исповедника, недалеко от фабрики купцов Алексеевых, родителей К. С. Станиславского, дружившего с Орловым-старшим, отцом Рониной одноклассницы Клеры. Именно Орлов-старший расширил фамильный особняк на Таганке, перестроив здание для своих ученых и меценатских нужд. Был он видным деятелем русской науки и богачом-коммерсантом, сродни одаренной плеяде Строгановых и Демидовых, а позднее — Морозовых, Мамонтовых, Прохоровых, Алексеевых, Бурьиных, Вахрамеевых, успевших встать на собственные ноги после 1861-го, но не сумевших удержаться на ногах после 1917-го.

Однако в личной судьбе Орлова-старшего интересы научные явно преобладали над коммерческими: он был крупным русским химиком, выдающимся нумизматом и отчасти археологом, одаренным музыкантом и щедрым, отзывчивым, живым меценатом. Именно нумизматическая коллекция Орлова поныне составляет ядро основного фонда одного крупного московского музея; на двух его «Страдивариусах» еще играют советские виртуозы-лауреаты, а дом на Таганке с мраморной лестницей и чугунным каслинским литьем перил и каминных решеток до сих пор исправно служит государственным нуждам в советской Москве.

Сразу после революции в этот дом тоже пришли люди в кожанках и для начала конфисковали оба «Страдивариуса» и все собрание старинных золотых монет. Чуть попозже был конфискован и весь дом, с мебелью и обстановкой, а семье Орловых — самому ученому, его жене и четырем детям — Владимиру, Николаю, Марии и Клеопатре — предложили поискать себе пристанище поскромнее. После хлопот со стороны ЦЕКУБУ семья оставили в собственном доме холодный чердачный мезонин. Там пришлось выгородить и утеплить несколько десятков метров под жилье. В этом утепленном и выгороженном от остального чердака мезонине с низким потолком под самой крышей и шаткими лестницами, чьи скрипучие ступени могли бы привести в умиление самого Сент-Экзюпери, продолжали до последних дней жизни свои ученые труды Орловы старшие и младшие — сам senior-химик и его старший наследник Владимир, ставший заслуженным деятелем науки, прославившийся замечательными сочинениями и закрывший очи в этом же фамильном мезонине, на некогда собственном чердаке. Владимир Орлов посвятил себя истории отечественной и мировой науки, труды его выходят в Риме, Париже и Лондоне. Мощный музыкальный дар отца он унаследовал тоже, но будучи замечательным пианистом, из скромности никогда не выступал публично. Профессиональным музыкантом сделался зато его младший брат, Николай Орлов, прослуживший всю недолгую жизнь в оркестре Большого театра в качестве скрипача-солиста. Две сестры Орловых, Мария и Клер, мирно соперничали друг с другом в женском обаянии, красоте и уме. Они совсем не походили друг на друга, но казались Роне непревзойденными образчиками русской женщины — породистой, ласковой и терпеливой. Всегда наполнявшая орловский мезонин молодежь, студенческая, артистическая, театральная, поляризовалась на обеих женских магнитах этого дома. Любители красоты более строгой и классической, греко-античной, тяготели, подобно Роне, к младшей, Клер, а поклонники красоты менее правильной, но более живой, веселой и острой, группировались вокруг старшей, Марии.

В следующем поколении Орловых, столь же счастливо одаренном, как и оба предыдущих колена, наследницей семейных традиций, центром и блюстительницей орловских лавров, пенатов и порядков сделалась «хранительница семейного огня», юная художница, ученый-искусствовед и гостеприимная хозяйка классического московского мезонина, дочь Владимира Орлова — Шурочка, затмившая собственную очаровательную мать, свою тетку и бабушек.

Вот в этом доме, в этой семье, где по-родственному гостил и академик Александр Сергеевич Орлов и куда в старину «без чинов» приходил Станиславский, верно, даже сам Александр Николаевич Островский мог бы немало почерпнуть для языка русской сцены!

Возможно, еще глубже тронула бы русского драматурга благоговейная преданность его памяти и заветам в семье Герки Мозжухина. Отчим Герки Мозжухина, профессор Никодим Платонович Кашинцев, был основоположником отечественной науки об Островском — драматурге, театральном деятеле, режиссере, критике, переводчике, актере.

Российская образованная публика, подчас излишне ослепленная блеском парижской комедии, миланской оперы, английской драматургии, далеко не вся и далеко не сразу постигла, чем обязана она перу и сердцу Александра Николаевича Островского. И уж вовсе далек от понимания был простонародный московский зритель при Островском, не читавший больших газет и журналов, но уже несколько приобщенный к театру. Этот-то пробел «самопонимания» у русских зрителей помогли восполнить труды профессора Кашинцева, его книги, лекции, статьи, выступления.

Рональд Вальдек проводил у Герки Мозжухина больше времени, чем дома, на Маросейке. Никодим Платонович неутомимо водил мальчиков по старой Москве, посвящал в тайны ветхих домов Замоскворечья, заставлял вслушиваться в пение нищих слепцов на храмовых папертях, в причитания московских плакальщиц. Роня и Герка участвовали в заседаниях общества «Старая Москва», чувствовали себя в Малом театре как дома и чуть не ежедневно могли, хотя бы вскользь, общаться со знаменитыми учеными, актерами, художниками, писателями, зодчими от Н. Андреева и Аполлинария Васнецова до Собинова и Ермоловой. Смерть этой великой артистки в 1926 году по силе вызванного ею в семье Кашинцевых-Мозжухиных горя сравнима разве что лишь с гибелью храма Христа Спасителя, расстрелом Гумилева, кончиной Есенина, сносом московских седин и подобными актами большевистского убийства России. Кажется, тогда и появился в западной печати термин «культурбольшевизм», как будто бы и не имевший отрицательного оттенка, однако от этого слова у русского холодела спина.

Был у Рони еще один дружок и собрат по школьному классу, сынок табачного фабриканта Осип Розенштамм. «Эллин во Иудее» — так звала его Ольга Юльевна, любившая этого мальчика.

Черт угадал и его, на беду, «родиться с умом и талантом в России». Оттого, что через сотню лет после этой горькой пушкинской фразы и на одиннадцатом году Синой жизни Россия сделалась советской, для самого Оси ничего не изменилось к лучшему. Едва ли не наоборот! Ибо он был евреем из московских двухпроцентников, стало быть, из состоятельных и упрямых людей.

Старая еврейская мама, интеллигентная, насмешливая и острая на язык, строго соблюдала установления иудейства и даже квартиру подыскала поближе к синагоге в Спасо-Глинищевском.

Весьма пожилой папа, инженер по профессии, сконструировал первые в России автоматы для изготовления папирос и стал совладельцем табачной фабрики. Однако несколько ранее, году в 1912-м, он неожиданным для всех образом провел несколько месяцев в Десятом павильоне Варшавской цитадели, то есть в политической тюрьме, за излишнюю

темпераментность в публичном изъятии антимонархических чувств на еврейском митинге в Варшаве. Попал он в камеру, где содержался большевик Феликс Дзержинский, поражавший даже бывалых узников смелостью и требовательностью к тюремному начальству. Правда, этому помогало дворянское звание, польский гонор и привычка повелевать. «Весьма порядочный и вполне приличный господин, к тому же понимает толк в нашем табачном деле» — так характеризовал Соломон Розенштамм Феликса Дзержинского по впечатлениям дореволюционным. После же революции, когда порядочный и вполне приличный господин Дзержинский, посадив половину акционеров фабрики, послал вторую половину на принудработы, Соломон Розенштамм, стоя по грудь в мокрой канаве, тяжело кряхтел, ворочал пудовой лопатой, почесывал вспотевшую под шапчонкой лысину и уныло приговаривал: «Нет, ну кто бы мог все это тогда подумать!»

Осина жизнь была предрешена неудачным выбором родителей-лишенцев. После школы, оконченной блестяще, все пути к образованию были ему закрыты по классовому признаку. Шутка сказать — сын фабриканта! Лучше бы и вовсе не родиться! А родился-то он с талантом живописца и графика. Талант был велик, сомнений в этом ни у кого не было. А толку-то?

Влюбленный в импрессионистов от Манэ до Уистлера, бредивший таитянками Гогена, Осип Розенштамм пошел чернорабочим на строительство Центрального телеграфа, а вечерами усердно посещал студию художника Рерберга на Мясницкой. Он быстро стал любимцем метра (это был брат известного архитектора Ивана Рерберга, строившего здание Центрального телеграфа и отнюдь не подозревавшего, что подносчиком раствора работает у него любимый ученик брата!). Осю стали называть лучшей надеждой всей студии. Его экзаменационное полотно «Фауст и Маргарита» было представлено в Строгановское. Там поразились свежестью красок, оригинальностью замысла и силой чувства, однако зачислить в студенты не отважились. Тогда автор картины впервые задумался о смерти. Месяца за три до того он похоронил отца и на обратном пути с Дорогомилковского кладбища говорил Рональду Вальдеку:

— Знаешь, у меня нет охоты возвращаться оттуда. Лежали бы там вместе, поджидая мать! Пора, пора и мне туда! Нечего тут делать!

Позже мысли эти окрепли, ибо «подошла неслышною походкой, посмотрела на него Любовь». В эту Любовь вложил он всю душу, израненную и разочарованную. Стал было оживать, да ведь любви-то не прикажешь! Девушка была своевольна и капризна. Звали ее Нонна. Быстрая, черноглазая и насмешница. Приласкала было и... скоро оттолкнула. Предпочла другого, попроще и покрепче.

Явилась поначалу Осипу Розенштамму решительная мысль наказать изменницу. Вдруг попросил Роню научить, как без промаха стрелять из револьвера. Ничего не подозревая, даже поощрительно отнесся к столь явному Осину возмужанию, Роня с готовностью отправился на чердак маросейского дома, укрепил мишень в слуховом окне и позволил Осе расстрелять весь барабан. Мишень, несмотря на все наставления, осталась девственно чистой. Досадуя, Роня в сердцах взял револьвер из нетвердой руки друга в ту злосчастную минуту, когда в слуховом окне показался соседский котенок. Он собирался спрыгнуть с крыши на чердак и заслонил мишень. Роня, уверенный, что барабан пуст, вскинул револьвер и спустил курок. Последним патроном, еще оказавшимся в барабане, котенок был поражен в голову и забился в предсмертных судорогах. Ося подошел к теплому зверьку, погладил осторожно окружавленную шерстку, уложил мертвого зверя на доске и сказал невольному убийце:

— Знаешь, наверное, это мне что-то вроде знамени. Теперь я

знаю, как мне поступить. Слава Богу, что я видел это непоправимое прегрешение. Подари мне эту штуку, я понял, как надо с ней обращаться, и не употреблю во зло другим! Можно, я унесу его с собой? Ведь ты легко достанешь себе другой, правда?

Под каким-то благовидным предлогом Роня не доверил другу оружия и взялся отвлечь Осю от его черных помыслов. Часами уговаривал увидеть жизнь по-новому, брал к себе в институт, пытаясь отвлечь лекциями Рачинского, Локса или Орлова. Переговорил с деканом и добился, чтобы Осю зачислили платным вольнослушателем, — надо было занять его живой ум чем-то новым и высоким.

28 сентября 1926 года Ося дождался Роню в коридоре, сел с ним на задней парте, в самом уголке. Потом вместе пошли домой — один на Маросейку, другой — в Спасо-Глинищевский переулок, совсем рядом.

Вечерняя неповская Москва косо улыбалась им на всем пути от Третьей Тверской-Ямской до самого дома. Шли принаряженной Тверской, Столешниковым переулком с угловым кафе «Сбитые сливки», мимо витрин Кузнецкого моста, а потом — Фуркасовским и Златоустинским переулками. Тогдашняя Москва завлекала вкуснотами, рысаками, девочками, доступными по цене, соблазнительными афишами, сговорчивыми дамами и юношами, а чуть в стороне от этого ежевечернего Рониного маршрута после лекций — манила еще и притонами, тайными курильнями и прочим сатанинским столичным соблазном, порождающим растраты и хипес. Но Осю все это уже не интересовало, скорее, напротив, терзало, утверждало в решении.

— Нечего мне здесь делать, — повторял он уже знакомые Роне слова. — Этот мир стал мне отвратителен. Я хочу прочь. Лучший мир есть только там, за Порогом сознания. Там есть Бог. А этот мир покинут Богом навсегда, на погибель. Здесь царит только Ложь... Отдай мне то, что обещал тогда, на чердаке!

— Я вернул его владельцу, Герке Мозжухину. Вместе со шкуркой того бедного кота. На этой шкурке он повесил портрет своей любимой. Он платонически обожает артистку Белевцеву из Малого театра.

— А та об этом знает?

— И не подозревает. Он хочет любить ее молча, тайно и бескорыстно. Поэтому не боится ни измен, ни лжи.

— Счастливец, коли сумел этого достичь. Тем не менее мне нужно оружие. Ты бы попробовал... выкупить его у Герки. Отец перед смертью подарил мне эти золотые часы. Может, он согласится на такой обмен?

— Твои часы он знает и сразу поймет, в чем дело.

— Так давай продадим часы и... помоги мне купить... нужную вещь.

— Я надеюсь, что ты опомнишься. Замысел твой слишком жесток. О матери подумай. На что ты ее оставляешь? Вторые похороны... спуста менее полугода!

— Знаю! Все продумал. Мог бы — протянул бы еще. Но уж не могу! Решил завтра кончить. Отступление себе отрезал. Написал Нонне, чтобы навещала мать. И не осуждала меня. Я иначе не могу! И если ты мне не поможешь, я брошусь под поезд, и ужас этой смерти останется на твоей совести. Завтра лягу на рельсы на станции Красково. Если есть у тебя сердце — бери часы и избавь меня от такой участи. Коли откажешь — помни: в полдесятого вечера меня задавит поездом. А вздумаете помешать или предашь — прокляну! И кинусь с крыши дома Нирензее.

Утром в среду 29 сентября телефонный звонок поднял Роню Вальдека из постели: Ося требовал ранней встречи. У ларька с сельтерской он напомнил другу, что уже через несколько часов Нонна получит «смертное» и может всполошить Осину мать. Поэтому он до вечера

скроется, надеясь, что Роня все-таки найдет в себе мужество и решимость избавить его от колесования... А для этого прежде всего надобно продать часы...

Вдвоем друзья изъездили пол-Москвы. В ломбарде у Сухаревки им предложили восемь рублей. Из неповских лавчонок их либо сразу гнали, либо цинично давали... на папироски. Почти отчаявшись и едва не угодив в милицию, они наконец смогли внушить некоторое доверие двум еврейским негодьям, владельцам небольшого магазина писчебумажных товаров на Мясницкой. Старший, тучный, настроенный более скептически, поначалу заявил, что часы не золотые, а липовые. Напротив, второй совладелец, маленький, худенький и веселый, пристально осмотрел Осин «Мозер» и шепнул толстому:

— Эхтес голд... Алзо: вифил гебен?

— Цванциг! — подсказал толстый, колеблясь.

С этими комментариями покупающая сторона небрежно пихнула часы в конторку, а оттуда выкинула две бумажки по червонцу.

— Гиб цурюк! — решительно потребовал Ося.

— Ист генуг! — настаивала покупающая сторона.

— Цурюк майне голдур! — свирепо прошипела сторона продающая.

— Нихт гедайге! («не унывай»), — засмеялся тонкий коммерсант и нехотя приоткрыл конторку. Вылетела оттуда пятирублевка.

— Драйдиг! — решительно потребовал Ося.

И когда конторка приоткрылась в третий раз и явилась на свет Божий еще одна пятирублевка, друзья поняли, что спор окончен. Ибо следы улыбки стерлись с физиономий покупающей стороны. Брошено было уже со злобой:

— Вег! Вег! Унд шnell! — С этим напутствием Ося и Роня удалились.

На улице друзья условились, что Роня, купив на эти деньги револьвер, встретится с Осей на Казанском вокзале, у пригородного семичасового поезда... Задняя площадка третьего вагона, от головы...

Роня наугад отправился на 8-м трамвае в Марьину Рошу.

Сошел он на незнакомой площади, когда кондукторша произнесла это старомосковское название, сохранившее в памяти столичных жителей имя давно умершей владелицы пригородной некогда деревеньки, роши и луга, исчезнувших уже в прошлом столетии... Нынешняя «Роша» шумела отнюдь не безрезками, а текстильными машинами — из многих десятков окон большого фабричного корпуса с водокачкой. Кроме чулочно-вязальной фабрики площадь ограничивали мрачноватые жилые дома и убогие магазины МСПО. Смутная надежда, что дурная слава Марьиной Роши оправдается и новичку сразу приоткроются некие таинственные вертепы с продажей всего запретного, угасала быстро, ибо у Рони не было ни «пароля», ни адреса, ни знакомца в этом краю. От Никодима Платоновича Кашинцева, Геркиного отчима, мальчики слыхивали, будто здесь легко обрести фальшивые документы, самодельные червонцы, а также «шпалеры и пушки» по сходной цене, но ничего конкретно наводящего, вероятно, не ведал и сам Никодим Платонович.

Неуверенно заглянул Роня в крошечную кустарную мастерскую «Чиню посуду, изготавливаю ключи». Мрачный грузин решительно не понял тонких Рониних намеков, а начав смутно догадываться, зачем явился посетитель, посоветовал ему убираться побыстрее, притом по самому популярному всероссийскому адресу! Вдобавок, по выходе из мастерской Роня столкнулся с милицейским. Тот, как показалось, излишне пристально поглядел Роне вслед.

Одолев еще несколько марьинорошинских кварталов за фабрикой, Роня испытал прилив надежды при виде вывески китайской прачечной (по слухам, именно в них-то функционировали тайные опиумокурильни). Широкое лицо владельца так и излучало, казалось, дух таинственного

аферизма. Однако склонности посекретничать не проявил и китаец. Он очень хитро сощурил узкие глаза и снабдил Роню примерно тем же напутствием, что и грузин. Из-за клубов пара стали видны двое помощников владельца, тоже китайцы, голорукие, потные и насмешливые...

А время шло к вечеру, к роковому пределу...

Близкий к отчаянию, искатель оружия позвонил из автомата Герке Мозжухину, встретился с ним в Еропкинском переулке. С его сбивчивых слов Герка полностью охватил умом всю ситуацию.

— Его уже не остановишь, — сказал Герка. — Он отрезал себе все пути. Остается только помочь... Тот, из которого ты стрелял на чердаке, чей?

— Однокурсника. Зовут Сергеем. Не продаст — самому нужен. Да и больно ненадежен.

— Ладно! Придется, видно, залезть в тайник!

Роня давно знал, что Геркин брат Александр, белый офицер, долго отстреливался с собственного чердака в октябрьские дни 17-го. Перед бегством зарыл именной браунинг и офицерский «Смит и Вессон» в укромном чердачном уголке, переделался в квартире своей возлюбленной и в штатском платье благополучно миновал красногвардейский пикет. Добрался, похоже, до Парижа... Тем временем Герка тайник отыскал, вычистил оружие и уже сам берег пистолет и револьвер брата. Он будто думал вслух, делясь соображениями с Роней:

— Браунингом рисковать нельзя — еще имя не стерто, да и номер именного может быть где-то зарегистрирован. Придется взять «Смит». Но тут вот какое осложнение: у него чуть коротковат патронник и приходится подпиливать патроны от браунинга. Калибр тот же, но надобно снимать напильником полтора миллиметра пулевой оболочки. Что-то вроде «дум-дум» получается... Для данного случая... в самый раз... Ну как, решено?

— Думаю, можно пожертвовать «Смитом». Он заряжен? Так давай!

Через полчаса Герка передал Роне небольшой тяжеловатый пакет.

— Пришлось наспех подпиливать еще три патрона. И знаешь, очень мне эту братнину штуку жаль! Оружием раскидываться нынче не след бы! Тем более таким заветным! Ведь, понимаешь, если выбрать вам стечко поглуше и у тебя хватит нервов... Впрочем, как знаешь, так и поступай, не маленький! Коли решишься... можешь считать тогда уж своим, а то ведь ты... безоружен пока...

Роня, до того часа еще и не пытавшийся представить себе реальную картину того, что должно было свершиться на станции Красково, вдруг осознал все до конца, будто увидел Осю лежащим на траве, рядом с выпавшим из рук револьвером. Значит, Герка намекает, что... этот револьвер можно поднять и... унести? А потом... считать уже своим?

— Я тебя понял, Герка. А если застукают? Заметят, схватят?

— Да, тогда — дело дрянь. Будет обвинение в убийстве. Письмо тут не доказательство, может, мол, оно было под принуждением... Уж смотри сам в оба, коли ввязался в эту затею. Кстати, когда у тебя лекции кончаются?

— Обычно в 22.15.

— Хорошо бы поспел хоть напоследок. Непременно запишись у дежурного. По дороге на вокзал забеги, отметься, оставь это пальтишко в гардеробе. Пусть висит весь вечер. А коли дежурный удивится, что на лекциях не видал, скажешь, бегал курить или в чужих группах слушал любимого профессора... Понял? Усвоил?

— Вполне!

— Ну, с Богом!.. Обними его от меня. Скажи, все там будем.

... С поезда они сошли на платформе Красково уже в густеющих сумерках. Моросил осенний дождик. Лезли вверх, на темный откос.

Шли тропами мимо опустелых дач. Не встретили ни живой души. В лесу их поглотила почти полная тьма. Ося знал этот лес — они с матерью прожили здесь на даче все лето. Теперь он искал знакомую полянку.

Путались в потемках недолго — полянка возникла вдруг из-за расступившихся елей. Над вершинами открылся овал высокого беззвездия.

Осин голос:

— Здесь! Пора! У тебя, Роня, будет интересная и непростая жизнь. Не то что моя недотыкомка! Обнимемся! И поклянись мне Богом, что ты выстрелишь мне в голову еще раз, для верности. Я себе . . . не очень доверяю! . . . Прощай, Роня! Не забудь кляту!

В смутном сумраке Осина рука поднялась к правому виску. Прощла вечность, прежде чем мигнула голубоватая вспышка, отдававшая в Рониных ушах слабым толчком. Ося мягко, бескостно опустился на мох.

Секундант нагнулся над упавшим. Уловил слабый, будто облегченный вздох. Зажег спичку. На полных, мягких Осиных губах чуть пузырилась розовая пена. Из полуоткрытых очей исчезло страдание. На лицо нисходил покой. Поразительно было это утешение смертью. Револьвер из руки выпал.

Рональд Вальдек поднял его и при догоравшей спичке исполнил клятву. Перекрестив тело, вышел к реке Пехорке, поднялся на насыпь, постоял минуту на железнодорожном мосту, прикидывая, не утопить ли улику. Но все было тихо, «Смит и Вессон» покоился в кармане брюк эталоном дружбы. Секундант решил сберечь его. На станции Томилино уцепился, уже на ходу дачного поезда, за поручни последнего вагона и быстро прошел вперед.

Часом с четвертью позже он уже слушал лекцию В. М. Лобанова о древнерусском искусстве, искоса поглядывая на страничку группового журнала, уже заполненную дежурной: было отмечено его присутствие на всех лекциях. В вестибюле отлучка его тоже осталась незамеченной: гардеробщики могли бы подтвердить, что владелец пальто на улицу в нем не выходил весь вечер!

После занятий, уже около одиннадцати, он встретился с Геркой Мозжухиным. Решили укрыть «Смит и Вессон» снова в прежнем тайнике, а неистраченные червонцы под каким-нибудь благовидным предлогом вернуть матери покойного.

\* \* \*

Тяжесть подозрений легла на девушку. Муровские шерлоки холмсы с поразительной точностью установили картину преступления! Оно, мол, произошло в половине десятого (на деле — в начале девятого), ибо некто слышал по соседству с дачным поселком три выстрела — два подряд, один — после паузы (в действительности оба выстрела были практически бесшумны: их поглотила сырость, мгла, деревья и сама земля). Оба попадания — безусловно смертельны, одно — в правый, другое — в левый висок. Стреляли двое, одновременно, с небольшого расстояния (оба выстрела были в упор). Цель убийства — по-видимому, ограбление, ибо при покойнике не оказалось золотых ручных часов фирмы «Мозер», каковые были на нем при выходе из дому. Участников преступления минимум было трое, одна из них — женщина. След ее туфли остался на кротовой норке у тела. Перед смертью Осип Розенштамм имел половую близость с женщиной, оставившей этот след, а бутылочка коньяка в кустах и какое-то количество его в желудке жертвы свидетельствуют, что ее пытались напоить перед концом. Письмо же, мол, ничего не доказывает — влюбленные и не таким грозят! Кстати, из-за ошибки в

адресе оно пришло подозрительно поздно, уже после похорон и начала следствия.

Свежую Осину могилу украсил пышный холм живых цветов и шелковых лент от товарищей. Эти цветы, венки и ленты почти полностью поглотили выреченные за часы деньги. На пути с кладбища кто-то сказал:

— Лег-таки Ося рядом с отцом в ожидании матери!

Та прожила еще несколько лет. Выводы следствия ее сместили!

— Ему кто-то пособил! — говорила она уверенно. — Кому-то было интересно посмотреть, как он примет смерть. Умереть он желал, эта жизнь ему опротивела. Но тот, кто исполнил его просьбу, пусть сам переживет то, что вынесла я! Пусть и он будет наказан в детях своих, этот нищезанятый эстет, этот лицемерный Осин друг и благодетель!

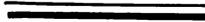
Следователь взял под подозрение всех Осиных товарищей, уделив особое внимание Нонне, а когда девушка смогла доказать свое алиби, счел целесообразным взять подписку о невыезде из Москвы у самых близких друзей Осипа Розенштамма, в том числе и у Рони Вальдека. Впоследствии об этой подписке, видимо, просто забыли, и «Дело об убийстве на станции Красково» пришлось прекратить, ничего не выявив и не раскрыв.

Однажды на прогулке вдоль Москвы-реки у храма Христа Спасителя Роня в приливе ненужной откровенности взял и покаялся близкому товарищу, впоследствии профессору психиатрии. Рассказал тому обо всех подробностях Осиногo самоубийства. Будущий психиатр и психолог, выслушав все, сказал:

— Знаешь, и у меня являлся соблазн как-то по-своему объяснить эту смерть и приписать себе некую роль в ней, заслугу, что ли, соучастия, во имя, так сказать, облегчения Осе его поступка... Будь твой рассказ правдив, я бы сказал: как же мало ты вынес из такого замечательного переживания! Кроме того, ты не совсем точно осведомлен обо всем: ведь следователи все же кое-что уточнили и установили... Словом, прости, не сердчай, но я... не верю ни одному твоему слову!

*Конец первой части*

29. VIII. 1976 г.



---

---

## ЗАРУБЕЖНАЯ ПРОЗА

---

---

### Антуан де Сент-Экзюпери ЦИТАДЕЛЬ

*Перевела с французского Марианна Кожевникова*

#### LVIII

Друг тот, кто не судит. Я уже говорил: открыв свою дверь бродяге на костыле и с палкой, друг поставит палку и костыль в угол и не попросит бродягу станцевать, чтобы убедиться, как плохо он танцует. Если бродяга заговорит о весне на дальних дорогах, друг порадует весне. А если тот расскажет о голоде в деревне, которую он проходил, друг разделит с ним огорчение. Я уже говорил, друг — эта та частица в человеке, которая отдана тебе, тебе открывают дверь, которую, может быть, больше не открывают никому. Он твой истинный друг, все, что он говорит тебе, чистая правда, он любит тебя, даже если в другом доме он ненавидит тебя. В храме мне друг каждый, кого я, благодаря Господу, встречаю и задеваю рукавом, кто поворачивает ко мне лицо, освещенное светом нашего Господа, здесь мы одно, хотя, выйдя из храма, он — лавочник, а я — капитан, он — садовник, а я — матрос. Я встретил его, поднявшись над тем, что нас разделяет, и стал ему другом. Я могу возле него стоять молча, не боясь, что он отправится бродить по садам в моей душе, по моим горам, крепостям и пустыням. Ты — мне друг, ты дождешься посланцев моего внутреннего царства и обойдешься с ними бережно. Ты примешь их, усадишь и выслушаешь. И обоим нам хорошо. А я? Разве видел кто-нибудь, чтобы я плохо обошелся с посольством или не принял его только потому, что вдали, в тысяче дней пути от меня, едят то, что мне не нравится, и обычаи их отличны от моих? Дружба — это всегда перемирие, это душевное согласие, отрешившееся от пошлых распрь повседневности. Гость за моим столом всегда безупречен.

Знай, что гостеприимство, обходительность и дружеское участие — это присутствие человеческого в человеке. Каково мне будет в храме, если Господь станет разбирать верующих по росту и дородству, как почувствую себя в доме друга, если он, заметив мои костыли, попросит станцевать, чтобы высказать свое мнение?

В мире достаточно судей. Помогать тебе меняться и закалять тебя будут враги. Это их дело, они с ним прекрасно справятся, бури неплохо помогают кедру. А друг создан для того, чтобы тебя принять. Знай и о Господе. Он не судит тебя, когда ты пришел к Нему в храм, Он тебя принял.

#### LIX

Если ты хочешь подружить тех, кто привык к вечному дележу и счетам, а значит, и к взаимной неприязни, — ты ведь помнишь: брось им зерно и узнаешь, как они ненавидят, — то постарайся вернуть им чув-

ство уважения, невозможно дышать среди тех, кто осуждает друг друга. Если ты плохо думаешь о друге и говоришь это, значит, видишься с ним не в храме, где собираются только друзья и единомышленники. Говоря тебе все это, я вовсе не поощряю тебя к снисходительности, малодушию или неустойчивости в добродетели. Просто дружба — это не жестокость. В другое время ты будешь судьей. Когда понадобится, ты без колебаний отрубишь голову. Напоминаю, ты приговариваешь к смерти, но ты же и лечишь обреченного, если он болен. Не страшись этих противоречий, недостаточен наш язык, когда речь идет о человеке. Противоречат друг другу слова, которыми мы изъясняем суть. В осужденном есть тот, кого ты отдал палачу, но есть в нем и другой, кого ты сажаешь с собой за стол и не имеешь права судить. Тебе заповедано судить человека, но заповедано также и почитать его. Обычно судят одного, почитают другого — неправильно: одного и того же судят и почитают. Таков один из законов моего царства, от несовершенства слов он так труден для понимания. Несовместимости, смущающие логиков, не смущают меня. Ненавистный враг, с которым я сражаюсь в пустыне, лучше всех помогает мне утвердиться в себе. Грозен наш поединок, но и это любовь.

## LX

Я размышляю о тщеславии. Тщеславие всегда казалось мне не пороком, а болезнью. Вот женщина, которую заботит мнение толпы: на людях у нее меняется походка, голос, неизъяснимое удовольствие доставляют ей похвалы и комплименты, щеки у нее розовеют, если кто-то на нее взглянул, — уверяю вас, она не дурочка, она просто больна. Ведь обычно радости от других людей приходят к нам через любовь. Но для нее ни одно блаженство не сравнится с радостью удовлетворенного тщеславия, и ему она жертвует любыми другими удовольствиями.

Скудная, жалкая радость сродни калечеству. Сродни чесотке: кожа зудит, и ее с наслаждением расчесывают. Нежность и ласка совсем другое, они — кров, они — надежность убежища. Я ласкаю малыша, и он знает, что он под защитой. Мой поцелуй на бархатистой щеке — знак, что его оберегают.

Тщеславная женщина наслаждается пародией чувств.

Жизнь скудеет в тщеславном. Если хочешь только получать, что заставит тебя тянуться вверх, перерастая самого себя? Тщеславный стоит на месте, он ссыхается.

Но когда от моей похвалы краснеет и волнуется, как мальчишка, отважный воин, я не считаю, что в нем заговорило тщеславие.

Что волнует одного? Что трогает другую? В чем их отличие?

Тщеславная, когда она засыпает. . .

Нет, ей не понять цветка, который дарит ветру свое семечко, чтобы оно никогда к нему не вернулось.

Не понять дерева, которое отдает плоды и ничего не получает взамен.

Не понять человека, который счастлив трудиться безвозмездно.

Не понять стараний танцовщицы: она станцевала танец и осталась ни с чем.

Не понять воина, рискующего жизнью. Он перекинул мост над пропастью, я восхищаюсь им и говорю: «Жертвенность — самое человеческое в человеке». И он горд, но не за себя — за человека.

Тщеславные все превращают в пародию. Нет, я не ратую за скромников, мне по нраву жизнестойкость и устойчивость гордецов. Скромник пасует перед ветром, как флюгер. Любой в его глазах значительнее, чем он сам.

Я хочу, чтобы животворило вас отданное, а не полученное, ибо вы вышались — отдавая. Я не имею в виду отданного из пренебрежения. Каждый должен вырастить свой плод. Гордость печется о его стойкости. Без гордости плод по воле ветра будет менять вкус, цвет, запах.

Чем одарит тебя твой плод? Возможностью отдавать безвозмездно.

Красавица возлежит на роскошном ложе и собирает дань восхищения толпы: «Я одаряю красотой, изяществом, величавой поступью, жизнь моя волей жребия прекрасный храм, мужчины молятся на меня. Я есть, и это мое дарение».

У тщеславия и дары подложные. Одарить можно только тем, что сам пересотворил. Дерево дарит плод, плод — преображенная земля. Танец — преображенное умение ходить. Кровь воина преобразуется в храм и царство.

Но с каких пор даром стала течка? Конечно, кобели сбежались и все вокруг возбуждены. Но разве что-то преобразилось? Свои радости она украдала у природы. Не прилагая усилий, расходует она на кобелей.

А как наслаждается тщеславица чужой завистью! Как ей лестны завистники!

А вот еще одна пародия на одаривание — хвалебная речь на торжестве. Гость встал, и кажется — дерево, отягощенное плодами, протянуло окружающим свои ветки. Но что сорвешь с них? Однако всегда найдется глупец, который верит, что сорвал с ветки плод, он польщен умом говорящего. Раз нашелся благодетельствованный, как усомниться, что ты благодетель? Две бесплодные смоковницы кланяются друг другу.

Отсутствие гордости, вечная оглядка на большинство, постыдное недоверие к собственным силам — вот источник тщеславия. Толпа необходима тебе как воздух, она убеждает тебя в твоей полноценности.

Король одарил улыбкой подданного. «Видите, король меня знает», — говорит тщеславный. Преданный королю молча зардеется от радости. «Король согласен, чтобы я отдал за него жизнь», — вот что прочитал преданный в королевской улыбке. И словно бы уже отдал свою жизнь королю и облекся королевским величием. «И я служу величию моего короля, — мог бы подумать он, — король велик гордостью за него поданных».

Но тщеславный завидует королю. Король улыбнулся ему, и, нацепив его улыбку, как орден, он разгуливает теперь пародией на короля, чтобы позавидовали и ему. Король одел его на полчаса в свой пурпур. А под пурпуром — ужимки и душа обезьяны.

## LXI

Торговцы озабочены судьбой товаров, и для нас товары стали главной ценностью. Мы уверились: нет большей радости, чем покупки. Да и откуда нам быть иными, если потрачено столько усилий, чтобы укрепить нашу привязанность к вещам?

Да, конечно, любая вещь, если жертвовать для нее собой без остатка, обретет величие. Например, драгоценный камень, если трудишься над ним, высвобождая свет. Камень способен стать твоей религией. Я знал куртизанку, за нетленный жемчуг она платила бранным телом. Я не презираю религии камня. Но недостойно кадить себе вещами. По правде сказать, в нас нет ничего, что было бы достойно каждения.

Но вот я протянул малышу игрушку, он забился в угол, боясь, как бы я ее не отнял. Здесь другое — малыш обрел божество и готов стоять за него, не щадя себя.

## LXII

Я размышлял о безусловности власти. Мне жаль, что неосязаема пирамида, вершина которой — Бог, а основание — люди. Но возьмем короля и предположим, что власть его и впрямь безусловна, что власть его для тебя неоспоримая данность, вроде пути из залы совета в гостиную в замке моего отца: к нему ведет вот эта лестница, а не другая, вот эта дверь, а не соседняя, и тебе незачем изыскивать другой путь, коль скоро существует этот. Ты следуешь установленным путем свободно, ты подчинен ему не из трусости, низости или искательства, и точно так же без трусости, низости и искательства ты служишь своему государю, когда власть его безусловна, а не обязана воле случая. Но если ты кажешься себе первым в царстве после государя, а для государя власть не исконная данность, а случайность политической интриги, спорный результат частных мнений или успех хитрости — ты будешь ему завидовать. Завидуют только тому, на чьем месте возможно оказаться. Негр не завидует белой коже. Человек не завидует птице смертельной завистью, которая жаждет уничтожить для того, чтобы воспользоваться самому. Пойми, я осуждаю не честолюбие, честолюбие тоже желание созидать. Я осуждаю зависть. От зависти рождаются только интриги, а интриги — гибель для творчества, которое, в первую очередь, чудо совместной работы всех с помощью каждого. Сперва ты судишь своего безусловного государя, потом ты его презираешь. Ты знаешь, что он выше тебя, потому что у него больше власти, но отказываешь ему в справедливости, уме, благородстве сердца. Ты презираешь его, и его уважение к твоим трудам для тебя не награда. Уважение тех, кого мы презираем, оскорбительно нам. И вот твое положение становится для тебя невыносимым.

Приказы временщика унижают тебя, но ведь он и хочет тебя унижить, у него нет иного средства дать почувствовать весомость своей власти. Быть с тобой на равных, делить хлеб, расспрашивать, восхищаться твоими познаниями и достоинствами может только тот, кто стоит у власти так же естественно, как стоит крепость. Крепость стоит себе и стоит, чем тут наслаждаться, чему радоваться?

Вот я пришел и сел за стол последнего из своих слуг. Он вытер стол, поставил на огонь чугунок, он счастлив моему приходу. Разве камень фундамента упрекает замковый камень за то, что тот держит свод? Разве ключ свода презирает фундамент? Я и мой слуга, мы сидим друг напротив друга как равные. Только такое равенство я признаю исполненным смысла. И если я расспрашиваю его о пахоте, то не из низкого желанья польстить ему и расположить к себе — мне не нужны избиратели, — я спрашиваю, потому что хочу поучиться. Когда спрашивают и не выслушивают ответа, ощутимо презрение. И ответивший нащупывает в кармане нож. Но мне важно знать, сколько маслин приносит оливковое дерево, я внимательно выслушиваю ответ.

Я пришел в гости просто к человеку. И этот человек принимает меня как гостя. Мой приход для него подарок, его правнуки будут знать, на каком из стульев я сидел.

Моя власть безусловна, поступки мои не диктуются низкой корыстью, я способен чувствовать свойственную людям благодарность. Вот мне улыбнулись, поздоровались, вот жарят для меня барашка, я — гость, он — хозяин, и, кроме других разных чувств, мы испытываем друг к другу просто человеческое тепло. Дары гостеприимства, будто

стрелы, вонзаются в мое сердце. Вот и Господь слышит твою самую короткую молитву, самую мимолетную мысль: нищий вздохнул о Нем в раскаленной пустыне. Но если в гостях у тебя мелкий князек с сомнительными правами на власть, дары твои должны быть велики и обильны, по изобилию даров судит он о собственной значимости.

Незнакомец крутит скрипучий ворот, с усилием вытянул ведро на каменный край колодца и засмеялся маленькой своей победе, он идет под жарким солнцем в тень, в тени возде стены стою я, он наливает мне свежей воды, и сердце мое освежается любовью.

## LXIII

На примере куртизанки объясню я то, что хочу сказать о любви. Материальные блага ты счел самоценными и ошибся. Пейзаж, открывшийся тебе с вершины горы, ты создал усилиями, затраченными на подъем, вот и любовь питается затраченными усилиями. Нет ничего, что обладало бы ценностью само по себе,— нити, связующие дробность в единое целое, придают отдельной вещи и цену, и смысл. Носа, уха, подбородка, второго уха мало, чтобы мрамор сделался лицом, необходима игра мускулов, связующая их воедино. Кулак, который держит. Звезды, число девять, родник еще не стихи, но они появились, когда я завязал все одним узелком, заставив девять звезд купаться в роднике. Я не спорю, связующие нити выявляются благодаря тем предметам, которые они между собой связали. Но не вещи главное. В ловушке для лисиц главное не веревка, не палка, не защелка — творческое усилие, которое соединило их, и вот ты слышишь твяканье пойманной лисицы. Я — поэт, ваятель, танцовщик, я сумею поймать тебя в свою ловушку.

То же творчество — и любовь. Чего ждут от куртизанки? Телесного отдыха после боевых трудов, которыми завоеван оазис. Ты не нужен ей, с ней тебя словно бы и нет. Любовь пробуждает спящего в тебе ангела и, преисполнившись благодарности, ты готов лететь на помощь любимой.

Разница не в доступности: раскрой объятия, и любимая прильнет к тебе. Разница в даримом. Невозможно одарить куртизанку, все, что ни принесешь ей, она сочтет заслуженной мздой.

Но если существует мзда, ты прикидываешь, по карману она тебе или нет. Так расставлены фигуры в танце, который танцуются с куртизанками. Солдаты с тощими кошельками в сумерках разбрелись по веселому кварталу, они торгуются и покупают любовь, как хлеб. И, как хлеб, покупная любовь дает им силы шагать по пустыне дальше, умирив тело и сделав радостным одиночество. Но, покупая любовь, они примерили фартук лавочника, они не почувствовали, что означает усердие.

Надо быть богаче короля, чтобы куртизанка поняла, что ее одарили,— но даже если подарить ей полмира, она поблагодарит себя, похвалит за удачливость и возгордится красотой и хитростью, благодаря которым ты так раскошелился. В этот бездонный колодец ты можешь спустить золото тысяч и тысяч караванов и все-таки ничего не подарить. Нет того, кто принял бы от тебя дары.

Вот почему мои солдаты поглаживают вечерами и чешут за ухом маленького лисенка. Что-то похощее на любовь сжимает им сердце, когда им кажется, что они одарили дикого зверька теплом, они хмелеют от благодарности, если лисенок нечаянно к ним прижмется.

Но в каком из веселых кварталов куртизанка прижмется к тебе, потому что ты ей нужен?

Случается, однако, что кто-то из моих солдат, не богаче и не беднее

прочих, тратит свои деньги не глядя, словно дерево, отдающее семена ветру, он — солдат, он презирает деньги.

Он заходит в один притон, в другой, ослепляя всех фейерверком своей щедрости. Он похож на сеятеля, спешащего насытить семенами жадно ждущую землю.

Мой солдат расстается со своим богатством и не хочет ничего сохранить для себя, он единственный понял, что такое любовь. И в ответ, может быть, проснется любовь и в куртизанках, потому что сейчас танцуется другой танец, и этот танец в радость и им.

Повторяю: принимать и брать не одно и то же, ты рискуешь всегда пребывать в заблуждении, если не поймешь разницы. Принимается подарок, а подарок всегда дар самого себя. Скуп не тот, кто пожалел денег на подарок, скуп тот, кто не расцвел и в ответ на твои дары. Скупа земля, если не оделась цветами, забрав у тебя семена.

А свет? Он вспыхивает иной раз и в куртизанке, и в пьяном солдате.

## LXIV

Растратчиками — вот кем стали жители моего царства. Никто в нем больше не пестует человека. Одухотворенное лицо в нем уже не маска, оно — крышка пустой коробки.

Только и знали они, что разорять Сущее, и они его разорили. Я смотрю и не вижу среди них ни одного достойного смерти. А значит, и жизни. Потому что живешь тем, за что готов умереть. Но они насыщались, потребляя созданное, они развлекались грохотом камней, разрушая храмы. Храмов нет, но нет им и замены. Своими руками эти люди уничтожили все пути самовыражения человека. И уничтожили человека.

Ища радость, они ошиблись и сбились с дороги. В прежние времена говорили: «деревня», и возникало ощущение прочности быта, устой, неизменности обрядов. Устоями поддерживалось усердие деревни. Но они пришли и все перемешали. Их не радовала неторопливо нажитая, устоявшаяся целостность взаимопроникающих связей, им хотелось найти готовый припас, который был бы всегда под рукой и служил безотказно, как чужое стихотворение. Тщетная надежда.

Многие, желая величия человеку, хотят для него свободы. Они видят: принуждения сковывают возможности человека. Так оно и есть. Враг помогает тебе сформироваться и вместе с тем ограничивает тебя. Но не будь у тебя врагов, ты не родишься.

Часто верят, что радует готовое. Что можно просто-напросто наслаждаться весной. Но нет сладости у весны, если ты не преобразился в растение, чтобы насладиться ею. Нет сладости у любви, если ждешь, что тебя одарит ею красивое лицо. Чужое произведение может растрогать тебя своей мукой, но песня галерников о лишениях и разлуке запомнится тебе, только если ты сам мучительно расставался, если умолимая судьба казалась тебе галерой.

Тот, кто без тени надежды на успех выгребал к рассвету, поймет песню галерника; тот, кто изнемогал от жажды в пустыне, поймет песню о лишениях и разлуке. Но если ты ничего не выстрадал, ты пуст, и дать тебе что-то невозможно.

Нет, деревня не стихотворение, которым ты можешь безмятежно наслаждаться, восторгаясь горячей похлебкой на ужин, благорасположением людей, мирным запахом молока в хлеву и праздничным фейерверком на площади. Откуда взяться в тебе празднику, если он не завершил череду каждодневных тягот? Если он не напоминает тебе, как после долгих лет рабства наступила свобода, после долгих лет ненависти — любовь, если он не память о спасительном чуде, осветившем мрак

безнадежности? Все вокруг для тебя молчит, и счастья у тебя не больше, чем у коровы. Но если ты сживешься с деревенской жизнью, то мало-помалу поймешь, что же такое деревня,— и это будет значить, что шаг за шагом ты поднялся на свою гору. Значит, я лепил тебя своими обрядами и обычаями, твоими лишениями и обязанностями, неизбежными вспышками гнева и раскаяния, и ты сменил привычное тебе на иное,— в тот давний вечер ты восторгался призраком деревни, теперь ты узнал ее подлинную мелодию, ты учил ее долго-долго и так не хотел учиться вначале, но теперь она тебя не покинет, так запомни: нелегко становиться человеком.

Но если ты пришел в деревню и все, чем она живет, для тебя — игра и забава,— ты ограбил ее; кто относится всерьез к забавам? И от деревни ничего не останется. Ни тебе, ни ее жителям...

## LXV

— И мне нужен порядок,— говорил отец,— но не ценой упрощения и скудости. Я не экономлю на времени. Узнав, что люди сделались толще, занимаясь амбарами вместо храмов и водосточными трубами вместо скрипок, я не обрадуюсь. Самодовольное скопидомство, даже если оно лучится счастьем, достойно только презрения. Какой человек процветает — вот что меня заботит. Мне по душе человек, который не пожалует времени на долгое омовение тишиной храма, на созерцание Млечного Пути, человек, который делает себя просторнее и упражняет сердце в любви безответной молитвой (если ответить, ты становишься только жаднее), тот, кто чуток к поэзии,— о таком человеке я забочусь.

Если не строить храмов и кораблей, снаряженных в неведомое, если не корпеть над стихами, которые разбередят человеку душу, конечно, сбережется немало времени, но стоит ли тратить его на утучнение человечества — не лучше ли на облагораживание? И вот я возвожу храмы и кропотливо отделяваю стихи.

Сколько времени уходит на похороны! Сколько сил тратится на копанье могилы! А онигодились бы на пахоту, на жатву... Я запрещаю сжигать покойников. Мы ничего не выиграем, если станем меньше чтить мертвых. Кладбище — лучшая память об ушедших, медленно идут люди между могил, отыскивая своих близких, усопший для них — корень в земле, сама земля. Но они знают: от ушедшего что-то осталось, подобие святых мошей, пясть руки, которая когда-то ласкала, череп — опустевшая сокровищница, но как вспомнишь, сколько в ней было сокровищ! Когда-то я приказал строить дома для усопших — да, это дорого, да, бесполезно — но зато в них собирались по праздникам и чувствовали не умом, а вьяве, что живые и мертвые живут вместе, что они — единое дерево, которое тянется вверх. Если поколение за поколением учить наизусть те же стихи, восхищаться тем же кораблем и украшать ту же колоннаду, человек улучшится и облагородится. Глядя из близи, как смотрят близорукие, человек быстротечен, но никак не изнашивается тень, отброшенная его светом, никак не умолкнет эхо. Не погребая усопших, не трудясь над надгробиями, я сберегаю время и хочу потратить его на укрепление связи между поколениями: пусть жизнь, словно дерево, тянется через них прямо к солнцу, рост вверх кажется мне достойнее роста вширь, и вот, хорошенько все обдумав, я трачу сэкономленное время на погребения и труды над надгробиями.

— Да, я чту порядок,— говорил отец,— порядок жизни. Упорядочено дерево, хотя живут в нем разом и корни, и ствол, и ветви, и плоды, и листья; упорядочен человек, хотя живет он и умом, и сердцем, и никак не заставишь его только пахать землю или только совершенство-

ваться, нет, он копает землю и молится, любит и выстаивает перед соблазном любви, работает и бездельничает, и вслушивается в мелодию вечера.

Но отдельные мои сограждане прознали, что могучие и победоносные державы славились порядком. А простодушные логики, историки и толкователи убедили их, что порядок и есть отец славы. Но я говорю вам: и порядок, и слава — плод совместного усердия. Чтобы все упорядочилось, нужна картина, которую любили бы все. А для этих порядок самоценен, они обсуждают его, совершенствуют и в конце концов приходят к упрощению и скудости. Людей просто-напросто лишают всего, что не поддается выражению в словах. Но сущностное всегда невыразимо, и ни один профессор не мог мне объяснить, почему я так люблю ветер, дующий в пустыне при свете звезд. Они сосредоточились на обыденном, потому что его легко уместить в слове. Кто обзовет тебя обманщиком, если ты скажешь, что три мешка овса лучше, чем один? Но мне кажется, я дам людям что-то лучше овса, если приведу к источнику, который расширит душу, если отправлю в путь по пустыне при свете звезд.

Порядок — это форма, которую принимает жизнь, но никак не причина жизни. Соразмерность стихов — свидетельство их завершенности. Но не с соразмерности начинаются стихи, она приходит, если ты как следует помучился. Однако любители порядка говорят ученикам: «Вглядитесь, это — великое произведение, и как идеально оно упорядочено. Заботьтесь прежде всего об упорядоченности, она — залог величия». Послушавшись их, вы создадите мертвый скелет или мумию для музея.

Я возвращаю любовь к царству, и благодаря ей все упорядочивается, на своем месте оказываются землелашец, пастух, жнец, и над ними зиждитель, оплодотворяющий их любовью. Так укладываются в ряд камни, когда ты понуждаешь их служить славе Господа. Их порядок рожден любовью зодчего.

Ты споткнулся о слова. Служи жизни, и все упорядочится. Служить порядку — значит сеять смерть. Порядок ради порядка — это уродование жизни.

## LXVI

Я задумался о красоте вещей. В этой деревне красиво расписывали миски, в соседней — некрасиво. И понял: нет средства, с помощью которого все миски расписывались бы красиво. Затраты на ремесленные школы, конкурсы, почетные дипломы не в помощь красоте. Больше того, можно трудиться день и ночь напролет, но если тебя занимает не роспись миски, а что-то еще, она получится вычурной, грубой и вульгарной. Ведь сна тебя лишала не миска, а жадность, тщеславие, честолюбие. Ты занят собой, ты не служишь Господу, который дал тебе возможность пожертвовать собой, самозабвенно претворяясь в вещь. Он дал ее тебе вместо алтаря, и она вместила бы все: твои морщины, тяжкий вздох, покрасневшие веки, дрожащие, утомленные вечной работой руки, блаженство вечернего отдыха и твое усердие. Благодатна только молитва, а молитва — это самозабвенное дарение себя, чтобы наконец сбиться. Ты же птица, она вьет гнездо, и в нем тепло; ты же пчела, она собирает мед, и он сладок; ты же человек, он лепит вазу, любя только вазу, только любя, а значит, молитвенно. Ты влюблялся в стихи, написанные ради денег? В стихах ради денег не бывает поэзии. В вазе для конкурса нет благоговения перед Господом. В ней есть твое тщеславие, корысть и притязания невысокого полета.

## LXVII

И вот все они пришли ко мне, поглупев от неопровержимости своих доказательств, средств и целей. Но я знаю: слово только обозначает, оно не в силах выразить, и любая речь дает представление лишь об образе мыслей, и только. Потому и бессмысленно возражать ей или ее поддерживать. Я посмеялся над ними.

— Твой генерал, он не прислушался к моим советам, — сказал один, — а все вышло так, как я говорил.

Да, конечно, бывает, что ветер слов и им принесет картинку, до которой снизойдет будущее и уподобится ей, но на следующий день тот же ветер принесет другую картинку, потому что каждый может сказать и говорит все, что угодно. И если генерал, который продумал, как ему расположить свое войско, взвесил шансы, прощупал обстановку, послушал, как спит его враг, и прикинул, каково будет пробуждение, если вдруг этот генерал меняет все свои планы, перемещает капитанов, разворачивает войска и импровизирует сражение только потому, что праздный прохожий пять минут обдувал его ветром слов и они повисли в воздухе изящной цепочкой доводов, — я лишаю такого генерала погон, сажаю в карцер и не даю себе труда его кормить.

Мне по нраву другой воитель, он приходит ко мне, засучивая рукава, как пекарь, и говорит:

— Я чувствую: надави покрепче на наших, что стоят в ложбинке, и они дадут деру. Чтобы воодушевить их, нужны победные фанфары слов, они чувствительны на ухо. Я смотрел, как они спят, и сон их мне не понравился. Теперь они проснулись и завтракают...

Я люблю танцоров, которые понимают толк в танцах, они хорошо танцуют. Танец — вот она, истина. Чтобы соблазнить, нужно сблизиться. И чтобы убить, тоже нужно сблизиться. Ты скрестил клинок с клинком, сталь танцует напротив стали. Ты видел когда-нибудь, чтобы человек сражался и размышлял? Где в бою время на размышление? А ваятель? Погляди, его руки мнут, топчут глину, и большой палец поправляет вмятину от указательного. Где время на размышления, на поверхностные несогласия? Да, конечно, поверхностные, потому что только слова обозначают и разделяют, на словах и существуют противоречия. А в жизни? Нет, она не простая и не сложная, не понятная, не загадочная, не противоречивая, не целостная. Она есть, и все. Язык упорядочивает ее, усложняет, проясняет, затемняет, разнообразит, объединяет. И если один выпад ты делаешь влево, а другой вправо, то не стоит выводить заключение, что существует две истины, — она одна: истина встречи. И только танец сближает нас с жизнью.

Те, кто понадеялся в жизни на разум, а не на богатство сердца, и продумывает, как разумнее всего действовать, никогда не примется за дело: на его разумное решение предложат еще более разумное, он поразмыслит и найдет третье, еще умнее. Веские доводы одного адвоката, еще более веские другого — нет этому конца. Очевидна только вчерашняя истина, да и истинного в ней только то, что нечто стало данностью. И если ты хочешь разумно объяснить, чем это творение замечательно, ты объяснишь. Потому что заранее знаешь, что тебе придется объяснять. Но творчество не работает с готовым, оно по другой епархии. Бухгалтер, даже если ты дашь ему камни, не построит храма.

Но вот мои разумные инженеры обдумывают каждый свой шаг, словно ход в шахматах. И я готов согласиться, что в конце концов они выберут правильно. (Хотя сомневаюсь: шахматные задачи одномерны — проблемы жизни не решить взвешиванием. Вот, например, тщеславный скупец, скупость спорит в нем с тщеславием, и какой расчет, какое взвешивание определит, что возьмет верх?) Но предполо-

жим, что они вычислили самый верный шаг. Но они забыли, что имеют дело с жизнью. В шахматной партии противник дожидается, пока ты снизойдешь и сделаешь свой ход. Все происходит вне времени, которое только и питает дерево, торопя его расти. Но время не в помощь шахматам. Только жизнь органично связана со временем, она развивается, она растет, как растет живое существо, а не как механическое сцепление причин и следствий, — хотя задним числом ты сможешь показать своим ученикам и эти причины, и эти следствия, удивив их стройностью. Причины и следствия лишь знаки совсем иной силы — силы всепреодолевающего творчества. В жизни противник не ждет. Он делает двадцать ходов, пока ты размышляешь над своим. И твой ход окажется страшной нелепостью. А чего, собственно, ему ждать? Ты видел, чтобы ждал танцор? Он танцует в паре и таким образом ведет партнера. Те, кто действуют, положившись на разум, всегда опаздывают. Поэтому я приглашаю править моим царством тех, в чьих руках кипит работа, и видно, что их руки вымесят хлеб.

Работник будет работать и работать, а логик под давлением жизни будет менять и менять свою логику.

## LXVIII

Ошеломило меня и еще одно открытие — счастье ровно ничего не значит для человека, равно как и корысть. Единственное, в чем он всерьез заинтересован, — это в том, чтобы неустанно жить. Если он богат — обогащаться, если моряк — плавать на корабле, если грабитель — сторожить в засаде при свете звезд. Но если счастье — это беззаботность и безопасность, то я видел не однажды, как легко от него отказывались. Мой отец озаботился судьбой проституток в том смрадном квартале, что, словно отбросы, сползал по откосу к морю. Они протухали в нем, как сало, и заражали гниением путешественников. Он отправил отряд солдат за проститутками — так отправляют экспедицию за редкостными насекомыми, желая изучить их нравы. И вот отряд не спеша шагает меж отсыревших стен прогнившего квартала. Он видит: за окнами жалких лачуг, жирно пахнувших прогорклой стряпней, сидят под лампами, которые им вместо вывесок, оплывшие женщины, бледные, как тусклый фонарь под дождем, их красные, как кровь, губы на тупых коровьих лицах сложены в мертвую улыбку — девушки ждут клиентов. По обычаю, чтобы привлечь внимание прохожих, они тянут заунывную песню, — бесформенные медузы распространяют вокруг себя слизь.

Обезнадлежающая жалоба оплетает улочку. Мужчина поддался ей, за ним захлопнулась дверь на полчаса, и в горькой скудости совершается обряд любви, заунывная мелодия сменяется учащенным дыханием мертвенно-бледного чудовища и каменным молчанием солдата, который купил у призрака право больше не думать о любви. Он пришел вытравить цвет у мучительных снов, потому что родился, возможно, среди пальм и улыбающихся девушек. Понемногу в дальнем странствии густая зелень пальм отяготила его сердце невыносимой тяжестью. Мучительно зазвенело серебро ручья, и улыбчивые девушки с гибкими, грациозными телами, с угадываемыми под легкой тканью нежными теплыми грудями все большее и большее касались сердца. Он принес свое жалкое жалованье в веселый квартал, прося избавить его от снов. И когда дверь открылась вновь, он твердо стоял на земле, самодостаточный, жесткий, высокомерный, он погасил свет, в лучах которого играло и переливалось единственное его сокровище.

Посланный отряд вернулся, отъединив несколько полипов, ослепив

их стальным блеском собственной неуязвимости. Отец показал мне на бледные растения.

— Благодаря им, — сказал он, — ты узнаешь, что правит всеми нами.

Он приказал их одеть в новые платья, поселил каждую в чистеньком домике с журчащим ручьем у порога и приказал плести для него кружева. Платил он им вдвое против того, что они могли бы когда-нибудь заработать. Следить за ними он не велел.

— Жалкая болотная цвель теперь счастлива, — сказал он. — Если счастье в чистоте, покое и обеспеченности...

Но одна за другой они сбежали и вернулись в свою клоаку.

— Им нужна была нищета, — сказал мне отец. — Не потому, что они глупы и предпочитают нищету благополучию, а потому, что важнее всего для человека напряжение сил и жизни. Уютный дом, кружева и свежие фрукты показались им каникулами, забавной игрой и бездельем. Все это не казалось им настоящей жизнью, и они тосковали. Долгие годы нужно жить на свету, в чистоте и плести кружева, чтобы все это перестало быть радующим глаз зрелищем, а стало обязанностью, необходимостью, которые выручают тебя и поддерживают. Они получили, но ничего не отдали. И поэтому стали сожалеть о тяжелых часах ожидания — не оттого, что они горьки, а вопреки их горечи, — часах, когда они сидели и смотрели на черный прямоугольник двери, в котором время от времени появлялся ночной гость, жесткий и полный ненависти. С тоской вспоминали они, как перехватывало у них дыхание, будто от глотка отравы, если солдат, прежде чем войти, смотрел тяжелым взглядом, словно собираясь вести на бойню, и щупал глазами грудь... Ведь бывало и так: какой-нибудь из гостей протыкал какую-нибудь из хозяек кинжалом, словно бурдюк, чтобы не орала, когда он, отодвинув кирпич или черепицу, заберет весь ее капитал — несколько серебряных монет.

Они тосковали по своей грязной трущобе, где жили своим мирком, пили чай, если кому-то приходило в голову прикрыть веселый квартал, подсчитывали барыши, ругались и гадали друг другу по грязным ладоням. И, быть может, нагадывали уютный, увитый цветами домик, где жили те, что почище их. В построенных мечтами домиках они и жили такими, какими видели себя в мечтах. Но ведь не меняют же нас путешествия. Вот я поселил тебя в замке, а ты поселил в нем свои огорчения, недовольства, мании, ты идешь по нему, прихрамывая, если ты хром, потому что нет заклинания, которое вмиг бы тебя переменило. Мало-помалу, при помощи принуждений и страданий, я заставляю тебя переродиться, чтобы ты наконец сбылся. Но с чего перерождаешься той, что проснулась вдруг в чистоте и уюте, — она зевает, и, хотя ей не грозят больше трепки, слышав стук в дверь, невольно стягивает голову в плечи, и, если продолжают стучать, невольно надеется на что-то, — невольно, потому что знает: ночь больше не пошлет ей гостей. Она не устает больше от гнусностей ночи, но и не рада свободе утра. Судьбе ее можно теперь позавидовать, но она лишилась ежевечерней игры судьбы, она переселилась в будущее и живет жизнью, какой никогда не жила. Она не знает, как ей справиться с внезапными вспышками гнева, они достались ей от той мрачной, нечистой жизни и мучают, как мучает животных, которые долго прожили возле моря, страха перед приливом, хотя теперь они живут на равнине. Гнев возвращается, но нет несправедливой судьбы, против которой так хочется кричать и жаловаться в голос, — они похожи на мать, потерявшую ребенка, — прибывает молоко, но оно никому не нужно.

— Человек ищет напряжения сил и жизни, а вовсе не счастья, — повторил отец.

## LXIX

Мне опять говорят: время нужно экономить. «Для чего?» — спросил я. И мне ответили: «Чтобы его хватало и на культуру». Можно подумать, что культура — какое-то особое занятие. Хорошо, возьмем, к примеру, мать семейства, она кормит детей, убирает дом, штопает белье, и вот ее избавили от ее обязанностей, без нее накормлены дети, вымыт дом, заштопано белье. У нее освободилось время, его надо чем-то заполнить. Я даю ей послушать песню о детях, полную поэзии взращивания их и выкармливания, поэму домашнего очага, воспевающую значимость дома. Но она зевает, слушая ее, — все это уже не ее дело. Я ничего не скажу тебе словом «гора», если ты путешествовал только в паланкине, если не обдирали руки о шипы на склоне, если из-под ног у тебя не катились камни, если ветер на вершине не дул тебе в лицо. Ничего не говорит ей и слово «дом», если дом никогда не требовал от нее ни времени, ни усердия. Если не танцевали пылинки в солнечном луче, когда поутру она распахивала дверь, выметая из дома прах вчерашнего. Если никогда она не была королевой, вновь и вновь призывающей к порядку жизнь, — жизнь, которая вновь и вновь одним своим присутствием нарушает все порядки, оставляя на столе грязные миски, в очаге потухшие угли и в углу мокрые пеленки уснувшего малыша, потому что жизнь скудна и полна чудес. Если она никогда не вставала на заре, сама, без всяких будильников, чтобы вернуть своему дому первозданную новизну, — так поутру охорашивается птица на ветке, приглаживая клювом перышки; если никогда не возвращала вещам хрупкое совершенство порядка, чтобы новому дню было что нарушать своими обедами и завтраками, играми детей, возвращением с работы мужа, сменяя этот порядок, словно воск. Если она не знает, что дом поутру — податливое тесто, а вечером — книга, полная воспоминаний. Если никогда не готовила белоснежной страницы. Что ты ей скажешь словом «дом», когда нет в нем для нее никакого смысла?

Если ты хочешь видеть в женщине свет жизни, попроси ее отчистить до блеска потускневший медный кувшин, и что-то от его блеска заискрится в сумерках. Если ты хочешь, чтобы женская душа стала молитвой и поэзией, ты придумаешь мало-помалу для нее дом, который нужно обновлять на заре...

А иначе?.. Да, ты высвободишь время, но какой в нем прок?

Только безумец делит: вот это культура, а вот это работа. Человечек тогда возненавидит работу — мертвый груз своей жизни, игру, где ничего не поставлено на кон и не на что надеяться. Игруют не в кости — в стада, пастбища, в собственное золото. Ребенок играет в песок, но перед ним не комочки грязи, а крепость, гора или корабль.

Конечно, знаю и я, какое наслаждение для человека отдых. Я видел, как дремлет под пальмами поэт. Видел, как воин пьет чай с кургизанками. Видел, как теплым вечером сидит на пороге своего дома плотник. И конечно, все они счастливы. Но повторяю: им было от чего устать, они отдыхали от людей. Воин слушал пение и смотрел на танцы. Поэт, валяясь на траве, мечтал. Плотник дышал свежим воздухом. К себе они шли не сейчас. Существом их жизни была работа. Возьмем, к примеру, зодчего; вот у него возник замысел, он загорелся им, но значим зодчий только тогда, когда руководит постройкой храма, а не тогда, когда играет с приятелями в кости. И это будет правдой для каждого. Если ты экономишь время на работе — я не имею в виду отдых, расслабленные руки, дремлющий после напряжения мозг, — ты получаешь мертвое время. Если ты разрываешь жизнь на две, несовместимые друг с другом жизни: на работу и на досуг, работа становится ярмом, для которого жаль души, а досуг — пустотой небытия.

Только безумцы могут хотеть, чтобы чеканка перестала быть религией чеканщика и стала его ремеслом, не требующим души; только безумцы могут считать, что искусно сделанный чужими руками кувшин способен облагородить человека, — культура не плащ, ею невозможно одеться. Не существует фабрики, которая изготовляла бы культуру.

И я — я настаиваю: для чеканщиков существует единственная культура — культура самих чеканщиков, и состоит она в их каждодневных трудах, горестях, радостях, страданиях, опасениях, взлетах и тяготах их работы.

Для истинной поэзии плодотворна только та часть твоей жизни, которой ты принадлежишь целиком, которая для тебя и голод, и жажда, и хлеб для твоих детей; и она же твое воздаяние, ты можешь получить его, а можешь и не получить. Иначе ты только играешь в жизнь, и культура твоя — только пародия.

Сбываешься только тогда, когда преодолеваешь сопротивление. Но если ты на отдыхе, если ничего от тебя не требуется, если ты мирно дремлешь под деревом или в объятиях доступной любви, если нет несправедливостей, которые тебя мучают, нет опасности, которая угрожает, — что тебе остается, как не выдумать для себя работу, чтобы ощутить, что ты все-таки существуешь?

Но не ошибись, игра мало чего стоит, она вне принуждения необходимостью, и в любой миг ты можешь перестать играть. Я запрещаю считать, что одно и то же: лежать днем в своей, пусть пустой, пусть темной — ради отдыха глаз — комнате и лежать в темной камере, куда тебя заточили навечно, хотя поза та же и так же пусто вокруг и темно. И пусть даже свободный вообразил себя узником. Навести одного и другого на закате первого дня. Свободный в восторге от необычной игры, узник поседел. Узник не в силах рассказать, что пережил, у него нет подходящих слов, он похож на путника, тот преодолел перевал и оказался в неведомом для себя мире, все для него изменилось, изменился и он сам, но какими словами расскажешь о перемене?

Только дети втыкают в песок ветку, обращаются к ней «ваше величество» и всерьез благоговейно перед своей королевой. Но если я, желая обогатить любовью и облагородить людей, затеваю такую же игру, мне придется сделать из своей ветки божка, заставить всех поклоняться ему и приносить тяжкие жертвы.

Жертва уже не игра, и ветка принесет плоды: в человеке зазвенит любовь или страх. И если добровольный узник узнает, что ему и впрямь до конца своих дней не покинуть своей полутемной комнаты, он переживет такое, о чем и не подозревал, и от неожиданных видений у него побелеют волосы.

Работа вживляет тебя в мир. Пахарю мешают камни на поле, глядя в небо, он ждет дождя или, напротив, машет на дождь рукой, он в общении, он распространился, он познает. Ни одно из его движений не остается без ответа. Всякая религия тоже общение, она предугадывает праведный путь, один верен ему, другой ловчит, один узнает, что такое душевный покой, другой — что такое раскаяние. Желая видеть людей такими вот, а не иными, выстроил свой замок мой отец, и каждый шаг в нем вел тебя к определенной цели. Отец не любил бессмысленного топтанья скотины в хлеве.

## LXX

Да, она была прекрасна, эта танцовщица, которую наконец схватила стража моего царства. Она была прекрасна, и никто не знал, откуда она. Мне казалось, если доведаться, где она живет, в моем царстве откроются неведомые доселе земли, пространные равнины, темные ущелья, тропы в пустыне, открытые всем ветрам.

«И у нее есть дом», — говорил я. Но видно было, что она нездешняя и живет среди нас как посланница моих врагов. Мои слуги попытались сломить ее молчание, но ее прекрасное открытое лицо затуманилось лишь печальной улыбкой.

Прежде всего я чту в человеке то, что неподвластно огню. Оболочка человека, ты пьяна от тщеславия, ты — само тщеславие, когда смотришь на себя с такой любовью, будто в тебе и впрямь кто-то есть. Но палач поднес поближе к тебе горящие угли, и нутро твое растопилось и потекло из глотки. Дородный министр, неприятный мне своим высокомерием и составивший против меня заговор, не устоял перед угрозой пытки. Мокрый от пота, он выдал мне всех заговорщиков, он исповедался, признавшись во всех своих верованиях, тайных пристрастиях и любовных связях, он вывернулся передо мной наизнанку — те, кто носит картонные доспехи, не таит про себя ничего. После того как он оплевал и отрекся от своих союзников, я спросил у него:

— Как ты устроен? Для чего важно выставляешь вперед живот, гордо закидываешь голову, складываешь губы в высокомерную улыбку? Для чего тебе доспехи, если внутри тебя нечего защищать? Человеку свойственно таить в себе нечто большее, чем он сам. Как самое драгоценное упасаешь ты свои дряблые тела, гнилые зубы и толстый живот, продав мне то, чему верил и чему они должны были послужить. Ты — бурдюк, урчащий ветром дурацких слов...

Когда палач ломал ему кости, на него было противно смотреть и еще более отвратительно слушать.

Но танцовщица, которой я угрожал, склонилась передо мной в плавном поклоне:

— Я сожалею, государь...

Я смотрел на нее, не говоря ни слова, и ей стало жутко. Побледнев, она присела еще более плавно:

— Я сожалею, государь...

Она думала, какие страшные ее ждут муки.

— Ты же знаешь, — сказал я ей, — твоя жизнь в моей власти.

— Я чту вашу власть, государь...

Тайна, которую она хранила, и готовность умереть за нее исполнили ее необычайной значимостью.

Она казалась мне дарохранительницей с чудесным бриллиантом внутри. Но я должен был исполнить свой долг перед царством.

— Твои поступки заслуживают смерти.

— Увы, государь... — она стала еще бледнее, будто призналась мне в любви... — Это будет справедливо...

Я знаю людей и понял невысказанное: «Справедливым, наверно, будет не моя смерть, а сохранность моей тайны...»

— Ты таишь про себя то, что дороже тебе юности, прекрасного тела, сияющих глаз, — продолжал я. — Ты веришь, что сохраняешь в себе что-то, но не будет ничего, когда ты умрешь.

Она смешалась, но только потому, что не нашла слов для ответа.

— Может, вы и правы, государь...

Я чувствовал, моя правота существует для нее только в царстве слов, где она не умеет защититься.

— Итак, ты покоряешься.

— Покоряюсь, государь. Простите, но я не умею говорить...

Я ни во что не ставлю тех, кого сбивают с ног доводы. Слова призваны выражать тебя, но никак не руководить тобой. Они могут обозначить, но сами по себе пусты. Моя танцовщица была не из тех, кого распаивает ветер слов.

— Я не умею говорить, государь, и покоряюсь...

Я чту тех, кто среди разноречивых потоков слов остается неизменным, как мидель-шпангоут, кто в обезумевшем море неколебимо сле-

дует за своей звездой. По звезде определяю я и его путь. Любители логики на поводу у собственных слов, они ходят по кругу, как цепная передача.

Долго и пристально смотрел я на нее.

— Кто выковал тебя? Ты откуда? — спросил я.

Она улыбнулась и не ответила.

— Станцуй.

И она начала танцевать.

Необычаен был ее танец, но я и не ждал иного, ибо она хранила в себе большее, чем она сама.

Ты смотрел на реку с вершины горы? Вот ей встретилась скала, не в силах перепрыгнуть через нее, река ее огибает, извивается по равнине, следуя понижениям почвы, медлит в излучинах, потому что мал перепад и ослабла сила, влекущая ее к морю. Вот задремала, разлившись озером, и вновь торопливо устремилась вперед, разрезав равнину, будто клинок.

И танцовщица считалась с силовыми линиями, и это мне больше всего понравилось, она останавливалась здесь, вольно летела там. Только что улыбалась, а теперь с трудом сохраняет улыбку, будто язычок пламени перед налетевшим ветром, то скользит с легкостью, будто по невидимому склону, и вдруг замедлила шаг, словно через силу карабкаясь вверх. Мне понравилось, с какой внезапностью она замерла, будто перед стеной. И как радовалась преодолению. И то, что смерть оборвала ее танец. Мне понравилось, что она торила собственный путь среди гор и равнин, а они ей противились, что были в ней помыслы благие и грешные. Что вглядывалась она в дозволенное и недозволенное. Что она сопротивлялась, соглашалась, отказывалась. Мне не понравилось бы, если бы она, плавно кружась, текла во все стороны, словно желе. Мне нужен стержень и крепкий ствол живого дерева, оно не свободно, занимаемое им пространство предопределено особенностями семечка.

Танец — судьба, танец — жизненный путь. Я хочу понять, каков ты и к чему стремишься, только на такие танцы я смотрю с интересом. Поток преградил тебе путь, тебе нужно на другую сторону, ты танцуешь перед потоком. Ты догоняешь любимую, соперник встал на дороге, и опять ты танцуешь. Танцуют клинки, если ты решил его убить. Танцуют паруса, если задумал опередить его и причалить раньше в том порту, куда он направился, — паруса танцуют, ловя невидимые повороты ветра.

Для танца необходим противник, но какой противник достоин тебя танцем клинка, если ты — пустое место?

Но вот танцовщица прижала ладони к вискам, и сердце мое защемило болью. Я увидел в ней маску. Нет, не маску поддельного сопереживания, которую нацепляет на себя оседлый, — это не маска, это крышка пустой коробки. Ты — пустое место, если ничего в себя не впустил. Я увидел в ней древнюю маску, хранильницу наследия многих поколений. Увидел прочность семечка, которое устоит и перед палачом, — нет жернова, который выжал бы из него масло тайны. Оно — залог, и во имя его идут на смерть, благодаря ему умеют танцевать. Упражняй душу молитвой, музыкой или поэзией, строишь себя и становишься человеком. Светло и ясно смотрит на тебя обитаемый человек. И если снять слепок с его лица, маска покажет его внутреннее царство. Ты поймешь, что для него главное и как он станцует против своего врага. Но что знать о танцовщице, если она — необитаемая пустошь? Оседлые не танцуют. Зато в краях, где земля скудна, где плуг тупится о камни, где знойное лето иссушает ниву, где человек противостоит вар-

варству, где варварски уничтожают слабых, рождаются танцы, потому что значим твой каждый шаг. Танец — это борьба в ночи с ангелом. Танец — и война, и соращение, и убийство, и раскаяние. Но каких танцев дождешься от раскормленной скотины в хлеве?

## LXXI

Я запрещаю торговцам расхваливать свой товар. Слишком быстро они становятся учителями и научают видеть в средстве цель. Они сбивают нас с дороги, мы сбились и покатались вниз. Если торговцам нужно сбыть с рук пошлятину, они постараются опошлить тебе душу. Кто спорит: хорошо, что делаются вещи, которые служат человеку. Но нехорошо, если человек становится мусорницей для вещей.

## LXXII

Мой отец говорил:

— Созидать — вот главное. Если в тебе мощь созидателя, не работай устроителем. Сто тысяч помощников будут служить созданному тобой и питаться им, словно черви мясом. Зачиная религию, не пекись о догмах. Сто тысяч толкователей позаботятся, чтобы они были. Созидать — значит создавать жизнеспособное, в творчестве нет формул. Если однажды вечером я причалил к городскому кварталу, что сполз к морю, как нечистоты, то вовсе не для того, чтобы рыть там канавы, устраивать поля орошения и дорожную службу. Я принес любовь к выскобленному порогу, и эта любовь породит мойщиков тротуаров, службу полиции и мусорщиков. Не выдумывай вселенной, где по твоему распоряжению работа будет не отуплять человека, а возвышать его, где культуру будет наработывать труд, а не досуги. Не иди против законов тяготения. Измени тяжесть вещей. Воздействуй, как воздействует поэзия, руки ваятеля или музыка. Выводи как можно отчетливее мелодию благородного труда, насыщающего жизнь смыслом, заглушая пение досугов, которые видят в работе тяжкий долг, которые делят жизнь на безрадостный рабский труд и пустое безделье, — пой и пой и не заботься о логике, доводах и специальных указах. Вот увидишь, непременно найдутся толкователи и начнут объяснять, почему хороши твои песни и как нужно браться за дело. Они выберут этот вот путь и сумеют доказать, что он единственный. Значит, возник перепад, значит, потечет вода, а река установит свой порядок, и правда твоя восторжествует.

Главное — изменить уровень почвы, направление, устремление к... В перепадах сила приливов и отливов, мало-помалу без помощи всякой логики подтачивают они скалы и расширяют морскую империю. Повторяю тебе: если в картине есть мощь, она воплотится. Не пытайся начать с расчетов, свода законов и всяческих нововведений. Не придумывай, каким будет будущий город, город, который будет, не сможет на него походить. Внуши любовь к башням, вздымающимся над песком. И рабы рабов твоих зодчих лучше тебя разберутся, как доставить камни. Ведь и вода своим неуклонным стремлением к морю находит способ обмануть бдительность копани.

— Потому и не может быть зримым созидание, — говорил мне отец, — незрима и любовь, объединяющая дробность мира в царство. Борьбись с созиданием так же нелепо, как пытаться его показать. От невиданного ты заслонишься удивлением, и на все, что бы тебе ни показали, будешь предлагать другое, еще лучшее. Но скажи, как показать царство? Если, рассказывая, ты начнешь дотрагиваться до каждой вещи, то перед тобой окажется груда вещей. Представь, ты рас-

сказываешь о тишине в полумраке храма и при этом разбираешь храм по камешку — что подтвердит твоя куча камней? Она так далека от тишины.

Но вот я беру тебя за руку, и мы идем с тобой вместе. Дорогу нам преграждает гора, и мы взбираемся на нее. Мы усаживаемся на вершине, я говорю с тобой, и мой голос кажется тебе голосом твоих собственных мыслей. Гора, которую я выбрал, расположила все именно так, а не иначе. Отвлеченный образ превратился в картину. Она реальна. Ты сам ее часть. С чем тебе спорить? Если я поселил тебя в доме, ты живешь в нем и судишь обо всем с точки зрения домовладельца. Если я оставил тебя наедине с красавицей, жаждущей любви, ты влюбишься в нее. Разве сможешь ты не влюбиться только потому, что мой произвол вынудил тебя встретить ее здесь и сейчас, а не в другое время и в другом месте? Самое важное — чтобы ты был где-то. И созидаю я только тем, что выбрал день и час без обсуждений, и вот они существуют. Тебе смешно такой произвол. Но слышал ли ты когда-нибудь, что влюбленный перестал любить, рассудив, что встреча — это чистая случайность, что женщина, которая томит ему душу, могла бы уже умереть, или еще не родиться, или жить неведомо где? Выбрав час и место, я создал в тебе любовь; знаешь ты или нет о моем участии — что изменит твое знание? Оно не защитит тебя — и вот ты у меня в плену.

Если я хочу видеть тебя горцем, шагающим ночь напролет к звездной вершине, я создаю картину, и для тебя становится очевидным, что только молочный свет горних звезд утолит твою жажду. Я для тебя буду только случайностью, высветившей твою собственную внутреннюю необходимость, вроде стихов, которые берегут твои чувства. Знаешь ты или нет о моем участии — что это меняет? Почему твое знание должно помешать тебе пуститься в путь? Может ли быть, что, толкнув дверь и увидев впотьмах сияние бриллианта, ты не пленился им только потому, что дверь открылась случайно и могла привести тебя совсем в другую комнату?

Если я уложил тебя в постель с помощью снотворного, то и сон, и снотворное подлинны. Сотворить, создать — значит поместить человека туда, где мир явится ему как желанное, и совсем не значит предложить ему новый мир.

Если я не сдвинул тебя с места и хочу показать тебе новую, придуманную мной Вселенную, ты ничего не увидишь. И будешь прав. С твоей точки зрения, моя выдумка — ложь, и ты справедливо защищаешь свою истину. Я ничего не добьюсь красноречием, блеском остроумия, парадоксами, потому что речь красна и остроумие сверкает, когда на них смотрят со стороны. Ты в восхищении от меня, но я ничего не создал, я — жонглер, фокусник, мнимый поэт.

Но если я иду по дороге, которая не праведна и не лжива, а просто есть, то как можно отрицать ее? И если я привожу тебя этой дорогой туда, откуда тебе открывается новая истина, ты не видишь, что сотворил эту истину я, не замечаешь ни моего красноречия, ни блеска остроумия, ни парадоксов, просто мы шли с тобой шаг за шагом; и можно ли в чем-то упрекнуть меня, если от распахнувшейся шири у тебя захолонуло сердце, если эта женщина и впрямь сделалась красивее, а равнина просторнее. Я господствую, но мое господство не оставляет следов, отпечатков, знаков, ты не видишь их, против чего тебе протестовать? Только так я воистину творец, воистину поэт. Поэт и творец ничего не выдумывают, ничего не показывают, они вынуждают быть.

Суть творчества в преодолении противоречий. Свет, тьма, гармония, дисгармония, простота, сложность — все внутри человека. Все это — есть, есть — все, все. И когда ты хочешь с этим «все» справиться при помощи своих неуклюжих слов и заранее продумать свои действия, то,

за что бы ты ни схватился, все оказывается сплошными противоречиями. Но вот прихожу я, обладающий властью, и не собираюсь ничего тебе объяснять при помощи слов, потому что твои противоречия и впрямь неразрешимы. Я не собираюсь упрекать язык в лживости, он совсем не лжив, он просто неудобен. Я собираюсь позвать тебя на прогулку, и шаг за шагом мы придем с тобой и усядемся на вершине; оглядевшись, ты не увидишь своих противоречий, и я оставлю тебя постигать твою новую истину.

## LXXIII

Смерть показалась мне сладкой.

— Дай мне, Господи, покой хлева,— взмолился я,— порядок среди вещей и собранную жатву. Дай мне побыть, не требуй от меня становления. Я устал хоронить свое сердце. Я слишком стар, чтобы опять и опять растить молодые ветки. Одного за другим потерял я друзей, врагов, и печальный свет пустоты засветил мне на дороге. Я ушел, вернулся и вижу: люди толпятся вокруг золотого тельца, не так уж они и корыстны, просто глупы. И дети, что родились сегодня, дальше от меня, чем не знающие о Боге варвары на заре веков. Во мне тяжесть сокровища, но оно бесполезно, как музыка, которой никому не слышно.

Я начал трудиться с топором дровосека в руках и хмелел от пения деревьев. Думаю, если бы я нуждался в беспристрастии, я затворился бы в башне. Но я подошел к людям слишком близко и устал. Яви мне Себя, Господи, все неумоги, когда отдаляешься от Тебя.

После упоения торжеством мне приснился сон.

Да, тогда я был победителем и вошел в город. Осенняя цветением знамен толпа запрудила улицы, славя меня гимнами и восторженными криками. Цветы устилали путь нашей славы. Но Господь послал мне одно только чувство — горечь. Я чувствовал себя пленником немощной толпы.

Толпа — плоть твоей славы, но как ты в ней одинок! Все, что льнет к тебе, не может с тобой соединиться, близость приходит лишь на дороге к Господу. В том, кто уповает вместе со мной, обрел я себе близкого. Мы — зерна одного колоса, ссыпанные в один мешок, и предназначены для испечения хлеба. Обожанием толпа иссушила меня, как пустыню. Мне не за что чтить ее, она заблуждается, я не нахожу в себе того, кого можно было бы обожать. Я не чувствую чужого чувства о себе, я тягочусь собой и устал волочить себя за собой повсюду, я хочу избавиться от себя, чтобы наконец слиться с Господом. Они курят мне фимиами, наполняя меня тоской и печалью, я чувствую себя пустым колодцем, к которому, ощущая жажду, приник мой народ. Мне нечем утолить ее, но и они, уповая на меня, не могут мне дать и капли воды.

Я ищу того, кто похож на окно, распахнутое на море. Зачем мне зеркало с собственным отражением? Оно переполняет меня тоской.

В этой толпе только мертвые, которых оставила суетность, кажутся мне достойными.

И когда говор толпы отдалился, как ничтожный шум, в который незачем вслушиваться, мне привиделся сон.

Скользкая отвесная гора вздымалась над морем. Гром грянул, будто треснул бурдюк, и растеклась тьма. Я упрямо карабкался к Господу, чтобы спросить Его о смысле всех вещей, чтобы понять, куда поведет путь преobraжений, который так действительно Он вменил мне.

Но на вершине горы я увидел лишь большой черный камень — это и был Господь.

«Это Он,— сказал я себе,— неизменный и вечный». Сказал, потому что не хотел оставаться в одиночестве.

— Господи, научи меня,— взмолился я.— Мои друзья, сотоварищи, слуги — всего лишь говорящие марионетки. Я держу их в руке и передвигаю по своей воле. Но не их послушливость мучительна для меня — я рад, если моя мудрость становится их достоянием. Мучает меня то, что они сделались моим отражением, и теперь я одинок, словно прокаженный. Я смеюсь, и они смеются. Я молчу, и они затихают. Моими словами, каждое из которых мне знакомо, говорят они, будто деревья шумом ветра. Только я наполняю их. Нет для меня благотельного обмена, в ответ я всегда слышу лишь собственный голос, он возвращается ко мне леденящим эхом пустого храма. Почему их любовь повергает меня в ужас, чего мне ждать от любви, которая множит лишь меня самого?

Мокрый, блестящий гранит каменно молчал.

— Господи,— молил я,— в Твоей воле молчать. Но мне так нужен знак от Тебя. На соседней ветке сидит ворон, сделай так, чтобы он улетел, когда я кончу молиться. Он будет взмахом ресниц другого, чем я, и я больше не буду одинок в этом мире. Темный, неясный, но пусть у нас будет с Тобой разговор. Поддай мне знак, что мне все дано будет понять со временем, я не прошу большего.

Я перевел глаза на ворона. Он сидел неподвижно. Я упал ниц перед камнем.

— Господи,— сказал я,— Ты прав во всем. Не Твоему всемогуществу соблюдать мои жалкие условности. Если бы ворон улетел, мне стало бы еще горше. Такой знак я мог бы получить от равного, словно бы опять от самого себя, он был бы опять отражением,— отражением моего желания. Я опять бы повстречался со своим одиночеством.

Я поднялся с колен и пустился в обратный путь.

И случилось так, что темнота отчаяния сменилась безмятежно ясным покоем. Я увязал в грязи, обдирая руки о колючки, перевозмогал бешеные порывы ветра и нес в себе ясный, безмятежный свет. Я ничего не узнал, но и не хотел ничего узнать, любое знание было бы тягостно мне и не нужно. Я не коснулся Господа, но Бог, Который позволяет дотронуться до Себя, уже не Бог. Не Бог Он, если слушается твоей молитвы. Впервые я понял, что значимость молитвы в безответности, что эту беседу не исказить уродством торгашества. Что упражнение в молитве есть упражнение во внутренней тишине. Что любовь начинается там, где ничего не ждут взамен. Любовь — это упражнение в молитвенном состоянии души, а молитвенное состояние души — укрепление во внутреннем покое.

Я вернулся к моему народу и впервые обнял его молчанием моей любви, понуждая своим молчанием приносить мне дары всю их жизнь. Опьяняя тишиной сомкнутых губ. Я стал для них пастухом, дарохранильницей песнопений, хранилищем судеб, хозяином добра и жизни и был беднее всех и смиренней в своей гордыне, которой больше не позволял сгибаться. Я знал, что не мне брать у них. Во мне они должны были сбыться, и душа их должна была зазвучать в моем молчании. С моей помощью все мы вместе становились молитвой, которую рождало молчание Господа.

## LXXIV

Ибо я видел, как мяли они свою глину. Приходили жены, трогали их за плечо: наступил час обеда. Но они отсылали жен обратно к горшкам, не в силах оторваться от глины. Наступала ночь, и ты видел: при тусклом свете керосиновой лампы они ищут для своей глины фор-

мы — какой? Они не сумели бы сказать. Охваченные усердием, люди не выпускают из рук своего дела, они срослись с ним, как яблоня с яблоком. Они — ствол, наливающий его соком. Они не оставят его, пока оно само, словно зрелый плод, не отпадет от них. И когда они трудятся не щадя сил, разве думают они о деньгах, славе или будущей судьбе их творения? Работая, они работают не на купца и не на самого себя, они работают на глиняный кувшин, на изгиб его ручки. Не спя ночей, они вынашивают его форму, и мало-помалу она наполняет радостью их сердце, как наполняет женщину радость материнства по мере того, как тело ее заполняется младенцем и он мягко толкается в нем.

Но если я собираю вас всех вместе, чтобы вы лепили огромный кувшин, который, по моему замыслу, должен быть в сердце каждого города хранилищем священной тишины, то этот кувшин, обретая форму, должен вбирать что-то от каждого из вас для того, чтобы вы его любили, и тогда он будет для вас благом. Хорошо будет, если я соберу вас всех вместе строить морской фрегат, вы сладите ему стройный корпус, палубы, мачты, и наконец в день, прекрасный, словно день свадьбы, вы благодаря мне оденете его белоснежными парусами и подарите морскому простору.

Стук ваших молотков будет звенеть тогда, как песня, ваш пот и крики «Эх, взяли!» станут усердием, чудом будет спуск корабля — вода расцветет цветком.

## LXXV

Вот поэтому-то единство любви мне видится как разнообразие колонн, сводов, выразительных статуй. Если пытаешься передать единство, приходишь к нескончаемому разнообразию. Не пугайся его.

Значима лишь безоглядность, присущая вере, усердию, страсти. Едино стремление вперед фрегата, но двигают его и тот, кто заточил стамеску, и тот, кто отмыл палубу, и тот, кто поднялся на мачту, и тот, кто смазал втулку.

Вас смущает неупорядоченность? Вам кажется, что мощь людей возрастает, если все они двигаются в одном направлении и делают одно и то же? Но повторяю: если речь идет о человеке, свод замыкается совсем не на очевидном. Нужно подняться, чтобы понять, где находится ключ свода. Не упрекаете же вы скульптора за то, что, ища выражение чему-то очень сущностному, он, пусть предельно все упростив, передал его с помощью глаз, губ, морщин, пряди волос, он должен был сплести нити для той ловушки, которая сможет ловить добычу, — ловушки, благодаря которой, если только ты не слеп и не воротишь заране нос, ты узнаешь такую несказанную тоску, что в тебе откроется что-то новое. Не упрекай и меня за неупорядоченность моего царства. Единство людей — ствол, выбрасывающий разные ветви, — вот цельность, к которой я стремлюсь и которая и есть суть моего царства, она видна, когда отдались. А вблизи видишь суету матросов, каждый из них тянет в свою сторону свой канат. Издалека виден фрегат, плывущий по морю.

Скажу больше: если я воодушевлю мой народ любовью к морским странствиям, если их отягощенные любовью сердца подтолкнут их всех к единому руслу, ты увидишь, как по-разному каждый из них будет действовать в зависимости от склада своей натуры. Один будет ткать паруса, другой блестящим топором валить сосны. Один ковать гвозди, другой наблюдать за звездами, чтобы научиться управлять кораблем. И все-таки они будут единым целым. Корабль строится не потому, что ты научил их шить паруса, ковать гвозди, читать по звездам; корабль

строится тогда, когда ты пробудил в них страсть к морю, и все противоречия тонут в свете общей для всех любви.

Поэтому все на свете союзники мне и я открываю объятия моим врагам, чтобы они укрепляли меня и возвышали. Я знаю: есть ступень, с которой наша схватка покажется мне любовным борением.

Я создаю корабль совсем не тем, что продумываю его во всех деталях. Если я примусь в одиночку чертить чертежи, я упущу главное. Когда дело дойдет до строительства, чертежи мои не понадобятся, их сделают другие. Не мне знать каждый гвоздь корабля. Мой долг разбудить в людях стремление к морю.

Я расту, словно дерево, и чем я выше, тем больше у меня корней. И мой храм — он целен, но строит его и тот, кто полон раскаяния и ваяет лик совести, и тот, кто умеет наслаждаться и ваяет улыбку. Строит тот, кто, противостоя мне, сопротивляется, и тот, кто предан мне и пребывает верным. Не упрекайте меня за неупорядоченность и отсутствие дисциплины, я признаю одну дисциплину — дисциплину жаждущего сердца, и, когда вы войдете в мой храм, вас покорит его цельность и величие тишины. Увидев, что молятся в нем преданный и непокорный, ваятель и каменотес, ученый и неграмотный, веселый и грустный, не говорите мне о чужеродности: всех их питает один корень, благодаря их общим усилиям возник храм, благодаря храму каждый из них отыскал собственный путь становления.

Не прав тот, кто печется о внешней упорядоченности, он печется о ней потому, что не может подняться на ту высоту, откуда виден храм, корабль и любовь. Вместо подлинного порядка он устанавливает полицейский режим, при котором все должны одинаково тянуть ногу и идти в одну сторону. Но если все твои подданные стали одинаковыми, то это совсем не значит, что ты достиг единства среди тысячи одинаковых колонн, ты не в храме — в зеркальной комнате. Совершенная упорядоченность в твоём понимании предполагает уничтожение всех твоих подданных, кроме одного.

Храм — вот подлинный порядок. Любовь зодчего, будто корень, питает и соединяет воедино строителей и строительные материалы, она создает цельность, длит и придает силу всему, что разнообразно.

Нет, дело не в том, чтобы возмущаться людской непохожестью, противоречивостью желаний и устремлений, несхожестью языка, — радуйся этому, потому что ты — творец, ты — зодчий, и тебе придется строить огромный храм, чтобы в нем поместились все.

Я зову слепцом того, кто, воображая, будто что-то создал, разобрал храм и сложил все камни в прямую линию.

## LXXVI

Ты будешь говорить и в ответ услышишь возмущенные крики — не обращай внимания: новая истина — это всегда новизна неожиданных связей (в ней нет доказательности логики, за которой можно проследить от следствия к следствию). Каждый раз, когда ты будешь указывать на деталь своей новой картины, тебя упрекнут, что во всех других ей отведена совершенно иная роль, и не поймут, что именно ты им показываешь, и будут спорить с тобой и спорить.

И тогда ты попросишь: «Откажитесь от того, что считаете вашим, позабудьте и взглядывайтесь не противясь в новизну моего творения. Станьте куколкой, только так вы сможете преобразиться. А преобразившись, вы мне скажете, стало ли в вас больше света, умиротворения и широты».

Ни истина, ни статуя, которую я ваяю, не открываются деталь за деталью, частность за частностью. Это — целое, и судить о них можно,

когда они завершены. Находясь внутри картины, невозможно ее обозреть. Истинность моей истины в том человеке, который рождается благодаря ей.

Представь себе, что я решил отправить тебя в монастырь, желая, чтобы ты изменился. А ты просишь, чтобы монастырской стеной я окружил твою суетную жизнь, житейские заботы, ты желаешь понять, что такое монастырь здесь. Я не стану даже отвечать тебе, я промолчу в ответ на твою просьбу. Что такое монастырь, поймет иной, чем ты, и его я должен извлечь из тебя. Я должен принудить тебя к становлению.

Возмутит и твое принуждение, не обращай внимания. Крикуны были бы правы, если бы ты насилывал главное в них, лишал их величия. Читая в человеке можно только благородство. Но они видят справедливость в том, чтобы жить без изменений, пусть даже в гниющих язвах, потому что с ними они появились на свет. Если ты вылечишь их, ты не оскорбишь Господа.

## LXXVII

Вот почему я могу утверждать, что не отвергаю, но и не соглашаюсь. Я не податлив, не мягок, но и не прямолинеен. Я принимаю несовершенство человека, но к человеку я требователен. Противник для меня не шпион и не виновник наших зол, которого я хочу публично унижить и сжечь на площади. Я принимаю моего противника целиком и вместе с тем я не соглашаюсь с ним. Хороша и желанна холодная вода. Хорошо и желанно вино. Но мешая воду с вином, я готовлю питье для кастратов.

Нет в мире людей заведомо неправых. Кроме тех, кто выводят заключения, доказывают, аргументируют: они в плену бессодержательно-го языка логики и не могут ни ошибиться, ни обрести правоты. Они просто шумят, но если возгордятся своим шумом, то из-за него может долго литься человеческая кровь. Этих я отсекаю от моего дерева.

Прав только тот, кто согласен пожертвовать своим телесным сосудом, чтобы спасти хранимое в нем. Я тебе уже говорил об этом. Покровительствовать слабым или помогать сильным — вот вопрос, который тебя мучает. Ты поддерживаешь сильных, а твой противник — он противостоит тебе, — он покровительствует слабым. И вы принуждены сражаться, один — желая предохранить свои земли от демагогической гнили, воспевающей язвы ради язв, другой — чтобы избавить свою землю от жестокости рабовладельцев, которые действуют бичом и принуждением и не дают возможности человеку стать самим собой. В жизни это противоречие так настоятельно, что приходится решать его оружием. Все идеи нужны, потому что, когда остается только одна идея (и заполняет все, как трава) и нет противоположной ей, которая бы ее уравновешивала, идея станет ложью и пожрет жизнь.

Идею взрастило поле твоего разума, но какое оно крошечное, это поле, — посмотри! И вот еще о чем вспомни: представь, на тебя напал бандит, ты же не сможешь разом чувствовать боль ударов и продумать тактику борьбы; в открытом море ты не сможешь разом бояться кораблекрушения и травить от качки, боится тот, кого не тошнит, а тот, кого тошнит, не боится. Если нет возможности объясниться по-новому, то как мучительно проживать одно и, по привычке, думать другое.

## LXXVIII

Пришли ко мне с упреками — нет, даже не геометры моего царства, да и был он у меня один и уже умер, — пришли представители от толкователей моих геометров, а было этих толкователей десять тысяч.

Когда надобится корабль, хозяин заботится о гвоздях, мачтах, досках для палубы, он запирает в каземат десять тысяч рабов и несколько надсмотрщиков с бичом, и корабль является во всей своей славе. И я ни разу не видел раба, который тщеславился бы тем, что одержал победу над морем.

И когда надобится наука расчетов, ученый не разрабатывает ее сам, идя от следствия к следствию, потому что на этот труд у него не хватит ни сил, ни времени, он собирает десять тысяч помощников, которые оттачивают теоремы, разрабатывают плодотворные находки и пользуются плодами растущего дерева. Они уже не рабы, их не подгоняет бич надсмотрщика, и многие из них мнят себя равными единственно истинному геометру, во-первых, потому, что они его понимают, во-вторых, потому, что обогатили его творение.

Но я, зная, что работа их драгоценна, — ибо прекрасно, когда уможается жатва разума, — и зная вместе с тем, как далека она от подлинного творчества, которое рождается в человеке всегда бескорыстно, непреднамеренно и свободно, не приближал их к себе, опасаясь, как бы их разросшаяся гордыня не сочла и меня равным им. И слышал, как, жалуясь на это, они переговаривались между собой.

И вот что они говорили:

— Мы протестуем во имя разума, — говорили они. — Мы — пастыри истины. Законы царства установлены божеством куда менее надежным, чем наше. За них стоят твои воины, и тяжесть их мускулов способна нас раздавить. Но разум, которым мы владеем даже в тюремных подземельях, будет против тебя.

Они говорили так, понимая, что им не грозит мой гнев.

И переглядывались, довольные собственным мужеством.

А я? Я размышлял. Единственно подлинного геометра я приглашал каждый день обедать. Ночами, томясь бессонницей, я приходил к нему в шатер и, благоговейно разувшись у порога, пил с ним чай, вкушая мед его мудрости.

— Ты — геометр, — говорил я ему.

— Я в первую очередь не геометр, а человек. Человек, который время от времени размышляет о геометрии, если не занят чем-то более существенным, например, едой, сном или любовью. Но теперь я составил, и ты, конечно же, прав: я теперь только геометр.

— Тебе открывается истина . . .

— Я бреду на ощупь и, как малый ребенок, осваиваю язык. Я не нашел истины, но мой язык доступен людям, как твоя гора, и с его помощью они создают свои истины.

— Слова твои горьки, геометр.

— Мне бы хотелось отыскать во Вселенной след Божественного плаща и прикоснуться к истине, которая существует вне меня, словно к Богу, что так долго прятался от людей. Мне хотелось бы ухватить эту истину за край одежды и откинуть покрывало с ее лица, чтобы показать всем. Но мне было дано открыть истину только о самом себе . . .

Так говорил геометр. А эти грозили мне гневом своего божества, вознося его над собой.

— Говорите тише, — попросил я. — Возможно, понимаю я плохо, но слышу хорошо.

И, умерив голоса, они продолжали перешептываться.

Наконец один из них заговорил со мной. Они подтолкнули его вперед, потому что он уже начал сожалеть о взятой на себя смелости.

— Мы воздвигли перед тобой твердыню истины, — начал он. — Где ты видишь в ней произвол творчества, руку ваятеля или поэта? Наши теоремы вытекают одна из другой по законам строжайшей логики, в нашем творении нет ничего от человека.

Итак, с одной стороны, они притязали на владение безусловной

истиной — вроде племен, утверждающих, что вот этот раскрашенный деревянный божок насылает молнии, — и с другой стороны, равняли себя с единственно подлинным геометром, потому что с большим или меньшим успехом разрабатывали или открывали, но никак не творили.

— Посмотри, мы покажем тебе, как соотносятся элементы в различных фигурах. Твои законы мы можем нарушить, но преодолеть наши ты не в силах. Ты должен сделать министрами нас, ибо мы знаем.

Я молчал, размышляя о глупости. Мое молчание обеспокоило их, твердость их поколебалась.

— Прежде всего мы хотим служить тебе, — добавили они.

И я им ответил:

— Вы настаиваете, что обошлись без творчества, и это прекрасно. Кривые творят кривых. Надутые мехи способны сотворить только ветер. Если вы займетесь царством, то почтение к логике, которая хороша для свершившегося события, законченной статуи и покойника, поведет к тому, что все в нем будет готово сдать мечам варваров.

Однажды ранним утром вышел человек из шатра и направился к морю, поднялся на отвесную скалу и упал с нее. С нами были логики; вглядываясь в следы, они установили истину. Потому что ни одно звено не выпало из цепочки: шаг следовал за шагом, и не было ни единого, который бы не возник из предыдущего. Следуя шаг за шагом, от следствия к следствию, была определена причина смерти, и мертвое тело принесли к шатру. Прodeлав обратный путь от причины смерти к ее возникновению, неизбежность смерти была подтверждена.

— Мы все поняли! — вскричали логики и поздравили друг друга.

А мне-то казалось, что понять — значит ощутить, как иной раз доводилось и мне, какой-то неуловимо счастливый проблеск, что пугливее замершей водной глади, потому довольно и промелькнувшей мысли, чтобы он исчез, — он мелькнул и словно бы не существует, он тронул лицо спящего — спящего чужака в шатре за сто дней пути от меня.

Потому что творческое озарение ничуть не похоже на то, что выйдет из-под твоих рук, оно исчезает безвозвратно, и никакие следы не помогут тебе его восстановить. Следы, отпечатки, знаки говорят, выстраиваясь в цепочку, вытекая одно из другого. Логика и есть та тень, которую отбросило творческое озарение на стену реальности. Но эта очевидность не очевидна еще человеческой близорукости.

И поскольку мои логики ничего не поняли, я, по доброте своей, стал наставлять их дальше.

— Жил на свете один алхимик, — заговорил я, — он хотел раскрыть тайну жизни. И случилось так, что при помощи реторт, перегонных кубов, всяческих порошков и растворов ему удалось получить крошечный комочек живого теста. Набегали логики. Они повторили опыт, смешали порошки и растворы, зажгли огонь под ретортой и получили еще один живой комочек. Ушли они, громко крича, что тайна жизни больше не тайна. Что жизнь — естественная последовательность причин и следствий, взаимодействие при нагревании элементов, не обладающих жизнью. Логика, как всегда, все великолепно поняли. Они не поняли, что природа созданного и природа творчества не похожи друг на друга, творческая сила, исчерпавшись, не оставляет следов. Недаром творец всегда покидает свое творение, и творение поступает в распоряжение логики. И я смиренно отправился за разъяснениями к моему другу геометру. «Где увидел ты новое?» — спросил он. — Жизнь породила жизнь. Новая жизнь возникла благодаря алхимику, а алхимик, насколько я знаю, жив. О нем забыли, так оно и положено, творец растворяется и оставляет нам творение. Ты довел своего спутника до вершины горы, и он увидел примиренными все противоречия, гора для него — реальность, существующая помимо тебя, он на ней — в одиночестве. Никто не за-

думается, почему ты выбрал именно эту гору, она есть, и человек стоит на ней, потому что естественно, чтобы человек находился где-то».

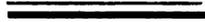
Но мои логики не перестали перешептываться, на деле логики совсем не логичны.

— Вы самонадеянны, — сказал я им, — вы изучили танец теней на стене и уверились, что обладаете знанием. Шаг за шагом проследживаете вы ход теоремы, забывая о том, кто положил свою жизнь на то, чтобы ее создать. Вы читаете следы на песке, не понимая, что прошел человек, которого разлучили с его любовью. Вы изучаете, как из мертвых элементов возникает жизнь, забывая о живом человеке, который подбирал эти элементы, ища и отказываясь. Не подходите ко мне, рабы, — в руках у вас жалкие молотки, но вы возомнили, что создали и пустили в плавание корабль!

Истинным геометром был тот, кто уже умер; если бы он захотел, я посадил бы его рядом с собой, и он направлял бы людей. В нем дышало дыхание Господа. Язык, которым он говорил, делал ощутимым присутствие далекой возлюбленной, которая не оставила следов на песке и о которой поэтому невозможно ничего узнать.

Из множества возможных вариантов он умел выбрать тот, который не обеспечил пока никому удачи, но был единственным, который открывал путь дальше. Нет путеводной нити в лабиринте гор, логик тебе не в помощь, если кончилась вдруг торная дорога, если перед тобой пропасть, если ни один человек не ступал на противоположный склон; тогда на помощь тебе посылается проводник — он словно бы уже побывал там, впереди, и намечает тебе дорогу. Пройденная дорога — очевидность. Ты забываешь о чуде, когда вел тебя вернувшийся к тебе из неведомого проводник.

*(Продолжение следует)*



---

---

## À PROPOS

---

---

В петроградских дневниках Зинаиды Гиппиус меня поразила запись:

«...Большевики — это перманентная война, безысходная война... Большевицкая власть в России — порождение, детище войны. И пока она будет — будет война. Гражданская? Как бы не так! Просто себе война, только двойная еще, и внешняя, и внутренняя. И последняя в самой омерзительной форме, в форме террора, т. е. убийства вооруженными — безоружных и беззащитных»...

Надо представить себе обстановку 1919 года: крушение гражданских устоев, столкновение безумных концепций, взаимопожирание доктрин и полное растворение реальности в самогипнозе слов, — чтобы оценить ту потрясающую пронизательность, с какой увиден здесь реальный ход вещей. И кем увиден! «Декаденткой», «салонной поэтессой», жрицей «мистического символизма» — какие еще ярлыки приклеились к Зинаиде Гиппиус за годы «позорного десятилетия»? Что она могла понимать в политике, что могла писать, кроме «злостных пасквилей», что могла различить, кроме ненавистных «экспроприаций», безумных прожектов, фантастических программ?

Различила — реальность: продолжение войны, только перенесенной на «внутренний фронт».

«Принудительная война, которую ведет наша кучка захватчиков, еще тем противнее обыкновенной, что представляет из себя «дурную бесконечность» и развращает данное поколение в корне, — создает из мужика «вечного» армейца, праздного авантюриста. Кто не воюет или пока не воюет — торгует (и ворует, конечно). *Не работает никто*».

«Пока не воюет», — сказано с той же трезвой пронизательностью. Сквозь все хитросплетения коммунистических, социалистических, социал-демократических, социал-революционных сетей воображения, сквозь которые в 1919 году кто мог тогда пробиться? Оттенки доктрин застели глаза: «справедливая война», «несправедливая война», «классовая», «рабочая», «крестьянская», за «царя и отечество», за «отечество всех пролетариев»... А здесь сквозь узор увидена суть: ВОЙНА. Война тотальная, глобальная, мировая, Россию — в два наката накрывшая. И между накатами — вовсе не «строительство светлого будущего», а ПЕРЕДЫШКА. И «коммунизм» — та же война, тот же военный лагерь, ставший образом жизни целого народа, казарма, иллюзионно совмещенная с утопией...

Страшный вопрос: почему именно Россия оказалась в XX веке на острие вспоровшего мир военного конфликта и почему именно Германия оказалась роковым противником. Но раз уж произошло, все остальное — следствие: от продотрядов 1919 года до заградотрядов 1941-го, независимо от того, какими дымами все это прикрывалось. Раз уж содержанием нашей истории в XX веке стала сквозная тотальная война, то чем бы ни подкрепилась она в сознании: «мировой революцией», «Российской империей» или «соцлагерем», — содержание все то же.

Непостижимый переклик текстов, соседствующих в сегодняшней печати, переносит меня со страниц дневника замерзающей в революционном Питере «декадентки» на страницы современного военно-исторического исследования: Виктор Суворов «Ледокол» («Дружба народов», 1992/11—12; 1993/1).

Мы уже свыклись с мыслью, что если Гитлер не напал бы «вероломно» в 1941-м, Сталин напал бы в 1942-м. Да, напал бы, но раньше. Тогда же, летом 1941-го! Счет шел на недели. Наши танки были лучшими в мире, и легендарный Т-34 «запоздал» только потому, что ему пришлось перекантовываться на «гусеничную» войну «в полях», — а та бронетехника, которую мы имели (шквалом гнали все 30-е годы), предполагала не гусеничный, а колесный ход, и не «поля», а шоссе-ные дороги. И к тому же самому готовились наши армии, вынесенные к лету 1941-го на крайне западные точки границы: на Львовский и Брестский выступы. И для того же авиация была подтянута к границе. И глубинная полоса обороны свернута.

Гитлер успел опередить Сталина на считанные мгновенья. Подсек эту мощь, обесмыслил колесную бронетехнику, сжег наши самолеты на прифронтовых аэродромах, отрезал и разгромил изготовившиеся к броске кадровые армии. И все равно не ушел от гибели, на четыре года оттянул конец, но не избежал. А если бы — не подсек, не упредил, не изловчился ударить первым?

Голова кружится от мысли, что было бы с Европой, устремись вся эта мощь беспрепятственно на запад по гладким дорогам, через Румынию, перекрывая Германии нефть, и далее — неостановимо и неудержимо. И как бы пошла история XX века. И как бы разлагалась, саморазрушалась победившая военная машина, — что все равно произошло бы, как оно в реальности и произошло, но — чего бы стоило, если бы, как сказал поэт, мы бы «дошли до Ганга» и «Родина моя» воссияла бы «от Японии до Англии». Отделялась бы сейчас эта самая Англия в числе «ближнего зарубежья»?

Дух мутится от таких сценариев. А ведь близко было. Как в XIII веке, когда стремительные татарские всадники до Киева дошли, а до Новгорода — чуть не хватило ресурса. А если бы хватило? Жди потом, пока распадется орда. . .

Предки наши так и жили: от орды до орды. «Переждем и эту орду. . .»

Вот теперь у нас есть шанс почувствовать, что переживала орда, когда распадалась. Само собой: понять настроения прибалтов, чехов, румын, немцев, которые переждали, наконец-то, «Красную орду». НАС переждали. Как мы когда-то ждали: остановит ли Баязет Тамерлана? Куда повернет очередной Гирей?

А что сам Гирей чувствовал? И каково было в клетке побежденному Баязету? И как жили те народы, на плечах которых выстраивалась всякая новая орда? Отдадим себе отчет мы — преемники и тех, и этих. И самой орды, и переживавших ее. Вместить это в сознание нам, читателям «Задонщины», трудно, но это так: Россия — результат смешения славянских, финских и тюркских племен, производное их взаимодействия на полях войны и на путях мира. Язык наш — славянский. А государство наше — ордынское. И воинственность наша. И вечная магическая тяга «за горизонт», к «океану». Пока не упрямся. Пока не останоятся. Пока сами не распадемся.

«Коммунизм» — такое же временное гипнотическое прикрытие этой неизбывной агрессивности, как до него — «Третий Рим», «православное царство» и любая культурная символика, державшаяся на штыках. Главное — на штыках. Символом может быть крест о четырех концах или звезда о пяти концах (или о восьми, с серпом полумесяца либо

с серпом на молоте), но непременно — война, и лагерный быт, и народ, вооруженный поголовно.

Как же точно уловила это Зинаида Николаевна — сквозь «воровство» экспроприаторов, прикрывшихся «декретами» и «платформами», в самом начале гипнотического сеанса, прикрывшего «передышку»! Поэтесса, которая вроде бы никогда не имела вкуса к «большой политике». Однако все почувствовала и разглядела.

«Безысходная война. . .»

Имени только не знала этой бешеной притаившейся энергии.

А мы знаем?

Может, так: пассионарность?

Но великий историк, который в свой час так окрестил эту энергию, в 1919 году еще играет в солдатиков. Ему еще семь лет от роду.

Хотя родители его Зинаиде Гиппиус хорошо знакомы. И отец, великий поэт, не чуждый воинственности (два года спустя он дождется своей пули). И мать, великая поэтесса, сменившая славянскую фамилию на татарскую, — ей-то и достанется за долгие десятилетия измерить человеческую цену «перманентной войны, безысходной войны».

*Лев Аннинский*



---

---

## ПРОЧИТЕ ДЕТЯМ

---

---

### Кеннет Грэм ИВОВЫЙ ВЕТЕР

*Роман*

*Перевела с английского Юлия Муравьева*

### ДИКИЙ ЛЕС

Давно уже хотелось Кроту познакомиться с Барсуком. Все были наслышаны о нем, отзывались с почтением и, хотя редко кто мог похвастаться личной встречей, признавали его невидимый авторитет. Но стоило Кроту лишь заикнуться на эту тему, как он чувствовал глухое сопротивление.

— Все в порядке, — говорил Водяной Крыс. — Когда-нибудь он обязательно объявится — он же всегда показывается рано или поздно — и тогда я тебя представлю. Он отличный парень! Только, пони-маешь, дело не в том, как он тебе покажется, а когда захочет показаться.

— А нельзя ли его пригласить — ну, пообедать, например? — предложил однажды Крот.

— Да он не придет, — отозвался Крыс, приподняв брови. — Барсук ненавидит Общество, и приглашения, и обеды, и всякое такое.

— Ну, тогда давай сами его навестим, — не сдавался Крот.

— Ох, это ему наверняка не понравится, совсем не понравится! — встревожился Крыс. — Он такой нелюдимый, подозрительный, обидит-ся — и пиши пропало. Мне никогда и в голову не приходило влываться к нему без приглашения — а ведь мы старинные друзья. А кроме всего прочего, мы просто не можем туда пойти. Нечего и обсуждать, приятель, — он живет в самой чаще Дикого Леса.

— Ну, не знаю, может, ты и прав, — протянул Крот, — только вот насчет Дикого Леса я не понял, мне-то казалось, что там вполне безопасно. . .

— Конечно! — уклончиво заторопился Крыс. — Конечно, так оно и есть. Просто, я считаю, сейчас не время туда идти. Ну, пока не стоит. И вообще это далеко и сезон неподходящий — его дома-то не застать. Не горюй. В один прекрасный день он сам тебя разыщет, наберись терпения — и жди.

Кроту пришлось смириться. Барсук не показывался, а дни мелькали, полные развлечений и забав, и незаметно кончилось лето, похолодало, опустились слякотные туманы, и дороги так развезло, что на улицу и носа высовывать не хотелось. Вздущаяся река скаковой лошастью мчалась мимо окон, издевательски зазывая окунуться, и от одного взгляда на нее бросало в дрожь. Тогда Кроту снова пришла в голову мысль об одиноком сером Барсуке, живущем своей собственной

жизнью в самой чаще Дикого Леса, — и застряв там, преследовала неотвязно.

Зимой Крыс много спал, вставал поздно; пока было светло, марал бумагу неразборчивыми строчками, немножко работал по дому — и очень рано ложился. Ну и, конечно, частенько заходили гости, и болтали, и рассказывали, и обсуждали без конца события ушедшего лета.

А там было что вспомнить! Стоило лишь перелистнуть обратно несколько страничек — и ты натыкался на роскошную главу с бесчисленными, ярко раскрашенными картинками! Величавой и пышной процессией разворачивался карнавал речного берега, сцены и герои торжественно сменяли друг друга. Первым явился пурпурный вербейник и, встряхивая густыми спутанными волосами, загляделся в зеркало, и отражение смеялось ему в ответ. Иван-чай, болезненный и задумчивый, похожий на розовое закатное облачко, уже торопился занять его место. Окопник, фиолетовый с белыми прожилками, подкрался следом, и, наконец, сильно припозднившийся шиповник, пунцовый от смущения, робко ступил на сцену, струнные созвучия сложились в церемонный гавот, и стало ясно, что наступил июнь. Ждали еще одного лицедея; нимфы — пастушка-кавалера; дамы, выглядывающие из окон, — рыцаря; спящее лето — принца, который поцелуем разбудит для жизни и любви. И когда лабазник, веселый, благоухающий, в янтарном камзоле, танцующей походкой приблизился к товарищам и встал в ряд, — представление началось.

Ах, какое это было представление! Сонные звери, уютно устроившись в своих норках, прислушиваясь к дождю и ветру, барабанившим в двери, вспоминали, как по утрам, за час до рассвета, ночной белый туман стлался по реке; искрометный ужас первого раннего ныряния, пробежку вдоль берега — и сияющее преобразование земли, воздуха и воды, сотворенное неожиданным солнцем: серый оборачивался золотым, и рождались цвета — и снова, — в который уже раз? — разливались по миру. Они вспоминали жаркий полдень, томительную полудрему в зеленой тени подлеска, когда солнечные лучи плясали по лицу крошечными ласковыми шажками; послеобеденное купание и катание на лодке; прогулки по пыльным дорогам и желтеющим полям; наконец, долгий прохладный вечер — время подводить итоги, разбираться в новых друзьях, прикидывать бесконечные завтрашние приключения. Да, было о чем посудачить зверюшкам, собиравшимся у камина в те коротенькие зимние дни, и все-таки свободного времени у Крота оставалось предостаточно, и он частенько ломал голову, не понимая, куда его приспособить. И вот однажды, косясь на Крыса, в своем к самому огню придвинутом кресле погруженного в ленивое сочинительство не подходящих друг к другу рифм, то и дело прерываемое дремотой, он принял решение — в одиночку добраться до Дикого Леса, исследовать его, а если повезет, то и завязать знакомство с Мистером Барсуком.

Холодно и безветренно было в воздухе, и суровое недоброе небо нависло над Кротом, как только он выскользнул из натопленной гостиной. Сирая раскинулась перед ним земля, не прикрытая ни единым листиком, и он подумал, что Природа, забывшаяся своим ежегодным сном, должно быть, сбросила одежду и в этот зимний день выставила напоказ свое сокровенное, все, куда ему никогда прежде не приходилось заглядывать. Рощицы, лощины, овраги — все укромные местечки, секретные тайники пышнолистного лета — теперь обнажились и, нагие, несчастные, словно молили простить, отвести глаза от убогой нищеты, подождать, пока новый маскарад не закружится в роскошном буйстве, изобильный уловками и хитростями, вечный обманщик. Жалобно выглядело это, но все же радовало и вселяло надежду. Кроту стало легко и спокойно от чувства, что мир — такой, какой он есть, неприкрашенный, строгий, сорвавший последние лохмотья, — приятен

ему и дорог; наконец-то он увидел устройство, остов, соединение и сочленение — точное, прочное и простое. Он не тосковал по теплому клеверу, по переливчатому цветущему разнотравью, будто ширмами, перегородженному живыми изгородями, по плавным складкам одеяний, накинутых на буки и вязы, — все это казалось далеким и ненужным. Бодрый, воодушевленный, он заспешил к темной громаде Дикого Леса, затаившейся, как грозный риф посреди спокойного южного моря.

Даже и войдя, Крот ничуть не встревожился. Сучья хрустели под ногами, бревна норовили перегородить путь, и хотя кривляющиеся на пнях поганки и испугали его слегка своим странным сходством с чем-то знакомым, но невероятно далеким, — это казалось забавным и восхитительным и влекло и заманивало вглубь, туда, где тускнел свет, и теснее смыкались стволы деревьев, и отовсюду норы и дупла строили безобразные рожи. Вокруг неподвижно застыла тишина. Сумерки надвигались быстро, неотвратимо, сгущаясь впереди и сзади, и свет, казалось, просачивался куда-то и исчезал, словно паводковая вода.

И тогда появились лица.

Сначала смутно померещилось за спиной злобное, клинышком, личико, подглядывающее из норы. Крот стремительно обернулся, но видение уже сгнуло.

Он зашагал быстрее и, бормоча что-то успокоительное про воображение, разыгравшееся не в меру и не вовремя, миновал очередную нору, потом еще и еще и — вот оно! — нет! — оно, определенно оно, — снова узкое маленькое лицо с ледяными глазенками метнулось на мгновение из норы — и пропало. Он замешкался было, но тут же, заставив себя собраться с духом, заторопился вперед. И тогда все норы, ближние и дальние, каждая из многих, многих сотен — внезапно и разом ошетинились лицами: остренькие, враждебные, они засновали, замелькали в глазах, то появляясь, то снова исчезая в черных дырах, и взгляды их не отрывались от Крота, пронзительные, полные ярости и ненависти.

Ему подумалось, что от них вполне можно избавиться, стоит только уйти от этой насыпи, набитой норами, и, свернув с тропинки, он очертя голову бросился в нехоженую, неведомую чащу.

И тогда начался пересвист.

Пронзительно, но едва различимо засвистали где-то сзади, и он невольно ускорил шаги. Звук, по-прежнему неотчетливый, но настойчивый, раздался далеко впереди, и Крот, вздрогнув, подумал о возвращении. И пока он медлил в нерешительности, засвистело со всех сторон, и мощно подхваченный, оглушительный посвист полетел по лесу и наполнил пространство — целиком, плотно, до самых далеких пределов. Они — неизвестные и зловещие — бодрствовали, начеку, наготове, а он — совсем один, безоружный, и неоткуда было ждать помощи, и опускалась ночь.

И тогда началось топотание.

Поначалу Крот принял его за слабый, почти неуловимый шепот падающих листьев. Но шорох разрастался, и уже зазвучала в нем размеренная монотонность, и стало ясно: это отдаленный топ-топ-топ маленьких ног, и его ни с чем не спутать, и обманывать себя незачем. Но сзади или спереди? То так, то этак чудилось Кроту; тревожно наострив уши, старался он разобрать, откуда несется звук, и, запутавшись окончательно, в отчаянии понял: приближается отовсюду и берет его в кольцо. Тихо стоял он, все еще прислушиваясь, когда кролик, продравшийся сквозь кусты, вместо того чтобы притормозить или хотя бы вильнуть вбок, чуть не врезался в него — пронесся мимо, только с застывшего, напряженного лица глянули ошалело широко распахнутые глаза. Обогнув пень, он скрылся в спасительной норе.

— Выбирайся отсюда, кретин, выбирайся! — различил Крот его неразборчивую скороговорку.

Топот, нарастая, грохотал уже словно град по сухолиственному растеленному ковру. Сам лес казался бегущим быстро, неумолимо, он охотился, преследовал, окружал что-то — или кого-то? В панике Крот тоже побежал, бесцельно, в никуда, не разбирая дороги, спотыкаясь и падая, натываясь на корни, врезаясь в стволы и бревна, пытаясь уворачиваться лишь от самых колючих сучьев. Старый бук предложил ему укрыться в глубокой темной расщелине между своих корней: убежище, приют, может, и безопасность — как тут проверишь? — сулило дерево, и он с благодарностью согласился. Он очень устал и бежать все равно уже не мог, оставалось свернуться клубочком в накопленных деревом засохших листьях — и надеяться если и не на спасение, то хотя бы на короткую передышку. Скорченный, лежал он, трясаясь всем телом, трудно, с хрипом заглатывая воздух, вслушивался в топот и пересвист, и подозрения, прежде смутные, неопределенные, сменялись твердой уверенностью: мерзость, с которой мелкие обитатели полей и рощ порой сталкивались здесь и вспоминали потом всю жизнь с трепетом и содроганием, то чудовищное, от чего так напрасно стремился охранить его Крыс, — был Ужас Дикого Леса!

А в это время разомлевший Крыс уютно посапывал у камина. Листок с оконченными стихами соскользнул с колен, голова запрокинулась, и он, открыв рот, путешествовал по нежно зеленеющим берегам дремотных рек. Потеряв равновесие, скатился уголек; огонь, спохватившись, взметнулся и затрещал. Крыс проснулся, словно от толчка. Огорченный собственной леностью, он поднял с пола стихи и принялся перечитывать их, медленно и сосредоточенно, а потом обернулся к Кроту — спросить, не знает ли тот случайно какой-нибудь славненькой, неожиданной рифмы.

Но Крота не было.

Он прислушался. Дом стоял странно затихший.

— Кротик! — позвал Крыс, и звал еще и еще, и, не дождаввшись ответа, вскочил и вышел в прихожую.

Кротинная шапочка пропала, и одиноко торчал осиротевший крючок. Галоши, обычно лежавшие у подставки для зонтиков, тоже исчезли.

Крыс выбежал из дома и взгляделся в липкую слякоть осенней земли: она могла сбересть Кротинные следы. И следы виднелись — довольно отчетливые. Пупырышки на подошвах галош, совсем новых, купленных к зиме, не успели еще притупиться и ясно, резко впечатывались в грязь. Следы торопились: не отвлекаясь, не петляя, они вели вперед, прямо к Дикому Лесу.

С минуту Крыс в грустном оцепенении смотрел себе под ноги, потом встряхнулся и вернулся в дом. Туго затянув ремень, он засунул за него пару пистолетов, захватил прислоненную в углу прихожей увесистую дубинку и скорыми шагами отправился к Дикому Лесу.

Начинало темнеть, когда он поравнялся с первыми деревьями и, не останавливаясь, не раздумывая, окунулся в лес. Беспokoйно оглядываясь, искал он знаков, оставленных его другом, но лишь маленькие злобные лица то тут, то там мелькали в отверстиях нор и снова прятались, увидев бесстрашного зверя, его пистолеты, огромную, грозную дубину, крепко сжатую в руке. Свист и топот, наполнявшие воздух, звучали все тише, тише и наконец совсем замерли, и на мир опустилось безмолвие. Крыс решительно и смело прочесывал чашу сначала вдоль, а потом, добравшись до ее дальнего края, и поперек, без сожаления расставаясь с протоптанными тропами, старательно изучал каждый клочок земли и бодро, громко покрикивал:

— Кротик! Кротик, Кротик! Где ты? Это я — старина Крыс!

Уже больше часа терпеливо рыскал он по лесу, когда наконец услышал отклик — слабый, приглушенный вопль. Спеша на звук в сгущающихся сумерках, он наткнулся на корни старого бука, раскоряченные вокруг глубокой впадины, и оттуда жалобно, замученно прошелестело:

— Крысичка, это правда ты?

Крыс спустился вниз и обнаружил Крота, обессиленного и все еще дрожащего.

— Ах, Крыс! — простонал он. — Я так испугался, ты себе не представляешь!

— Еще как представляю, — успокоил его Крыс. — Зря ты так поступил, Крот, честное слово. Я прямо из кожи вон лез, чтоб этого не случилось, — даже обидно. Знаешь, мы, речные жители, поодиночке вообще сюда не ходим. Если уж приспичит, собираемся компанией, это здорово помогает. Ну, а кроме того, существуют вещи, которые надо знать, — их целая куча, не меньше сотни, я думаю. Мы-то на них собаку съели, а ты вот нет — во всяком случае, пока. Я имею в виду и пароли, и знаки — разные словечки, которые действуют безотказно, и растения, которые прячешь в кармане, и стихи, которые бормочешь точно заклинания, и уловки, и увертки — в сущности, довольно несложные, когда разберешься, что к чему, — но без них маленькому зверю, вроде нас с тобой, попросту несдобровать. Если, конечно, ты не Барсук и не Выдр.

— А вот Жаб, доблестный Жаб, наверняка не побоялся бы зайти сюда без охраны, — предположил Крот.

— Старина Жаб? — переспросил Крыс и громко расхохотался. — Да его хоть засыпь золотыми гинейми — ни за что бы не стал сюда соваться. Жаб — придумаешь тоже!

Этот внезапный всплеск беззаботного смеха, эта могучая дубинка, эта сияющая сталь пистолетов сослужили Кроту добрую службу — он перестал дрожать и почувствовал, как уверенность нарастает и крепнет в его душе.

— А теперь слушай, — снова посерьезнел Крыс. — Давай-ка ноги в руки — и домой, пока еще хоть что-то можно разглядеть. Не стоит нам тут ночевать — холодновато, сам понимаешь.

— Крысичек, миленький! — взмолился несчастный Крот. — Мне ужасно неловко, но я так устал, знаешь, издергался, измучился — места живого нет. И это не каприз, не блажь — на самом деле мне непременно нужно отлежаться, поднабраться сил — а то я и вовсе домой не доползу.

— Да ради Бога, — великодушно согласился Крыс, — отдыхай себе на здоровье. Все равно уже темно — попозже хоть луна взойдет.

Крот зарылся в сухие листья и мгновенно заснул — крепко, хотя и беспокойно, а Крыс, стараясь согреться, тоже подоткнул со всех сторон шуршащее одеяло и лежал тихо, ждал, сжимая в лапе пистолет.

Когда Крот наконец проснулся, вполне бодрый и в превосходном расположении духа, Крыс сказал:

— Ну, пора. Я только схожу на разведку, проверю, все ли спокойно, — и мы двинемся.

Он ощупью пробрался к выходу, высунул голову наружу, и Крот услышал тихое бормотание:

— Ага-ага, вот оно как. . .

— А что там наверху, Крысик? — встревожился Крот.

— Наверху снег, — коротко ответил Крыс. — Точнее, в н и з у. Все замело.

Крот подполз к нему и, припав животом к земле, осторожно выглянул из укрытия. Лес, прежде такой недобрый и жестокий, совершенно переменялся. Норы, впадины, ямы, рытвины, только что злове-

ще скалившиеся на беззащитного путника, исчезали на глазах, окутываясь колдовским мерцающим покрывалом, столь трепетным, что порвать его грубой лапой казалось кошунством. Нежная пыль наполнила воздух и, слегка покалывая, ласкала щеки, а черные стволы деревьев высились, освещенные странным, словно снизу идущим светом.

— Ну ладно, ничего не поделаешь, — помолчав, вздохнул Крыс. — Придется рискнуть. Вот что паршиво — я здешних мест толком-то не знаю, а со снегом в придачу все вконец перепуталось.

Так оно и было, и Крот, оказавшись он вдруг наедине с этим новым лесом, наверняка не признал бы его. Но рядом с Кротом стоял Крыс, и, уцепившись друг за друга, выбрав направление, казавшееся им самым верным и надежным, звери смело отправились в путь. В каждом новом дереве, кивавшем молчаливо и мрачно, они приветствовали давнего приятеля, а встретив просеку, прогалину, тропинку, смутно напоминавшую что-то виденное прежде, раздражались нарочито бодрыми возгласами восторга, которые фальшиво и одиноко повисали и замирали в белой мгле, посреди черных стволов, бесконечных и однообразных.

Через час или два, потеряв всякий счет времени, изнуренные, удрученные, совершенно растерянные, они присели на бревно отдышаться и сообразить, что делать дальше. Болели усталые мышцы, шишки и синяки. Пару раз они провалились в какие-то ямы и промокли насквозь, и снег лежал уже слишком глубокой для их слабых, коротеньких ножек, и деревья потолстели стволами и стали все на одно лицо, и не было конца этому лесу, и не было начала, и, самое страшное, не было выхода.

— Нельзя нам тут расслаживаться! — встрепенулся Крыс. — Давай соберемся с духом и еще разок попробуем. Холодина жуткая, снегу скоро столько нападает, что мы с тобой вообще не пройдем.

Осмотревшись по сторонам и подумав немного, он продолжал:

— Значит, так. Я вот что решил. Там, впереди, лощина — видишь? — где земля вся такая холмистая, и бугристая, и пупырчатая. Пошли туда, попытаемся отыскать себе убежище — нору там или пещерку, главное, чтоб пол был сухой, чтоб не дуло — ну и, конечно, от снега спрятаться. Тогда и передохнем хорошенько, потому что мы оба и впрямь здорово измотались. А там, глядишь, и снег перестанет — или еще что-нибудь приключится.

Они снова поднялись на ноги, и побрели в лощину, и принялись шарить в поисках норы или хоть какого сухого укромного местечка, куда не залетали бы порывы пронизывающего ветра и вихрящаяся метель. Исследуя один из холмиков, о которых говорил Крыс, Крот неожиданно споткнулся и с визгом рухнул на брюхо.

— Ай-яй-яй! Нога! — вскрикнул он, уселся в снегу и, баюкая голень в передних лапах, запричитал, раскачиваясь: — Ох, до чего больно, как больно! Ой, нога, ноженька моя!

— Бедолага! — посочувствовал ему Крыс. — Не везет тебе сегодня, старина, это уж точно. Дай-ка я взгляну на твою ногу.

Он опустил на колени и кивнул:

— Действительно, голень порезал. Подожди, я достану платок и завяжу.

— Я, наверно, на ветку напоролся или на пенек, тут в снегу ничего же не разберешь, — жалобно простонал Крот. — Вот беда-то!

— Пожалуй, нет, — пробормотал Крыс, уставившись на рану. — Края слишком ровные, от пня или ветки так не бывает. Похоже, ты порезался какой-то острой металлической штуковиной. Занятно!

И он озабоченно обвел взглядом бугорки и неровности заснеженной земли.

— Да не все ли равно, кто это сделало? — страдальчески смор-

щился Крот, от горя позабыв про грамматику.— Болит-то оно одинаково!

Но Крыс, аккуратно перевязав лапу носовым платком, отошел в сторону и начал сосредоточенно разгребать снег. Он ковырял, и скреб, и копал, работая всеми четырьмя лапами и не обращая внимания на Крота, который беспокойно елозил по земле и время от времени бурчал:

— Ну сколько можно, ну что же, Крыс?

Неожиданно Крыс завопил: «Ура!» и потом «Ур-р-а-ур-р-а-а-гоп-ля-ля-а!» и заплясал по колено в снегу неуклюжую джигу.

— Что ты там обнаружил? — поинтересовался Крот, все еще баюкая раненую ногу.

— Иди скорее, сам увидишь! — закончив свой танец, восторженно выкрикнул Крыс.

Крот, прихрамывая, доковылял до него и внимательно всмотрелся.

— Понятно,— протянул он наконец.— Теперь я в и ж у. И раньше видал — раз сто, не меньше. Нашел чем удивить. Решетка, чтоб чистить подошвы! И что из того? Не вижу ни малейшего повода для джиги вокруг придверной решетки.

— Да неужели ж ты не понимаешь, что это значит, тупица несчастный? — нетерпеливо прервал его Крыс.

— Конечно, понимаю,— рассудительно ответил Крот.— Это значит, что кто-то, жутко рассеянный и преступно неосторожный, бросил свою железную решетку посреди Дикого Леса, причем именно там, где все всегда спотыкаются. Я бы сказал, это очень нехорошо с его стороны, просто эгоизм какой-то. Когда попаду домой, непременно буду жаловаться — уж найду кому, попомни мои слова!

— Боже мой! Боже мой! — в ужасе от Кротиной несообразительности замахал руками Крыс.— Кончай-ка болтать, парень, давай копай!

И он снова взялся за дело, вздымая вокруг себя огромные снежные облака.

Довольно скоро старания его были вознаграждены, и на свет явился потрепанный, совсем ветхий половичок.

— Ну, что я тебе говорил? — торжествуя подбоченился Крыс.

— А тут говорить абсолютно не о чем,— заявил Крот с твердой уверенностью.— Ты, судя по всему, отковырял очередную рухлядь, отслужившую свой век и выброшенную,— и теперь совершенно счастлив. Ну, валяй, пляши джигу вокруг этой дивной находки, танцуй, веселись; потом, может, опомнишься, придешь в себя, и мы двинемся наконец и прекратим убивать время на мусорных кучах. Или, может, ты предлагаешь съесть этот коврик? Или спать под ним? Или мы на него усядемся и помчимся, поскользим по снегу домой? Отвечай, несносный грызун!

— Ты... имеешь в виду,— схватился за голову взволнованный Крыс,— что этот дверной коврик ничего тебе не подсказывает?

— Честно говоря, Крыс,— раздраженно нахмурился Крот,— мне кажется, хватит уже этого маразма. Ну где ты слышал, чтоб коврики кому-нибудь что-нибудь подсказывали? Им такое не под силу, Крыс, они совсем в другом роде. Коврики для вытирания знают свое место.

— Ну, теперь слушай, бестолковая ты зверюга! — не на шутку разъярился Крыс.— Всему есть предел. Только посмей мне открыть рот! Копай, сказано тебе, и грей, и разгребай, и ковыряй, особенно у бугорков, по бокам копай, если хочешь спать сухим и в тепле, потому что здесь — наша последняя надежда.

И Крыс остервенело набросился на ближайший сугроб, тыкая повсюду дубинкой и бешено разбрасывая снег. Крот тоже старательно

принялся рыть; хоть он и понимал, что его приятель тронулся рассудком, но злится и дразнить его он не собирался.

Через десять минут молчания и напряженного сопения кончик Крысиной дубинки стукнулся во что-то пустотелое и гулкое. Крыс с яростью ввинтился в снег и трудился без устали, пока не смог дотянуться туда и потрогать пальцами, и тогда позвал на помощь Крота. Теперь они вдвоем из последних сил расшвыривали сугроб, и вот наконец во всей красе предстал перед изумленными глазами неверящего Крота плод их героических усилий.

В том, что казалось прежде сугробом, открылась крепкая небольшая дверьца, выкрашенная в темно-зеленый цвет. Сбоку висел железный шнур звонка, а чуть пониже при слабом свете луны они прочитали аккуратно выгравированные на маленькой медной дощечке ровные, прямые заглавные буквы:

М-Р БАРСУК.

Сраженный наповал Крот повалился навзничь и, в восторге болтая лапами, виновато закричал:

— Крысичек! Ты чудо! Истинное чудо — вот кто ты такой! Теперь я понял. Выходит, твоя мудрая голова сразу все вычислила и потихонечку, шаг за шагом, доказывала. Когда я упал и порезал голень, а ты взглянул на рану, твой волшебный разум шепнул: «Дверная решетка!» И ты повернулся и тут же нашел именно такую решетку! Разве ты остановился на этом? Нет. Многие на твоём месте остались бы вполне довольны, но не ты. Твой мозг продолжал работать. «Стоит мне найти коврик для ног — и моя теория доказана», — сказал ты себе и, конечно, немедленно обнаружил свой коврик. Еще бы! Ты такой умный, что наверняка нашел бы все что угодно. «Итак, — думаешь ты, — дверь существует, она считай что у нас в руках. Осталось только раскопать ее». Ну, в книгах-то я, естественно, читал про такие штуки, но в жизни — нет, не сталкивался. Крыс, здесь среди нас ты захиреешь, пропадешь, ты просто обязан пойти туда, где тебя по-настоящему оценят. Эх, будь у меня твоя голова...

— А поскольку у тебя ее нет, — сурово перебил его Крыс, — ты, видимо, собираешься всю ночь валяться в снегу и молоть чушь. Ну-ка, вставай и звони — и погромче звони, а я буду стучать!

Крыс замолотил в дверь палкой, Крот, подпрыгнув, ухватился за шнурок звонка и повис на нем, поджав ножки, и тогда откуда-то издалека глухо рассыпался басовитый отклик колокольчика.

*(Продолжение следует)*

---

---

## АВТОРЫ ЭТОГО НОМЕРА

---

---

Григорий Львович ТУЛЬЧИНСКИЙ (1947), доктор философских наук, профессор Санкт-Петербургского института культуры. Статьи публиковались в журналах «Нева», «Звезда», «Век XX и мир». Основные книги: «Проблема понимания философии», М., Политиздат, 1985; «Проблема осмысления действительности», Л., ЛГУ, 1986; «Разум, воля, успех. О философии поступка», Л., ЛГУ, 1991.

Елена Всеволодовна УШАКОВА. Кандидат филологических наук. Автор стихотворного сборника «Ночное солнце», Л., Северо-Запад, 1991. Журнальные публикации — в «Новом мире», «Знамени», «Неве», «Звезде», «Синтаксисе».

Тамара Зиновьевна КОРВИН. Выпускница Ленинградской консерватории, преподаватель музыкальной школы им. Римского-Корсакова. Проза Т. Корвин публиковалась в журнале «Петербургские чтения».

Виктор Борисович КРИВУЛИН (1944). Поэт, критик. Статьи — в журналах «Звезда», «Октябрь», «Дружба народов», «Вестник новой литературы». Книги: «Стихи», Париж, Ритм, 1981; двухтомник «Стихотворения», Париж, Беседа, 1987—1988; «Обращение», Л., СП, 1990.

Олег Александрович ОХАПКИН (1944). Автор книг «Стихи», Ленинград—Париж, Беседа, 1989; «Пылающая купина», Л., СП, 1990. Стихи также публиковались в журналах «Звезда», «Нева», «Согласие».

Кари Васильевна УНКОВА (1941—1983). Окончила геофак ЛГУ, занималась геологией, палеонтологией. Стихи публиковались в журналах «Смена», «Сельская молодежь», «Согласие». Книга стихов и прозы — «Избранное», Тель-Авив, Лира, 1985.

Виктор Александрович СОСНОРА (1936). Поэт, прозаик. Книги стихов — «Январский ливень», 1962; «Триптих», 1965; «Всадники», 1969; «Лист», 1972; прозы — «Властители судеб», 1986. Проза также публиковалась в журналах «Нева» — «Николай», 1990, и «Звезда» — «Дом дней», 1990; «Книга пустот», 1992.

Андрей Юрьевич АРЬЕВ (1940). Критик, литературовед. Главный редактор журнала «Звезда». Основные публикации — в журналах «Звезда», «Нева», «Аврора», «Новый мир», «Знамя», «Вопросы литературы», «Литературное обозрение».

Нинель Даниловна ТРЕЙГЕР. Кандидат химических наук. Автор книги стихов «Живая спираль», 1966. Журнальные публикации — в «Неве», «Звезде», «Авроре», «Кодрах».

Евгений Борисович РЕЙН (1935). Автор поэтических сборников: «Имена мостов», М., СП, 1990; «Береговая полоса», М., Современник,

1989; «Темнота зеркал», М., СП, 1990; «Непоправимый день», М., Библиотека «Огонька», 1991; «Против часовой стрелки» — с предисловием И. Бродского, — Нью-Йорк, Эрмитаж, 1991.

Роберт Александрович ШТИЛЬМАРК (1909—1985). Участник войны, защитник осажденного Ленинграда. В 1945 году был осужден по статье 58-й, десять лет провел в лагерях и ссылке, в 1955 году полностью реабилитирован. Книги: роман «Наследник из Калькутты», 1958, затем многократно переиздавался; очерки о памятниках культуры «Образы России», 1967. Роман-хроника «Горсть света» публикуется впервые.

Антуан де СЕНТ-ЭКЗЮПЕРИ (1900—1944). Французский писатель. Книги: «Южный почтовый», 1929; «Ночной полет», 1931; «Планта людей», 1939; «Военный летчик», 1942; «Письмо к заложнику», 1943. Неоконченная книга «Цитадель» издана посмертно в 1948 году.

Марианна Юрьевна КОЖЕВНИКОВА, переводчик. Окончила филфак МГУ. Переводы с румынского публиковались в издательстве «Детгиз». Впервые на русский язык перевела «Цитадель» Сент-Экзюпери.

Лев Александрович АННИНСКИЙ (1934). Критик, литературовед. Постоянный ведущий в журнале рубрики «А ΡΡΟΡΟ». Книги: «Ядро ореха», 1965; «Обрученный идеей», 1971, 1986, 1988; «Лесковское ожерелье», 1982, 1986; «Контакты», 1982; «Когти и крылья», 1986; «Три еретика», 1988; «Билет в рай», 1988; «Шестидесятники и мы», 1990; «Culture's Tabestry» («Гобелен культуры»), Нью-Йорк, 1991.

Юлия Владимировна МУРАВЬЕВА. Переводчик. Выпускница филфака МГУ. «История доктора Дулитла» Х. Лофтинга в переводе Муравьевой публиковалась в издательствах «Милосердие», 1992, и «Рудомино», 1992.

---

---

#### ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР

Вацлав МИХАЛЬСКИЙ

Алла МАРЧЕНКО  
(зам. главного редактора)

Светлана БУЧНЕВА  
(отв. секретарь)

#### К СВЕДЕНИЮ УВАЖАЕМЫХ ЧИТАТЕЛЕЙ

Редакция располагает ограниченным количеством экземпляров журнала «Согласие» № 1—8 за 1991 год, № 1—12 за 1992 год, а также за 1993 год для розничной торговли. Цена договорная.

Журналы можно приобрести в редакции нашего издания по адресу: 113054, Москва, ул. Бахрушина, 28.

---

---

Рукописи не рецензируются и не возвращаются. При перепечатке наших материалов ссылка на «Согласие» обязательна.



## SUMMARY

St. Peterburg was founded by Peter the Great in 1703. The literary critic G. Tulchinsky, following the example of Innokenty Annensky, Andrei Bely etc. etc., tries to give his solution of the enigma of this town, now 190 years old. His article is a sort of a preface to the issue subtitled «Petrograd—Leningrad—St. Peterburg».

«The Rat-Charmer» by Tamara Korvin is one of the best-known Samitzdat novels of the 70-ies, a modern version of an old German legend.

The countess Maria E. Kleinmikhel's recollections of the revolutionary Petrograd are entitled «From the Drowned World», an allusion to both the Psalm 129 and the ill fate of the fabulous underwater town of Kitezsh.

Elena Ushakova, Oleg Okhapkin, Kari Unksova and Nina Treiger, the contributors to the poetic section of the issue, dwell on the banks of the Neva, while the Peterburgian poet Evgeny Rein, to whom Joseph Brodsky dedicated his «Christmas Romance», now lives in Moscow. In his new poem «Three Sundays» (also in this issue) the hero's return to Leningrad is compared to the Resurrection of Christ.

In the «non-Peterburg» part of the issue we continue the publication of the autobiographical novel «A Handful of Dust» by Robert Shtilmark (prose section), «The Citadel» by Antoine de Saint-Exupery (foreign prose) and «The Wind in the Willows» by Kenneth Grahame («Read It to Your Children» section). The last chapters of Victor Sosnora's fantastic novel «The Tower» (its publication started in No. 1) are supplied with the afterword by Andrei Ar'ev.

In his regular column «A Propos» Lev Anninsky, a well-known literary critic and a historian of literature, re-reads Zinaida Gippius's notebooks of 1918.

## «CONCORDANCE»